

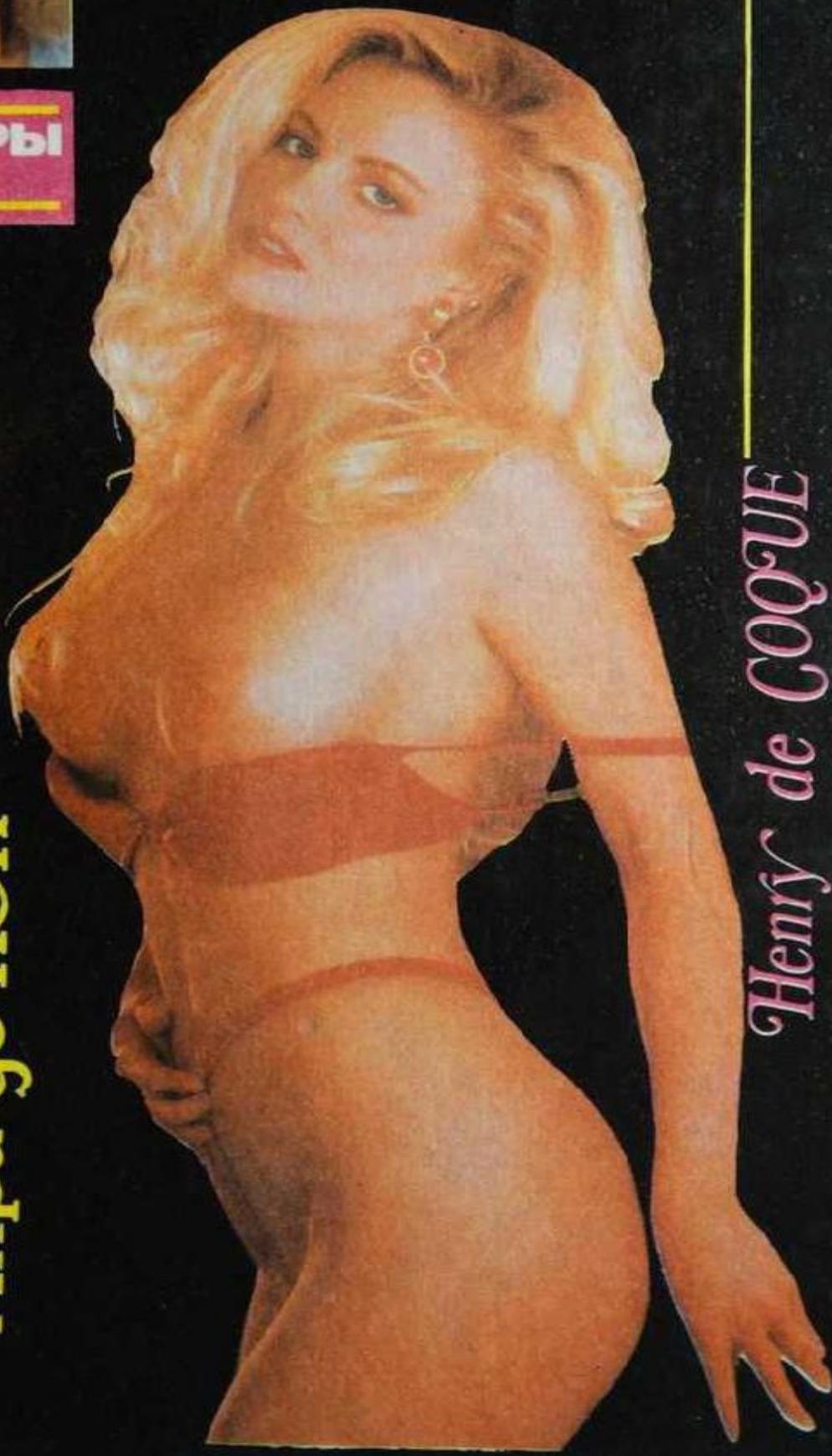
DE
BRILLANTES
AMANTES



БЕСТСЕЛЛЕРЫ
МИРА

ФАВОРИТКИ

Анри де КОК



Henry de COQUE

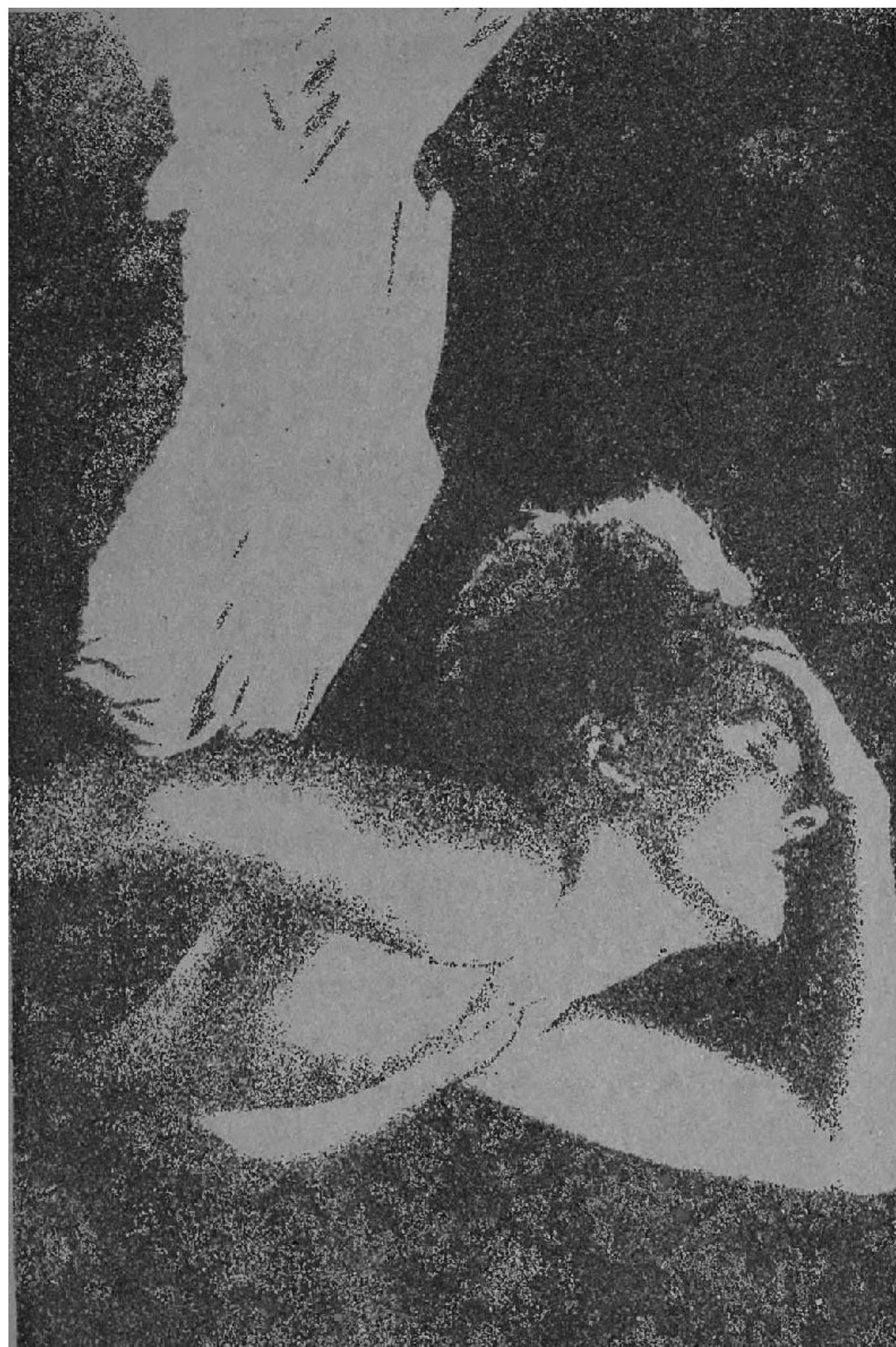
Знаменитые куртизанки всех времен и народов... Кто они? В этой книге читатели узнают о сердечных тайнах фаворитки Юлия Цезаря Клеопатры, любовных чарах Мессалины, чье имя стало символом разврата, о любовнице великого Рафаэля Форнарине, ставшей, по мнению некоторых историков, причиной преждевременной смерти гения кисти. Или жестокосердная императрица Феодора? После распутных ночных оргий с поклонниками, она проводила их к окрашенной в красный цвет двери, которая вела... в пропасть, утыканную острыми ножами. Изувеченные тела несчастных молодых людей, ублажавших ненасытную бестию, уносило море. Однажды в эту дверь шагнул и единственный сын Феодоры. Книга насыщена историческими подробностями из разных эпох, и в ней отчасти сохранены своеобразный стиль и манера изложения. * * * Императоры, короли, полководцы... Они властно управляли огромными государствами и многочисленными армиями, но нередко не могли устоять перед соблазнительными чарами прелестных дам. Всепожирающая страсть, незаурядный ум, холодный рассудок делали этих женщин великими фаворитками сильных мира сего. От их каприза нередко зависели судьбы многих тысяч людей. Среди героинь этой книги — любвеобильная Клеопатра, распутница Мессалина, жестокая Феодора, корыстолюбивая Форнарина, другие яркие представительницы прекрасного пола. Истории знаменитых куртизанок — это занимательное повествование о бурных, неповторимых, чаще всего драматических судьбах искусительниц, всегда знавших себе цену, как в Древнем Египте и Риме, так и при дворах европейских столиц.

- [Анри де Кок](#)

- - [КЛЕОПАТРА](#)
 - [ФРИНА](#)
 - [МЕССАЛИНА](#)
 - [ФЕОДОРА](#)
 - [ЧИАНГ-ГОА](#)
 - [ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА](#)
 - [ФОРНАРИНА](#)
 - [БИАНКА КАПЕЛЛО](#)
 - [ГАБРИЭЛИ](#)
 - [КАЛЬДЕРОНЕ](#)
 - [ЛОЛА МОНТЕЦ](#)
 -
-

Анри де Кок

Фаворитки



КЛЕОПАТРА

Это было после знаменитой Фарсальской битвы, которая, подчинив римскую республику Цезарю, сделала его полноправным властелином.

Битва эта была выиграна благодаря пустяковому решению. Но этот пустяк был гениален. Цезарь приказал своим солдатам ударить во фронт неприятельской кавалерии, которая должна была начать сражение. Кавалерия почти сплошь состояла из молодых людей, желавших как можно красивее выглядеть на своих конях: они слишком робко правили удилами. В итоге семь тысяч из них бежали от шести когорт. Помпей оставил на поле боя пятнадцать тысяч своих воинов, Цезарь только тысячу двести.

Милосердие победителя к побежденным привлекло под его знамена столько солдат, что ему не составило труда начать немедленное преследование.

Помпей переплыл Геллеспонт с намерением бежать в Египет к Птолемею Дионису, обязанному ему своей короной. Но что такое благодетель, вчера могущественный, а нынче просящий пристанища? Птолемей Дионис был негодяй, как и большинство фараонов этой династии: в смерти Помпея он увидел средство войти в дружественные сношения с Цезарем. Поэтому он назначил двух своих приближенных для встречи римского полководца. Несчастный Помпей, сопровождаемый полдюжиной солдат и вольноотпущенниками, сел в лодку, которая должна была перевезти его на берег. И тут же, на глазах его жены, оставшейся на корабле, двое убийц — Ахилл и Септимий — бросились на Помпея и закололи его кинжалами. Тело его несколько дней оставалось непогребенным на берегу моря; наконец один из его отпущенников и солдат, воспользовавшись темнотою ночи, сожгли труп и покрыли пепел песком и камнями.

Таков был конец соперника Цезаря.

Однако Помпей получил более достойную гробницу, и сделал это тот же самый Цезарь, отдав ему последний долг и отомстив за него царственному негодяю.

Александрия, один из редких городов великого Египта, противилась разрушительному действию времени и — особенно — людей. Имя ее сохранилось, хотя в настоящее время она занимает не то место, какое занимала прежде.

Построенная Александром Великим по проекту знаменитого архитектора Финократа, Александрия располагалась на левом берегу Нила, в тридцати милях от Средиземного моря и выше пирамид.

Мы не станем подробно описывать Александрию, какой она была во времена Клеопатры, а войдем в город вместе с Цезарем, который хотел разузнать здесь о судьбе Помпея.

Встреченный с величайшей пышностью при высадке на берег в порту Евноса самим Птолемеем Дионисом, Юлий Цезарь, взойдя на носилки вместе с царем Египта, направился к его дворцу.

В пути эти две знаменитые личности не произнесли ни слова о целях их встречи. Но, не говоря ни слова, Цезарь и Птолемей не теряли времени даром. Обмениваясь время от времени ничего не значащими фразами, они наблюдали, изучали и анализировали друг друга.

Для Птолемея это лицо с черными живыми глазами было открытой книгой, в которой можно было прочесть рассудительность, веселость и храбрость.

Напротив, внешность египетского царя, — продолжим наше сравнение, — была закрытой книгой. Едва достигнув восемнадцати лет, очень красивый, но красотой холодной и мрачной, он прежде всего внушил фарсальскому победителю неясное, но глубокое отвращение. Зная людей, Цезарь угадал в нем злобного и лукавого человека. Случай не замедлил доказать ему, что его предчувствие было справедливо.

Наконец они достигли дворца, в котором царь Египта приготовил великолепное помещение для своего славного гостя.

Цезарь удалился на несколько времени, чтобы поправить свои одежды, ибо он заботился о своем туалете столь же внимательно, как и о своей личности. Птолемей встретил его, сопровождаемый офицерами, и провел в залу, где был приготовлен пиршественный стол.

Но Цезарь уже терял терпение, желая узнать что-нибудь об участи Помпея.

Знаком попросив царя удалить свиту, он грубо спросил:

— Что ты мне скажешь о Помпее, Птолемей?

— Все, что ты, Цезарь, пожелаешь узнать, — ответил царь.

— Я желаю знать все. Он в Египте?

— Да.

— Быть может, в Александрии?

— Да.

— Пленником? Ты понял, что я его преследую? Ты поступил благоразумно, поверив ему, когда он явился просить у тебя убежища.

Птолемей зловеще улыбнулся и проговорил после небольшого молчания:

— Я приготовил для тебя, Цезарь, большую радость, но ты не желаешь ждать. Я покажу тебе, как поступает Птолемей с твоими врагами.

Сказав это, царь удалился. Когда он явился снова, его сопровождал Потин, начальник его евнухов, спокойно несший предмет, покрытый пурпуром. Уже взволнованный дурным предчувствием, Цезарь встал и поднял крышку.

И тотчас вскрикнул от ужаса...

Ему была принесена тщательно набальзамированная голова Помпея.

Говорили, что Цезарь не скорбел по этому поводу, и ошибались. Он был горд, но не жесток.

Ясно, что он воспользовался преступлением, но не сам совершил его.

— О, Помпей, Помпей! — стонал он, склоняя свой лысый лоб пред плачевными останками своего врага.

И обратясь к Птолемею, смущенному подобным изъятием приготовленной римскому полководцу радости, сурово сказал ему:

— Итак, когда он явился, рассчитывая на твою благодарность, к твоему очагу, ты встретил его убийством?..

Птолемей закусил губы.

— Признаюсь, — возразил он, — я не ожидал от тебя, Цезарь, подобных упреков! Но если б я оставил жизнь Помпею, он неминуемо стал бы уговаривать меня сражаться вместе с ним против тебя. Разве ты желал, чтобы я сделал подобное?

Цезарь замолчал. Доводам недоставало справедливости. Но что справедливо, не всегда бывает приятно.

К инстинктивному отвращению, которое с первого раза внушил ему Птолемей, сейчас у

диктатора прибавилось презрение к этому царю, который так жестоко и так буквально применил поговорку: «Горе побежденным!»

Тем не менее он подумал, что не время выражать свои чувства, и, смягчив выражение лица и голос, ответил:

— Ты, быть может, прав... Часто встречаются жестокие, роковые необходимости. Спасибо же за твой скорбный подарок. Я постараюсь, насколько буду в силах, поправить то зло, которое ты сделал.

После этих слов Цезарь повелел убрать голову Помпея в надежное место и отправился вслед за царем в пиршественную залу.

Пир этот был великолепен, но недоставало главного, чтобы он был весел: недоставало женщин.

Диктатор выразил свое изумление.

— Где же царица? — спросил он.

Он знал, что отец фараона — Птолемей Авлет, умирая, завещал трон своему старшему сыну Птолемею Дионису с условием, чтобы он разделил его с сестрой своей Клеопатрой, старше его на три года, которая, по странному обычаю египтян, должна была выйти за него замуж.

И этот союз был заключен на самом деле.

Но то, о чем Цезарь не знал и что узнал вкратце от своего хозяина, а позже — подробней — от других лиц, заключалось вот в чем: через несколько дней после свадьбы, царствуя вдвоем, брат заметил, что если не принять мер, то его супруга и сестра может устроить таким образом, что будет царствовать одна. Птолемей Дионис торжественно развелся с Клеопатрой, по причине несходства характеров, и изгнал ее в Сирию.

Слушая объяснение царя по этому поводу, Цезарь сохранял благоразумную сдержанность. Птолемей Дионис не мог жить с Клеопатрой, он развелся с ней, изгнал ее... Так что же?.. Не Цезарю, который сам развелся со своей первой женой, следовало требовать объяснений, почему другой муж отправил прогуляться свою. Но когда через несколько недель под тем предлогом, что стесняет царя в его дворце, он поселился рядом, под охраной своих солдат, диктатор изменил тон.

Друзья Клеопатры, и среди них особенно Аполлодор, объяснили ему поведение египетского царя. В своем завещании Птолемей Авлет назначил также римский народ своим наследником. Цезарь, как представитель этого народа, вознамерился поддержать его права. Он объявил себя судьей несогласий, существующих между Птолемеем и Клеопатрой, и приказал одному сам, а другой через посольство явиться к нему.

Птолемей повинился, уверенный, что сестра не осмелится явиться в Александрию, боясь его гнева.

И Клеопатра не была столь глупа, чтобы презреть опасность, которой она подвергалась. Египетская стража, охранявшая городские ворота, была предупреждена, что если появится изгнанная царица, то с ней должно поступить как с бунтовщицей.

Но у Клеопатры были друзья в самом городе, среди которых одним из самых преданных был всадник по имени Аполлодор. Однажды Аполлодор отправился в Ракотис, откуда возвратился вечером, неся на плечах превосходный ковер. Столь прекрасный, что он изъявил желание предложить его римскому полководцу — великому любителю хороших вещей.

Ковер для Юлия Цезаря! Египетские солдаты, стоявшие на страже у ворот Ракотиса, даже мысли не допустили задержать Аполлодора с его ношей.

К слову сказать, этот Аполлодор был гигантом вроде Атланта, способного на своих плечах держать весь белый свет. Вот он и держал, а точнее — нес на плечах целый мир, закатанный в ковер.

Целый мир в виде женщины.

Это была Клеопатра.

Было поздно, Цезарь готовился ко сну, когда один из его вольноотпущенников подал ему папирус, содержащий следующие слова на латинском языке:

«Ты звал меня, чтобы воздать мне справедливость. Я здесь. Клеопатра».

За вольноотпущенником в комнату диктатора вошел Аполлодор и, положив перед ним свою ношу, поспешно ее развернул.

И вовремя! Клеопатра задыхалась под тяжелыми складками шерстяной материи. Ее члены, онемевшие от слишком долгого бездействия, были неподвижны. Лицо ее было покрыто бледностью.

Цезарь преклонил перед ней колена и воскликнул: «Боги! Как она прекрасна!» Она полуоткрыла истомленные глаза, на лице ее промелькнула улыбка.

«Как она прекрасна!» Диктатор употребил самое лучшее средство, чтобы привести ее в чувство.

Если верить историкам того времени, — Плутарху, Аппиану Александрийскому и Диону Кассию, — то Клеопатра (что бы ни говорил Цезарь) не обладала необыкновенной красотой. Но при недостатке правильных черт она была прелестна, грациозна, умна... К тому же была очень ученой, говорила на многих языках, но особенно обладала искусством пленять. А Цезарь был одним из тех, которые ничего лучше и не желают, как быть плененными женщиной.

Он обольстил большое количество знатных женщин и среди них Постумию, жену Сервия Сульпиция, Лоллию, жену Авла Габиния, Тертулину, супругу Марка Красса, и даже Муцию, супругу Помпея, но особенно он любил Сервилию, мать Брута.

По-видимому, он не очень-то уважал супружескую постель и в походах, если прислушаться к тому, что пели его солдаты во время его триумфального возвращения из Галлии:

Прячьте жен — ведем мы в город лысого развратника.

Деньги, занятые в Риме, проблудил он в Галлии.

Гельвий Цинна, народный трибун, уверял многих, что держал в своих руках совершенно готовый, пересмотренный закон, который он должен был исполнить в отсутствие Цезаря и по его повелению, — закон, позволявший Цезарю жениться по его выбору на стольких женщинах, на скольких он захочет, лишь бы иметь наследников. А чтобы никто не сомневался в том, что он имел репутацию развратника, Курион-отец называл его в своих разговорах «мужем всех жен и женой всех мужей».

Это была, как нам хочется думать, клевета, но нельзя отрицать, что Юлий Цезарь обожал множество женщин.

В том числе и Клеопатру. И с первой минуты, как только ее увидел. Все способствовало тому, чтобы зажечь любовь в сердце будущего императора.

Друг, столь же скромный, сколь и физически сильный, Аполлодор удалился при первой же улыбке Клеопатры Цезарю.

Они остались одни... Одни в ту пору сладостных ночей, которые бывают только в Египте. Он перенес ее на постель, потому что она не могла еще стоять. Сидя подле нее, он

каждую секунду жег ее маленькие ручки поцелуями.

Она улыбалась.

— И ты не боялась явиться ко мне таким образом? — наивно спросил он.

— Разве я ошиблась? — возразила она.

— О, нет!

— Птолемей убил бы меня прежде, чем позволил бы увидеться с тобой.

— Убить тебя? Такую прекрасную!

— Таково его убеждение, потому-то он и изгнал меня.

— Он глупец!

— Я тоже так думаю.

— Он зол!

— Я думаю то же.

— Негодяй и дурак, который должен быть строго наказан!..

Клеопатра на этот раз минуту колебалась. То было беспокойство совести. Этот глупец, этот негодяй был все-таки ее муж и брат.

Но, уже дважды подтвердив слова Цезаря, могла ли она ему противоречить?

— Я думаю то же, — повторила она.

И вдруг, притворясь как бы испуганной странностью своего положения, она воскликнула, вскакивая с постели:

— Но я злоупотребляю твоей добротой, Цезарь. Я мешаю тебе.

— Куда же ты хочешь идти? — тихо возразил диктатор, удерживая ее.

— Куда-нибудь, где я не стесняла бы тебя...

— Но разве я жалуясь? И к чему ты говоришь мне о сне? Неужели ты думаешь, что я могу уснуть, увидев тебя? Останься!.. Останься, молю тебя!.. Нам еще нужно о многом переговорить с тобой. Для того чтобы вернуть тебе трон, разве я не должен долго и много говорить с тобой?

Цезарь налег на слова «вернуть тебе трон». Взгляд Клеопатры зажегся ярким блеском.

Случайно, так по крайней мере казалось, в то время как она готовилась оставить постель Цезаря, с ноги ее соскочила туфля. Известно, какое магическое действие производит маленькая ножка женщины на чувства распутника. Нога Клеопатры, быть может, по совершенству линий не могла сравниться с ногой Родопы, в которую влюбился Амазис, но такая, какой она была, худенькая, узкая, гибкая, она восхищала Цезаря, как самое сладостное обещание.

Клеопатра провела всю ночь с Цезарем.

На другой день, утром, один из офицеров явился к царю Египта, чтобы пригласить его немедленно явиться по важному делу к диктатору.

Важное дело заключалось, как можно предположить, в том, чтобы разделить трон с Клеопатрой, что Цезарь и намеревался предложить Птолемею.

Можно вообразить удивление и ярость царя при виде сестры и жены в обществе Цезаря. Скрыв, однако, свои чувства, он решился склониться перед царственной волей.

Но, едва возвратившись в свой дворец, он вызвал Потина, начальника евнухов и первого министра, и Ахилла, одного из убийц Помпея и начальника египетских войск. В тот же день, пока Потин рассылал по всему городу эмиссаров, обязанных возбуждать народ против непредвиденной смены власти, Ахилл во главе своих солдат наблюдал за жилищем римского

полководца. То была настоящая осада, исход которой мог бы быть гибельным для Цезаря: у него для обороны была одна только когорта, если бы Кассий, один из его подчиненных, которому он передал начальство над флотом, не был вовремя предупрежден и не поспешил бы с другой когортой на помощь Цезарю.

Ахилл был убит, солдаты его разбежались, сам Птолемей Дионис, стремясь избежать мщения попечителя Египта бросившийся в лодку, чтобы достичь одного из портов Сирии, был задушен матросами, желавшими получить хорошую награду от Клеопатры. То было божеское возмездие. Убийца сделался жертвою своей собственной измены.

Через несколько дней после этого Клеопатра, вышедшая замуж за своего другого брата, Птолемея Меннея, заняла свое место на троне Египта.

Это был брак ради формы. Мужу было только одиннадцать лет.

Истинным мужем Клеопатры в течение почти целого года был Юлий Цезарь. Он был настолько мужем, что от этой вдвойне прелюбодейной связи родился сын, получивший от своего отца имя Цезариона.

Когда Цезарь с сожалением покидал Египет, то, целуя лоб этого ребенка, он мог сказать ему этим поцелуем: «Я буду императором, ты — царем: мы с тобой увидимся».

Тщетная иллюзия! Отец и сын никогда больше не виделись. Через несколько лет Цезарь, несмотря на все свое могущество, пап от меча Брута.

Что касается Цезариона, то он не прожил и столько, чтобы просто гордиться своим рождением.

Страсть Юлия Цезаря к Клеопатре была столь сильна, что он пожелал видеть ее в Риме, вместе с ее молодым мужем. Клеопатра охотно повиновалась; она прибыла в Рим с таким великолепием, что народ начал роптать на эту царицу-данницу, выказывавшую такую роскошь. Невнимательный к упрекам своей законной жены Цезарь поместил Клеопатру в своем собственном дворце и на всех публичных празднествах являлся с нею. Он сделал более: велел знаменитейшему скульптору того времени изваять статую своей любовницы, приказал отлить ее из золота и поставить в храме Венеры, как раз против богини.

Ропот римлян перешел в крики. Венера-Клеопатра не могла более выходить, преследуемая угрожающим гневом народа.

Она сама упросила своего любовника отпустить ее в Египет.

Последняя ночь, которую они провели вместе, — рассказывает Аппиан, — была ознаменована дурачествами, достойными, быть может, коронованной куртизанки, но недостойными императора.

Двенадцать греческих невольниц, выбранных из самых красивых, привезенных с собою царицей, служили совершенно голыми на ужине двух любовников, и в то время, когда они пили и ели, эти невольницы толпились около них в самых сладострастных позах; наконец, опьяненный от страсти Цезарь, которому мешали одежды Клеопатры, сбросил их с нее одну за другой: ему нравилось сравнивать прелести царицы с прелестями ее женщин, и он решил, что если две или три еще могли равняться с ней какой-нибудь частной красотой, то ни одна не сравнилась бы в целом.

Пора было расставаться. И Клеопатра вовсе не думала, что вдали от Цезаря она будет забыта.

В числе подарков диктатора своей любовнице находились десять галльских стрелков. Египетская царица хотела вооружить войско по образцу этих стрелков; Цезарь дал ей десяток, избранный ею среди солдат, составлявших первую сотню когорты. Но не из

интересов своей армии, а только ради своих наслаждений Клеопатра взяла с собой этих стрелков. Среди них был один по имени Андроник, мужественная красота которого произвела на нее сильное впечатление. Чтобы обладать одним, она потребовала десять; Цезарь не мог и подозревать истинной причины ее желаний. Но удалившись от берегов Италии, она уже не имела нужды сдерживаться.

— Пусть скажут галльскому стрелку Андронику, что я хочу его видеть, — сказала она.

Андроник поспешно исполнил приказание царицы.

Этот сын Галлии был на самом деле великолепен: лет двадцати пяти, высокий ростом, с белокурыми волосами, падавшими локонами по обе стороны лица, в волчьей шкуре — он был прекрасен.

Он стоял прямо перед царицей, лежавшей на пурпурных подушках, защищенных навесом от палящих лучей солнца.

— Доволен ли ты, Андроник, что едешь со мной в Египет? — спросила она своим полным нежности голосом.

Он отрицательно покачал головой.

— Нет? — воскликнула Клеопатра. — Ну что ж, ты по крайней мере откровенен. А почему ты не радуешься, что увидишь Египет? Это прекрасная страна.

— Для меня одна только страна прекрасна: моя родина! — сказал галл.

— Как называется она?

— Я из города Тарба в Бигорре.

— Но что же там такого, о чем ты так тоскуешь?

— Там есть горы и равнины, где я охотился на свободе, и зеленые папоротники, на которых я отдыхал; там есть быстрые ручьи, в которых я утолял жажду, и всякие птицы, убаюкивавшие меня своим пением.

— Везде есть трава, источники и птицы!

— Ты ошибаешься, царица, не везде встречаются Пиренеи. Пиренеи есть только на юге Галлии.

— Да, и, быть может, также нет ли в Пиренеях какой-нибудь молоденькой девушки, воспоминание о которой сильнее запало в твою душу, чем воспоминание о земле, на которой ты родился? Признайся, ты любил и был любим на родине?

Андроник вздохнул:

— К чему воспоминания, — сказал он с горечью, — когда не принадлежишь самому себе, когда не знаешь даже, будешь ли когда-нибудь располагать собою!..

— Никогда? Почему никогда? Слушай, Андроник, ты меня интересуешь. Когда ты научишь моих солдат, то, если тебе хочется, отправляя тебя в Италию, я напишу Цезарю, чтобы он дал тебе свободу, чтобы он отослал тебя в твое отечество.

Физиономия стрелка засияла.

— Ты сделаешь это? — вскричал он.

— Сделаю, если буду довольна тобой.

— О, ты будешь довольна, потому что с этой минуты вся моя кровь принадлежит тебе.

— О! Я не потребую от тебя крови, Андроник, — возразила она.

— Чего же, царица!

— Я скажу тебе позже, в Александрии... Ступай. Не удаляйся от меня, мне приятно тебя видеть.

В самом деле, во время всего путешествия галльский стрелок почти постоянно

находился около царицы. Он не только ел за ее столом, но по особенной благосклонности ему, по ее приказанию, подавали то же самое, что кушала она. Ей нравилось разговаривать с ним, заставляя его рассказывать наиболее замечательные случаи его жизни — по большей части охотничьи истории и описания битв.

Однажды вечером, грубо перебив его, она сказала:

— Но ты в своих рассказах никогда не говорил мне о любви, Андроник. Разве я ошибаюсь, предполагая, что в твоих горах есть молоденькая девушка, которая оплакивает твое отсутствие?

Стрелок печально улыбнулся.

— Нет, царица, — ответил он, — нет, ты не ошибаешься. Там есть молодая девушка, которой я оставил мое сердце.

— А! А! Вот видишь!

— Но любовь бедного крестьянина и пастушки может ли занять такую великую царицу, как ты?

— Должно быть, может, потому что я предлагаю тебе рассказать. Так ты любишь пастушку?

— Да, государыня.

— Как ее зовут?

— Фабьола.

— Который ей год?

— Ей было шестнадцать лет, когда я был вынужден вступить в легионы Цезаря.

— А сколько времени ты служишь?

— Будет три года в октябрьские календы.

— Значит, Фабьоле теперь девятнадцать лет. Хороша она?

— Я ее люблю!

— Это значит все. Ты ее любишь... и ни одна женщина в мире не может сравниться с ней красотой, даже я?

Предлагая ему этот коварный вопрос, Клеопатра смотрела в глаза Андронику. Он вспыхнул, а она наслаждалась смущением, причиной которого была она сама.

— А потом? — продолжала она. — О, не бойся ничего! Я не рассержусь, если даже узнаю, что я не так красива, как пастушка Аквитании Фабьола. Она красивее меня? Говори!..

— Красивее?.. Нет!.. Фиалка не может быть красивее розы, но...

— Но, — продолжала она, — ты надеешься обладать фиалкой и не надеешься иметь розу. Ты благоразумен: для тебя фиалка — первый в мире цветок! Однако, положим, что тебе будет дозволен выбор. Понимаешь? Положим, что роза снизойдет до тебя — разве не будешь ты благодарен? Отвечай!

Возбужденная усилившейся страстью, при последних словах Клеопатры, лежавшая на подушках, наклонилась к прекрасному стрелку, стоявшему перед ней, предоставляя его взорам из-под своего корсажа из прозрачной египетской ткани часть самых сокровенных своих прелестей.

Андроник сладостно вздрогнул. Как ни мало был он прозорлив до сего времени, в эту минуту ему трудно было не понять природу чувств, внушенных им царице.

Но не сейчас, не тут же проявил он свое понимание этих чувств, поскольку был свидетель всей этой сцены, чего актеры даже и не подозревали. Это был Птолемей Менней — брат и супруг Клеопатры.

Без сомнения, этого супруга вовсе не следовало бояться, — бояться ребенка четырнадцати лет? Однако не обладая знанием своих прав, этот ребенок имел инстинкт, ибо, глядя на описанную сцену с середины палубы, где он стоял, он сердито сдвинул брови.

— Отвечай? — продолжала Клеопатра, сжимая крохотной ручкой мускулистую руку Андроника.

Царь бросился к ней.

— Клеопатра, — вскрикнул он, — смотри, как потемнело небо! Будет гроза. Разве ты не сойдешь в свою каюту?..

При звуках голоса Птолемея Клеопатра приняла быстро приличное положение, а Андроник отошел от нее на четыре шага.

В то же время оба подняли глаза к небу: оно было величественно. Ни одного облака не увидели они в лазури.

— Ты глуп, Менней, — сказала Клеопатра недовольным тоном. — Ты глуп с этой своей грозой.

— Ты действительно думаешь, что я глуп? — нетерпеливо возразил ребенок.

Наступило молчание, потом Клеопатра сказала:

— Ступай, Андроник, к своим братьям по оружию.

И, вперив свой взгляд в бледное лицо царя, она подумала: «Э! Э! У львенка начинают прорезываться зубы. Это надо принять к сведению, мы постараемся помешать ему кусаться».

Яд играет большую роль в истории государей и государынь древних времен, а также — увы! — и в истории средних веков!..

Предвидя свое высшее назначение, Клеопатра с пользой употребила свободу изгнания. Никто не знает, что может случиться; даже на троне вас окружают люди, которые вам мешают, и те, от которых хорошо избавиться без скандала. В Антиохии, где она жила, будущая царица Египта изучила под руководством великого ученого искусство отравления.

По возвращении из Италии в Александрию первой ее заботой было снова начать курс учения, которым она пренебрегала со времени пребывания в Египте Юлия Цезаря.

Ее дворец — Антирод (остров Роз) был как нельзя более удобен для этих занятий. Под предлогом отдыха после долгого путешествия она заперлась в этом дворце в обществе близких женщин и сотни невольниц под охраной египетских солдат и десяти галльских стрелков.

Каждый день она удалялась в свою лабораторию, где проделывала опыты с ядами разных сортов: минеральными, растительными и животными. Ибо все три царства природы имеют одинаковое отношение как к добру, так и ко злу, содержа в себе жизнь и смерть. По большей части эти опыты производились над животными: собаками, кошками, птицами, иногда над невольниками, над несчастными, которых считали за ничто. Нужно уметь заставить страдать, чтобы уметь убивать.

Она изучала превосходство такого-то яда над таким-то противоядием. Радостная от успехов в науке Клеопатра, окончив занятия, присутствовала в дворцовом саду при упражнении египетских солдат, которых учили галльские стрелки.

Потом, когда наступал вечер, прекрасного Андроника вводили потайной дверью в ее спальню.

И хотя Андроник признался, что он оставил свое сердце в Аквитании, он с такой страстью отвечал на ласки египетской царицы, о какой она и не мечтала. Это правда, что сердце ничего не значит в известном роде нежности и что в возрасте Андроника было бы

больше чем добродетелью, — было бы поистине героизмом противиться созданию, обладавшему всею обольстительностью красоты и всем могуществом власти.

Каждый вечер он любил по повелению египетской царицы.

По повелению — выражение совершенно точное. Однажды она ему сказала: «Я хочу, чтобы ты меня любил!» — и он повиновался.

В течение трех недель он исполнял обязанности официального любовника.

Странное смешение распутства и гордости! Иногда, когда он приближался к ее изголовью, погруженная в важные размышления, она даже не поднимала головы...

И он должен был оставаться безмолвным и неподвижным, ожидая, чтобы она заметила, что он здесь.

Наконец она его замечала; забыв заботы настоящего и будущего, царица становилась женщиной и женщиной алчной до наслаждений. Ее огненный взгляд впивался в любовника... Но даже в минуты самого сладостного упоения, в минуты самого пылкого восторга, она заставляла этого любовника уважать то расстояние, которое отделяло его от царственной любовницы.

Понятно ли?.. Она принадлежала и не принадлежала ему. Нужно было быть двадцати пяти лет от роду, чтобы платить такой постыдной подчиненностью за несколько часов неполного блаженства.

Андроник имел эту смелость и эту силу три месяца.

Галлы были крепкие люди!

Между тем львенок, как называла Клеопатра своего брата и мужа, все с большим и большим нетерпением переносил удаление своей сестры и супруги во дворец Антирод.

Однажды, во время упражнений египетских солдат, прибежавшие невольники объявили о прибытии царя.

Она — сама грация — пошла ему навстречу.

Он хотел присутствовать при новых маневрах, они были нарочно для него начаты. В то время когда их исполняли, Клеопатра заметила, что он не спускал глаз с Андроника.

Через некоторое время царь и царица остались одни в отдаленной комнате.

— Клеопатра, — без вступления сказал Менней, — я ненавижу Андроника, одного из тех галльских стрелков, которых дал тебе Цезарь.

— А! — холодно сказала она. — Почему ты его ненавидишь?

— Потому что ты его любишь!

Она пожала плечами.

— Разве Клеопатра может любить солдата? — воскликнула она.

— Итак, чтобы доказать, что я ошибаюсь, — возразил царь, — отдай мне этого человека.

— Возьми его! — отвечала Клеопатра. — Возьми и его товарищей. Они мне уже бесполезны, мои египтяне стреляют теперь не хуже их.

— Хорошо. Я беру. Благодарю.

Десять стрелков сопровождали Птолемея в Александрию.

На другой день, обвиненные и осужденные за воображаемый заговор, они без дальнейших церемоний были все десять распяты на площади в одном из самых многолюдных кварталов города.

По особой милости маленького царя осужденные прежде, чем быть распятыми, были удушены.

Узнав о происшествии, Клеопатра даже не поморщилась.

Если все галльские стрелки были ей бесполезны как наставники ее солдат, Андроник, в частности, перестал ей нравиться как любовник; ее прихоть прошла.

Но она находила дурным, что Птолемей позволил себе, без ее одобрения, умертвить этих десять человек. Один Андроник еще куда ни шло! Он его ненавидел. Но всех — это уж слишком!

Нужно было сдерживать львенка: у него были слишком явные деспотические наклонности.

Клеопатра явилась в Александрию. Она не сделала ни одного упрека своему мужу и брату по поводу умерщвления стрелков.

Но через месяц после этого, возвратясь с прогулки, маленький царь выпил стакан литуса, который подал ему преданный невольник, почувствовал жестокие колики и, несмотря на всю помощь медиков, через час умер в страшных страданиях.

Клеопатра стала обладательницей трона.

Фрина, Аспазия, Лаиса, Глицерия, Ламиа, Миррина, Леонтия, Сафо, Каликсена, Вакха — сотни подобных женщин, среди которых историку остается только выбирать знаменитых греческих куртизанок, сделали из своего постыдного ремесла такой промысел, который был весьма уважаем в античное время.

Не имея возможности говорить обо всех, мы скажем об одной из самых знаменитых — Фрине — о той, которая на свои собственные деньги, заработанные ее ласками, предложила построить город Фивы, разрушенный македонскими войсками.

Однако ей отказали в ее предложении, быть может, потому, что она поставила условием, чтобы на главных воротах новых Фив было изображено следующее изречение: «Разрушены Александром и построены Фриной».

Фрина родилась за 328 лет до Рождества Христова в Беотии, то есть в Центральной Греции.

Кто был ее отец — неизвестно.

Мать ее жила продажей капорцев. Как Фрина решилась или, скорее, возымела идею отдаться культу Венеры, стоит того, чтобы быть рассказанным.

Ей было тогда шестнадцать лет, она уже была очень красива, но никто еще не говорил ей об этом.

В один из жарких летних дней, когда она купалась в обществе молодых девушек ее лет в прозрачных водах небольшого озера, находящегося в деревне Феспии, один незнакомый молодой человек попросил ее поговорить с ней по секрету.

Он был молод и, по-видимому, честен. Фрина без всякого колебания согласилась на его пожелание.

— Ступайте, — сказала она своим подругам, — я вас догоню.

Она осталась одна с незнакомцем.

— Дорогая Фрина! — сказал он ей.

— Вы знаете мое имя? — с удивлением сказала она.

— Да, я раз двадцать слышал, как называли тебя твои товарки.

— Где же!

— А когда ты купалась.

— Когда я купалась? Но где же ты был?

— Я был скрыт под теми кустами, где ты и твои подруги оставляли свои одежды.

Фрина отвернула лицо, покрасневшее от стыда. Молодой человек преследовал ее страстным возгласом:

— Не обвиняй богов за то, что они позволили очам моим подивиться такой обольстительной красоте! Напротив, благодари их за то счастье, какое я испытал; я был восхищен! Я хочу возблагодарить тебя добрым советом, Фрина! Ты прекрасна, прекраснее всех красавиц, прекрасна такой красотой, которая для тебя будет источником богатства и почестей, ты мне можешь поверить. Я называюсь Эвтиклесом, я поэт, а поэты читают в будущем... Но не в этой печальной стране ты достигнешь назначенного тебе высокого назначения... Для этого ты должна немедля, завтра же вечером, отправиться в Афины, в обитель всяческой славы, всяческого богатства и всяческого сладострастия.

— Э! Э! — возразила Фрина несколько насмешливо. — Уж не поэт ли Эвтиклес

доставит мне почести и богатства.

Эвтиклес меланхолически улыбнулся.

— Нет, — возразил он, — я беден, я могу тебе доставить только наслаждение.

Если б Фрина была более опытна, она бы ответила, но она была еще совершенно невинна, однако по инстинкту, глядя на прелестную голову поэта, подумала о нем.

И в то же время слова Эвтиклеса ее поразили, и после небольшого молчания она сказала:

— Да ведь я не знаю никого в Афинах, к чему же я приеду в этот город! И к кому обращусь я в нем?

Эвтиклес быстро написал несколько слов на табличках, которые отдал Фрине.

— Ты приедешь сюда, — ответил он, — твой провожатый и твой покровитель будет там же.

И она громко прочла слова: порт Керамик.

— Что это такое Керамик? — спросила она.

— Предместье Афин, где даются любовные свидания.

— А когда нужно быть там?

Поэт думал несколько секунд.

— Через неделю, день в день.

— А этого провожатого-защитника ты знаешь?

Эвтиклес вздохнул.

— Это Диниас, мой господин.

— Он молод?

— Да.

— Любезен?

— Да.

— Богат?

— Да.

— И ты думаешь, что он меня полюбит?

— Я уверен.

Снова наступило молчание.

— А ты? — прошептала Фрина, подавая руку поэту. — Разве мы с тобой не встретимся?

Он запечатлел долгий поцелуй на этой руке и направил в ее улыбающиеся глаза благодарный взгляд, проговорив:

— Да, моя милая Фрина, мы увидимся.

И быстро удалился.

Афинские вельможи имели при себе юношей, в большинстве случаев поэтов, обязанность которых состояла в добыче любви. И эта обязанность не имела в то время в себе ничего постыдного и позорного. Обожатели сладострастия, греки, находили совершенно естественным, что те, которые умели воспевать его, могли и доставлять оное.

Диниас, господин Эвтиклеса, один из самых богатых вельмож Афин, скучал: уж давно красота самых прелестных гетер Акрополиса не была для него тайной. Чтобы развеяться, он испробовал наслаждение с дектериадами, то есть самым низшим классом проституток. Однажды вечером в сопровождении нескольких своих друзей он отправился в одно из самых постыдных предместий Катополиса, где матросы бесчинствовали с публичными женщинами самого низшего пошиба.

Ничто его не заняло. Он пришел в отчаяние! И он был прав: обладая громадным богатством, он не находил женщины, которая могла бы ему понравиться.

Возвращение Эвтиклеса возбудило надежду и радость в душе Диниаса.

— Господин, — сказал Эвтиклес, — я открыл сокровище.

— Где?

— В Феспии. Девушку шестнадцати лет.

— Красивую?

— Восхитительную, и не столько из-за чистоты ее черт, но особенно из-за идеального совершенства ее форм. Сама Венера позавидовала бы Фрине.

— Каким же образом ты мог судить об этом?

— Устав от ходьбы, сожженный солнцем, я прилег, чтобы отдохнуть под тенью лавровой и миртовой рощи на берегу одного озера. Фрина пришла купаться с многими из своих подруг. Никогда не видал я, никогда и не мог видеть такой женщины, как она... возле нее другие не существовали!

Глаза Диниаса заблестели.

— Ты с ней говорил? — спросил он. — Она согласна?..

— В сказанный день и час она будет в Керамике, — отвечал Эвтиклес.

Диниас бросил поэту кошелек.

— Возьми! — проговорил он. — И, если ты не обманул меня, если эта Фрина так хороша, как ты уверяешь, я тебе дам столько золотых монет, сколько она от меня получит в первую ночь поцелуев!..

Фрина явилась на свидание, назначенное Эвтиклесом. В сопровождении старой служанки, в назначенный вечер, она сидела под деревьями близ порта Керамика, отыскивая из-под своих длинных ресниц того могущественного покровителя, который был ей обещан, но мимо нее проходили, не удостоив ее взглядом: ее более чем простая одежда была не в состоянии прельстить.

Наконец один мужчина лет сорока, великолепно одетый, приблизился к ней, внимательно посмотрел на нее и, коснувшись ее плеча, проговорил:

— Встань и следуй за мной, Фрина. Я тот, кого ты ждешь.

То был действительно Диниас. Явившись вместе со своим господином в Керамик, Эвтиклес издали показал ему молодую девушку и удалился, не желая быть свидетелем того, что должно было произойти. Фрина повиновалась Диниасу. В нескольких шагах нетерпеливо ожидали два мула, которых держали под уздцы служители; девушка села на одного из них, на другого сел Диниас. Вскоре они достигли красивого дома, построенного близ моря. Переданная в руки невольниц, Фрина прежде всего приняла ароматную ванну, потом ее переодели в етолу, или длинное платье из легкой ткани, причесали и надели на нее всякого рода драгоценности. Когда ее привели в таком виде к Диниасу, он вскрикнул от восхищения.

— Правду сказал Эвтиклес! — воскликнул он. — Ты, Фрина, удивительно прекрасна!

Диниасу оставалось только признать, что невиданное им столь же прекрасно, сколь виденное.

И он был согласен с убеждением поэта, ибо на другой день весело сказал ему:

— Ступай к моему казначею, мой милый, и возьми тысячу золотых монет.

«Что тысяча! — подумал Эвтиклес, заглушая вздох, в котором было больше алчности, нежели сожаления. — О Фрина! Если б я был Диниасом, то, платя не только по золотой

монете, а по одному оболу за поцелуй всех твоих прелестей в эту первую ночь любви, — как бы я ни был богат вчера, сегодня бы я разорился».

И Фрина, между прочим, не забыла, что обещала Эвтиклесу.

По случаю или по ревнивому предчувствию в течение той недели, когда Диниас обладал прекрасной феспиианкой, он не доставил ни одной возможности поэту приблизиться к ней. Она не выходила из того маленького домика, в котором он поместил ее, и сам он не покидал ее ни на минуту.

Но однажды утром Диниас должен был ехать по важному делу в Саламин.

Он еще не уехал, когда Эвтиклес был предупрежден одним из невольников, что Фрина желала бы с ним поговорить. Он не шел, а летел. Она была одета в то же самое платье, в котором он встретил ее в поле, — он был удивлен, снова встретив ее в такой простой одежде.

— Ты не понимаешь? — сказала она с нежной улыбкой. — Тебя принимает не любовница Диниаса, а простая девушка из Феспии.

Невольно поэт склонил голову при этих словах. Как будто читая в его мыслях, Фрина возразила:

— Ах, правда! Любовница Диниаса, быть может, не похожа на ту девушку. Я не кажусь тебе столь же привлекательной, как в то время, когда ты следил за моим веселым плесканием в воде озера?

Эвтиклес вздрогнул при сладостном воспоминании о первом свидании. Закрыв глаза как будто для того, чтобы оживить это воспоминание, он упал перед молодой женщиной и сжал ее в своих объятиях.

— Так что же, — продолжала она, отдаваясь его восторгам, — разве роза, потеряв свои шипы, потеряла и свой аромат? И кроме того, — в эту минуту она одарила его пламенным поцелуем, — клянусь тебе, что Диниас не научил меня...

— Чему?

— Любить.

Фрина умерла в 55 лет, и всегда она была очень любима; вокруг себя она всегда видела толпу обожателей, и потому только, что довольствовалась быть обожаемой за то, что дала ей природа, никогда не прибегая к пособию искусства; только раз в день она принимала ванну из чистой воды, ее красота имела потребность только лишь в ваннах.

И манеры и голос Фрины не имели ничего общего с другими подобными ей женщинами. В театре, на прогулке, на занятиях никогда не слыхивали, чтобы она громко смеялась с целью привлечь к себе внимание. Получив самое посредственное образование, она говорила мало, но, обладая умом, говорила только умные вещи. Она одевалась со вкусом и вместе с тем просто, кроме того, она была нравственна, скромна, и когда ее встречали на улице, то платье всегда плотно прикрывало ее шею...

И, кроме того, Фрина никогда не бывала в публичных банях. Только однажды она явилась голой: то было на празднике Нептуна в Элевзисе. Она сбросила свои одежды, распустила длинные волосы и вошла в море, как вышедшая из него Венера. Но подобный поступок пред лицом всего народа был вовсе не бесстыдством, а грандиозным великодушием.

Народ знал, что она красавица, но знал это только по слухам; она сделала ему честь открытием своей красоты, и народ благодарил ее громкими рукоплесканиями.

Апелес, находившийся в это время там, до такой степени был восторжен таким

соединением совершенств, что тогда же написал свою Венеру, выходящую из воды. После этого случая Фрина стала любовницей Гиперида.

Он был уже давно в нее влюблен, но был беден, а куртизанка назначала за свои ласки высокую цену, и он не осмеливался явиться к ней.

Случай, при котором ему пришлось присутствовать со всем народонаселением Афин, придал ему смелости.

Вечером Фрина была одна на террасе своего жилища, выходящего на маленькую речку, когда один из ее невольников возвестил ей о Гипериде.

Он любил ее, а она не знала даже его имени.

Но в этот день она была великодушна...

— Зови! — сказала она невольнику.

Гиперид явился. Ему было лет двадцать восемь или тридцать, не будучи красавцем, он не был и дурен. Он смело приблизился к ней, как человек, готовый победить или умереть...

Она показала ему на кресло и спросила:

— Кто ты?

— Тебе сказали, что меня зовут Гиперидом.

— Твое занятие?

— Я адвокат.

— Адвокат! — и Фрина сделала гримасу, повторив это слово.

— Ты их не любишь? — заметил Гиперид.

— Нет.

— Почему?

— Потому что один адвокат меня любит.

— Разве любить тебя преступление?

— Конечно, когда дурен, глуп и зол, как Евтихий.

— А так как это Евтихий, я разделяю с тобой твоё отвращение, но не все же адвокаты дурны, глупы и злы...

— Наконец, чего же ты от меня хочешь?

— Я люблю тебя.

— О! О! И ты тоже.

— Также!.. Нет, я люблю тебя не так, как Евтихий. У меня есть сердце, у меня есть разум, я тебе посвящаю их.

Куртизанка презрительно пожала плечами.

— Сердце, разум, да что же я из них сделаю? Больше ты ничего не можешь мне предложить?

— Нет, я имею ещё нечто.

— Что же?

— Мою кровь, Фрина. Я предлагаю тебе торг!

— Какой?

— Ты ненавидишь Евтихия... Отдай мне одну ночь, одну только... и я убью его.

Фрина несколько секунд смотрела в глаза Гипериду.

— Если б я тебя поймала на слове, то тебе было бы очень неловко.

— Попробуй.

— Хорошо, я принимаю, только я хочу назначить порядок условий. Убей Евтихия, тогда я подарю тебе не одну, а десять ночей.

— Десять невозможно, — возразил Гиперид. — Евтихий подлец: он не будет драться, что бы ни сказал я ему и что бы ни сделал, а потому я должен буду убить его без борьбы, следовательно, меня арестуют и заключат в тюрьму, а потом умиртвят, как виновного в убийстве.

— А! Ты уже трусишь!

— Я не страшусь смерти, я страшусь только того, что, приобретя награду, не буду, вследствие смерти, иметь возможности получить ее. Но ты приказываешь...

Гиперид встал.

— Куда идешь ты? — спросила Фрина.

— К Евтихию.

— Нет, я раздумала, я не хочу, чтобы его убивали. Я хочу предложить совершенно иной торг, чтобы принадлежать тебе.

— Говори.

— Не здесь. Вечерний воздух начинает холодать. Дай мне руку, и войдем в дом.

Фрина провела адвоката в свою спальню, которых в ее доме было множество, но эта, как позже узнал Гиперид, сохранялась для самых близких друзей.

Фрина возлегла на ложе.

Вслед за тем, смотрясь в медное зеркало, она обратилась к нему:

— Ты сейчас сказал, что ты образован. Докажи же сначала, каким образом можно быть мне приятным, — мне, которая сделала ремесло из очень дорогой продажи своего тела?

Гиперид вздохнул.

— Увы, Фрина, — ответил он, — твое требование слишком трудно.

— Так трудно, что ты отказываешься? Ты удивляешь меня! Однако ты мог бы доказать это.

— Каким же образом?

— Я позволяю тебе испробовать все те отношения, вследствие которых я могу быть счастлива, будучи любимой тобой.

Гиперид приблизился к постели и склонился к куртизанке таким образом, что его дыхание взвевало ей душистые волосы.

— Да, — прошептал он, — да, Фрина, ты можешь быть счастлива моею любовью, ибо она такова, подобно которой ты не встретишь. Ты улыбаешься... ты полагаешь, что я хвастаюсь... Искусная в науке любить, ты не веришь, чтобы я был способен чему-нибудь научить тебя?.. Ты заблуждаешься! Истинная любовь обладает наслаждениями, принадлежащими только ей... Закрой на минуту твои насмешливые глаза и сожми твои улыбающиеся губы. Потом, когда я скажу тебе, взгляни, если ты сама не увидишь в зеркале какого-то особенного выражения на своем лице, — тогда я солгал и пожирающий меня огонь бессилен оживить тебя, жестокая статуя.

Уступая желанию Гиперида, Фрина закрыла глаза и согнала с лица улыбку. Через несколько минут, подняв свои длинные ресницы, куртизанка взглянула в зеркало и вскрикнула от изумления.

Воистину, ее прекрасное лицо говорило что-то новое, она чувствовала то, чего никогда не ощущала.

Никогда!.. Нет, некогда поцелуи Эвтikleса вызывали в ней такое же сладостное ощущение...

Но ей уже было двадцать четыре года, восемь лет прошло с того времени, она позабыла.

— Ну? — спросил Гиперид.

— Ты прав, — ответила она, снова сделавшись госпожой самой себе. — Ты любишь меня, и я думаю, что я могла бы тебя полюбить. Ты доказал мне, что ты смышлен. Это хорошо. Но это еще не все. Я требовательна! Мне нужно иное доказательство твоей страсти. Я его потребую от твоего сердца.

— Требуй! Оно готово!

— Посмотрим.

Она как-то особенно ударила в ладоши. Вошел невольник и по ее знаку поставил около постели стол из полированного дерева, ножки которого были из слоновой кости и имели форму львиных лап, а на этот стол — чашу и сосуд. Потом он удалился.

Тогда, указывая на них рукой Гипериду, который с любопытством следил за этой сценой, Фрина сказала ему:

— Знаешь, что в этом сосуде?

— Почему я могу знать! — возразил Гиперид. — Икарское или корцирское вино, которое ты так любишь выпить вечером, несколько глотков.

— Нет, там не вино. Слушай, Гиперид, минуту назад ты принял меня за жестокую статую. Я не статуя, но я жестокая. Ты предложил мне жизнь Евтихия за одну ночь счастья... Я отказалась... Но ты также предлагал свою, я принимаю... В этом сосуде яд, страшный и приятный яд, он не причиняет страдания. Через несколько часов после приема ты тихо заснешь... А мне хочется, чтобы завтра все Афины повторяли: «У Гиперида не было денег, чтобы заплатить Фрине, он заплатил ей своею жизнью».

Гиперид взял твердой рукой чашу.

— Лей! — сказал он.

Она налила.

Он хотел пить, но она остановила его.

— погоди, — проговорила она, — подумай... Это не пустая игра: ты умрешь.

— Через сколько часов?

— Через пять или шесть.

— Пять или шесть вечностей наслаждения!.. За кашу любовь, Фрина! — Он сразу осушил чашу и далеко отбросил ее.

— Теперь я достоин тебя?

— Да, — ответила она, подавая ему руку. — Я люблю тебя! Я твоя...

На рассвете Гиперид проснулся. Первый взгляд его встретил улыбку Фрины.

— Так я не умер? — весело вскричал он.

— Ты сожалеешь об этом?

— Нет, потому что в могиле я бы не мог уже любить тебя.

Эта ночь любви имела много сестер. И Фрина не скрывала нежной привязанности к Гипериду, она повсюду являлась с ним.

Это было неблагоразумно, потому что она знала злость Евтихия. К печали, причиненной презрением Фрины, прибавилась ярость при виде ее любовника-собрата.

Однажды, когда она прогуливалась с одной своей подругой, к ней подошел Евтихий.

Она хотела удалиться.

— Только два слова, — сказал он голосом, который выражал и мольбу, и угрозу.

— Ну что?

Он наклонился к ней и прошептал:

— Моя любовь и пять талантов... или ненависть и смерть... выбирай!

Фрина вздрогнула, услышав объявление этой войны, но, силой воли сдержав движение, выразившее боязнь, она иронически ответила, смотря прямо в лицо Евтихию:

— Так, значит, правда, что змея свистит перед тем, как ужалить... Свисти же, Евтихий, но, чтобы ужалить, верь мне, сначала вставь зубы, это не повредит тебе.

И она удалилась. Через две недели Евтихий представил Фрину перед трибуналом гелиастов как виновную в профанации величия Тесмофоров, так назывались праздники в честь Цереры, торжествуемые ночью.

Обвиненная в осмеянии священного культа, Фрина могла всего страшиться, ибо хотя куртизанки были очень любимы в Афинах, однако трибуналы держали их в строгой подчиненности, наблюдая, чтобы они не нарушали общественный порядок, возбуждая презрение к богам.

Трибунал гелиастов состоял из двухсот членов, из которых каждый получал по три обола и платил штраф, если являлся поздно.

Естественно, что Гиперид был защитником своей любовницы, но хотя по виду он был уверен в ее оправдании, однако в глубине души чувствовал беспокойство, припоминая, что несколько лет назад куртизанка Феориса, жрица Венеры и Нептуна, была приговорена к смерти.

Фрина должна была предстать перед судилищем в десятый день месяца каргелиона. Накануне этого дня, утром, когда молодой адвокат резюмировал главные доводы защитительной речи, к нему вошла Вакха, подруга Фрины. Лицо ее было печально.

— Что с тобой? — вскричал Гиперид, подбегая к молодой женщине. — Фрина беспокоится и прислала тебя?..

Вакха сделала отрицательный знак.

— Нет, — возразила она, — Фрина продолжает надеяться на тебя как на оратора и любовника.

— Так что же?

— А я, признаюсь, не так спокойна.

Гиперид хотел вскрикнуть...

— О! Пойми меня! — продолжала Вакха. — Я не сомневаюсь в твоём таланте и в твоей любви... Но я боюсь... боюсь, что талант и любовь не послужат доказательством для судей... Мне кажется, чтобы достигнуть этого, ты имеешь надобность в могущественном покровительстве.

— Могущественное покровительство?.. Если ты кого-нибудь знаешь, кто за все, что я имею, уверил бы меня в спасении Фрины, — назови, я готов...

Вакха вздохнула.

— Я тебе сказала бы, что бы я сделала на твоём месте, — ответила она, — но вы, мужчины, — вы, ученые, — вы всего чаще отрицаете наши советы, советы невежественных и слабых женщин.

— Да объяснись же, что бы ты сделала на моём месте.

— Ты будешь считать меня безумной.

— Безумная может бросить луч света мудрецу.

— Слышал ты о Лизандре, о пастухе с горы Гиметты?..

— Который читает в будущем посредством зеркала, подаренного ему персидским магом Осоранесом в благодарность за то, что он помешал ему погибнуть? Да, я слышал о Лизандре

и его волшебном зеркале. И ты хочешь, чтобы к нему я отправился за советом?

Гиперид засмеялся. Вакха склонила голову.

— Я была уверена, — прошептала она, — что ты посмеешься надо мной, но что это доказывает? Что ты имеешь меньше любви к ней, чем я дружбы, потому что при малейшей надежде быть ей полезной я не остановилась бы ни перед каким поступком, каким бы он ни показался смешным и странным.

Гиперид перестал смеяться и, сжав руку куртизанки, вскричал:

— Вакха, клянусь Юпитером, ты права! Я увижу Лизандра.

Вакха радостно воскликнула.

— Но, — возразил Гиперид, — в какой местности Гиметты живет он?

— Я знаю, — ответила Вакха.

— Ты уже спрашивала его?

— Да, я хотела узнать, долго ли будет меня любить Тимей.

— А что он сказал тебе?

— Правду!.. Он отвечал мне, что Тимей будет любить меня до тех пор, пока я буду любить его. Я первая бросила его.

— О! О! На самом деле, после такого верного предсказания нельзя сомневаться в науке пастыря.

— Ты еще смеешься?

— Что тебе до этого, если я готов за тобой следовать?..

— В путь же!

— В путь!

Лизандр, счастливый обладатель волшебного зеркала, подарка перса, жил в хижине на вершине Гиметты.

Ему было чуть больше двадцати пяти лет; его манеры и разговор согласовывались с его личностью, покровительствуемой богами, хотя были несколько быстры и необычны.

Он сидел за крынкой молока и куском хлеба, когда Гиперид и Вакха явились к нему. Он нимало не смешался от их прихода и, когда кончил завтракать, сказал им:

— Что вам от меня нужно?

— Посоветоваться с тобой, — отвечал Гиперид.

— О чем?

— Об участи женщины, которую мы любим.

— Ее имя?

— Фрина!

— Фрина.

Лизандр задумчиво достал зеркало из ящика, поставил перед собой на столик. Долго и неотрывно смотрел в потемневшую гладь его. Из глубины зеркала стало появляться светлое пятно, которое начало обретать формы нагой женской фигуры.

Гиперид и Вакха вскрикнули в одно и то же время, как будто под влиянием той мысли, что изображение, явившееся им в зеркале, было воспроизведением самой Фрины, пришедшей тайком за своим любовником.

Но, когда они взглянули в зеркало снова, изображение исчезло.

Что бы это значило? Гиперид просил у Лизандра совета, как спасти Фрину от жестокой опасности, а Лизандр показал ему обнаженную Фрину. К чему? Какой смысл заключался в этом явлении?..

Тщетно адвокат допрашивал пастуха; он уже положил зеркало в ящик и на все вопросы неизменно отвечал:

— Она прекрасна! Фрина удивительно прекрасна!

Гиперид и Вакха возвратились в город, оба изумленные видением, и оба не понимали, какую пользу можно извлечь из этого колдовства.

На другой день Фрина предстала перед судилищем.

Главным обвинителем, как мы сказали, был Евтихий, обвинявший Фрину в оскорблении величия праздника Цереры; кроме этого очень важного обвинения, Евтихий развил пред судилищем другое...

Он говорил, что Фрина, не довольствуясь оскорблением установленного культа, хотела ввести в государство поклонение новым богам.

— Я доказал вам, — говорил он, заканчивая речь, — бесчестие Фрины, бесстыдно предающейся оргиям, на которых присутствуют мужчины и женщины, обожающие Изодэтес. Преступление ее явно, оно доказано. За это преступление назначается смерть. Пусть же умрет Фрина. Так повелевают боги, ваш долг повиноваться им.

Гиперид возражал Евтихию.

Он прежде всего настаивал на том, что поведение Фрины гораздо выше поведения других женщин из того же класса, что она не могла предавать осмеянию уважаемые всеми церемонии и никогда не думала вводить нового культа. Речь была красноречива, но она не убедила судей, несмотря на заключение, в котором Гиперид вдохновенно воскликнул, что вся Греция будет рукоплескать оправдательному вердикту, постоянно повторяя: «Слава вам, что вы пощадили Фрину!» Несмотря на остроумное сравнение Евтихия с жабой, вызвавшее улыбку на лице некоторых судей, большинство гелиастов имело во взглядах нечто угрожающее.

Гиперид не ошибался.

«Что сделать, чтобы убедить их? — подумал он, испуганный этими пагубными признаками. — Что делать?»

И чтобы рассеять зародившееся беспокойство, молодой адвокат, как будто отирая лоб, закрыл лицо платком.

Вдруг он вздрогнул при одном воспоминании.

О! Да будет благословен гиметтский пастух! Его совет в виде изображения совершенно обнаженной Фрины только сейчас был понят Гиперидом. В зале раздавался глухой шум, производимый разговорами судей.

Гиперид величественным движением руки заставил их замолкнуть. И, обернувшись к обвиняемой, сидевшей около него на скамье, сказал ей:

— Встань, Фрина!

Затем, обратившись к гелиастам, проговорил:

— Благородные судьи, я еще не окончил своей речи! Нет! Еще осталось заключение, и я закончу так: посмотрите все вы, поклонники Афродиты, а потом приговорите, если осмелитесь, к смерти ту, которую сама Венера признала бы сестрою...

Говоря эти слова, Гиперид сбросил с Фрины все одежды и обнажил перед глазами всех прелести куртизанки.

Крик восторга вылетел из груди двухсот судей.

Охваченные суеверным ужасом, но еще более восхищенные удивительной красотой, представшей перед ними, — сладострастно округленную шей, свежестью и блеском

тела, — гелиасты, все как один, провозгласили невинность Фрины.

Жаба Евтихий был посрамлен... его ярость удвоилась при виде радостной гетеры, свободно уходившей под руку со своим милым адвокатом. Исход процесса Фрины стал событием в Афинах.

Афинские куртизанки явились к Фрине с поздравлениями. Одна из них, Фивена, написала Гипериду письмо, сочиненное поэтом Альцифроном, в котором от имени всех афинских куртизанок было предложено воздвигнуть ему статую. Но Гиперид отказался от подобной чести, быть может, потому, что в глубине души он считал Лизандра более достойным этой почести.

Во всяком случае, после подобного успеха, он, — да простят нам это выражение, — встречал любовь на каждом шагу.

В тот день, когда он разошелся бы с Фриной, каждая гетера сочла бы за счастье предложить себя спасителю всей корпорации...

Продолжим же историю жизни Фрины и рассказ о любви ее к Праксителю — ваятелю. Праксителю достаточно было увидеть Фрину, чтобы представить ее смертным в виде богини любви. Говорят, сам Пракситель влюбился в свое создание и, продав оное, просил его за себя замуж. И никто не был оскорблен безумной страстью художника, видя в этом поклонении невольную почесть красоте богини.

По-видимому, со стороны Праксителя было бы гораздо проще жениться на модели, принадлежавшей ему. Но существовали причины, почему ваятель не хотел этого союза, — серьезные причины, которые мы объясним впоследствии. Как женщина, Фрина была совершенством красоты, но ей недоставало выражения, которое художник вынужден был заимствовать у другой женщины...

И это заимствование было причиной разрыва Праксителя с Фриной. Фрина не простила ваятелю, что он осмелился оживить воспроизведение ее тела посторонней душой, улыбкой другой женщины, молоденькой невольницы Крамины.

Но в первые месяцы любви Пракситель и Фрина обожали друг друга. Они посвящали один другому все свое время, но надо признаться, что большая часть издержек приходилась не на долю ваятеля, в котором искусство господствовало над любовью.

Это так справедливо, что однажды Пракситель сказал Фрине:

— Я тебе много обязан, Фрина, за доставленные наслаждения, за славу; мне хочется отблагодарить тебя... Но золота ты не захочешь, выбирай прекраснейшую из моих статуй — она твоя.

Фрина вскрикнула от радости при этом предложении, но после краткого размышления сказала:

— Прекраснейшую из статуй?.. А которая из них самая прекрасная?

— Это меня не касается, — возразил, смеясь, Пракситель. — Я тебе сказал — выбирай...

— Но, я ничего в этом не смыслю.

— Тем хуже для тебя.

Фрина обвела жадным взглядом мастерскую, наполненную мрамором и бронзой.

— Ну?.. — спросил он.

— Я беру твое слово, — ответила молодая женщина. — Я имею право взять отсюда статую. Мне этого достаточно, я в другое время воспользуюсь моим правом.

— Хорошо.

Несколько дней спустя Пракситель ужинал у своей любовницы. Во время ужина быстро вошел невольник, исполнявший свою роль.

— Что случилось? — спросила Фрина.

— У Праксителя, в его мастерской, пожар, — ответил он.

— В моей мастерской?! — вскричал Пракситель, быстро поднявшись со своего места. — Я погиб, если пламя уничтожит моего Сатира или Купидона.

И он бросился вон.

Но Фрина, удерживая его, сказала с лукавой усмешкой:

— Дорогой мой, успокойся: пламя не уничтожит ни Сатира, ни Купидона, оно даже не коснулось твоей мастерской, все это пустяки. Я хотела узнать только, какой из статуй ты отдаешь предпочтение... теперь я знаю. С твоего позволения, я возьму Купидона.

Пракситель закусил губы, но хитрость была так остроумна, что сердиться было невозможно.

Фрина получила Купидона, которого через несколько лет подарила своему родному городу.

— Я хочу обессмертить тебя! — сказал Пракситель Фрине в одну из восторженных минут любви и благодарности. — Обожаемая при жизни, я хочу, чтобы ты была обожаема после смерти. Я хочу, чтобы через тысячи лет люди в восторге перед твоим образом спрашивали самих себя: женщина ли это или, скорее, сама Венера, которая ради моей славы и их восхищения сошла на землю и явилась ко мне?

Прельщенная идеей пережить себя и еще внушать на земле желания и после того, как она ее покинет, Фрина не отказала Праксителью; то были сладостные сеансы, во время которых художник часто уступал место любовнику, забывая триумф будущего для наслаждений настоящим. Тем не менее статуя приближалась к завершению, прошло еще несколько дней работы, и Пракситель выставил свое новое творение на всеобщее восхищение.

Клавдий, четвертый император после Августа, родился в 744 году от построения Рима, за десять лет до Рождества Христова. Сын Друза и дядя Калигулы, он был один из всего семейства пощажён племянником. Быть может, потому, что последний считал его достойным себе преемником. Еще в колыбели, когда умер его отец, Клавдий страдал болезнями, которые мало-помалу ослабили его тело и ум так, что его долго считали не способным к общественным занятиям. Довольно высокого роста, но толстый и неповоротливый, он и по уму был точно таким же неповоротливым.

Мать его, Антония, называла его чудовищем и выродком природы и, когда говорила о какой-нибудь глупости, она постоянно произносила: «Он глупее моего сына». Его дядя, Август, писал по этому поводу одному из своих родственников:

«Что касается до меня, я буду приглашать молодого Клавдия каждый день ужинать со мной, чтобы он не ужинал один с Сульницем и Афенодором... Я хотел бы, чтобы несчастный избирал с большей заботливостью примеры для своего поведения. В делах серьезных он никуда не годится».

Он вообще известен в истории под именем слюнявого идиота. Однако после смерти Калигулы он был избран в императоры римскими легионами, которые находили гораздо выгоднее для себя иметь империю, чем республику.

При своем вступлении на престол Клавдий выразился совершенно: он начал прокламацией и эдиктом, в которых обещал прощение и забвение прошлого.

Ради наглядности он повелел предать смерти некоторых трибунов и центурионов, которым было недостаточно убить Калигулу и которые осмелились сказать, что вместе с племянником нужно было отправить на тот свет и дядюшку.

Эти негодяи заслуживали урока. Ясно, что Калигулу убить было недурно, потому что Калигула заслужил это, ибо его ненавидели. Но убить его храброго дядю Клавдия, который был избран народом и армией, было очень дурно.

Приговорить к смерти и центурионов, и трибунов!..

И в то время, как они умирали на крестах, добрый Клавдий как пример сыновней любви назначил празднество в честь своей бабушки Ливии, повелел установить публичное жертвоприношение в честь своей матери и отца. Вслед за тем, являя собой самую скромность, он отказался от самых высоких титулов, которые были изобретены царедворцами и, между прочим, от титула императора.

Это был, в сущности, один из самых гнусных властителей. Но так как наша задача заключается вовсе не в описании истории Клавдия, то мы перейдем к описанию жизни жены его, Мессалины, которая сопровождала его колесницу во время его триумфов по возвращении из Британии, где он изволил прогуливаться целых две недели. Это была почесть, оказанная ей сенатом.

Мессалина! С этим именем связываются воспоминания о том глубоком разврате, в котором погряз властелин Вселенной.

Роль любезного и любимого императора, игранная Клавдием, была наконец кончена.

Сбросив маску, Клавдий свободно отдался той роли, которую должен был играть во всемирной истории, — роли подлого, глупого и жестокого тирана.

А так как он упражнялся в этом под влиянием своей жены, то нам необходимо

объяснить, что это была за женщина.

Мессалина (Валерия), последняя внучка Октавия, сестра Августа, была дочерью Мессалы Барбата и Эмилии Лепиды.

Еще шестнадцать лет она уже выказывала самые развратные инстинкты. Да и как могло быть иначе? Отец ее, человек, хотя и уважаемый, предан был пьянству, из чего вытекало, что он совсем ею не занимался. А мать ее, Лепида, считалась одной из самых развратных женщин Рима, — одной из самых распутных и злых женщин.

В качестве жрицы Приана Лепида не довольствовалась почти открыто упражняться в самом безобразном сладострастии, уверяли, что она занималась магией и что под сенью ночи, в сообществе старой фессалийской служанки, составляла напитки, в которых любовная трава была по преступному расчету смешиваема с ядом.

Какова мать, такова и дочь.

Однажды, будучи шестнадцать лет, Мессалина заметила в галерее сирийского невольника, который заснул. Раскалив одну из своих шпилек, которые употреблялись римскими женщинами для того, чтобы удерживать волосы, она с громким хохотом проколола ею обе щеки несчастного.

Тот кричал и плакал.

— На что ты жалуешься? — спросила его Мессалина. — Это я еще добрая. Вместо щек я ведь могла бы проколоть тебе глаза.

В другой раз перед ее дворцом прогуливался красивый школьник, приготавливая речь, которую он должен был произнести вечером.

Мессалина подошла к нему, взяла у него его таблички и, взглянув на него, сказала:

— Твоя речь ничего не стоит.

— Неужели? — смеясь, возразил школьник. — Ты напишешь лучше?

— Без сомнения. Ты говоришь о философии... Философия пустая наука! В твои лета, при твоей красоте может быть одно только интересное занятие в жизни.

— Какое?

— Читай!

Мессалина подала молодому человеку свои таблички, на которых были начертаны следующие слова:

— Любить, любить и любить!..

Но за два года до восшествия на императорский трон, через шесть месяцев после развода со своей второй женой, Клавдий решил, что он женится на дочери Эмилии.

Мессалине едва было двадцать лет, а Клавдию уже сорок восемь. Несмотря на эту громадную разницу в летах, несмотря на бесчисленные физические недостатки будущего императора, Мессалина согласилась быть его женою.

Она дала это согласие потому, что Трифена, старая фессалийская колдунья, сказала ей, что этот человек скоро будет занимать одно из первых мест в Риме, что он будет императором, а она императрицей...

Не прошло и недели со дня сватовства будущего императора, как Мессалина, одетая в белую тунику, символ девственности, с челом, увенчанным цветами, символом плодородия, покрытая пунцовым покрывалом, отправилась вместе с Клавдием в носилках, дно которых было покрыто овечьей шкурой, в храм Юпитера, где должна была праздноваться их свадьба.

Во главе процессии шла Лепида с толпой женщин, несших светильники. По окончании церемонии все отправились в жилище мужа, где был приготовлен свадебный пир.

Шестьдесят собеседников заняли ложа в триклиниуме, — так называлась пиршественная зала. Во время пира две артистки на цимбалах по очереди оглашали воздух звуками своих инструментов, дабы помешать пирующим совершить непростительное приличию, то есть заснуть за столом.

За десертом явились комедианты, которых называли гомеристами, потому что они декламировали стихи знаменитого греческого поэта, и начали увеселять пирующих.

Но Лепида, не понимавшая ни словечка по-гречески, по знаку Клавдия приказала заменить их танцовщицами, которые в то время, как один из египетских невольников, по имени Измаил, с удивительным искусством подражал пению соловья, начали постыдный танец.

Мессалина, чтобы лучше видеть этот танец, скинула свое покрывало; Клавдий разразился громким хохотом глупца.

Наконец настал час, когда нужно было проводить Мессалину на брачное ложе, которое, следуя обычаю, было поставлено не в спальне, а в одной из галерей дворца, против двери, и возвышалось на эстраде из слоновой кости, окруженное статуями богов и богинь.

Пропели эпиталаму, или песню в честь новых супругов, потом, после того как Лепида обняла свою дочь и тихо перемолвилась с ней несколькими словами, Клавдий и Мессалина остались одни.

Но Клавдий слишком много пил и ел на свадебном пиру.

В нескольких шагах от него, на ложе, покрытом пурпурными тканями, вышитыми золотом, отдыхала двадцатилетняя женщина, а Клавдий, сидя в углу, храпел что было силы.

А между тем она была прекрасна: лоб ее был чист, уста свежи и розовы, как будто она никому не дарила поцелуев, кроме детей, великолепные черные глаза закрывались длинными ресницами, а в противоположность им ее густые волосы были золотисто-пепельного цвета.

Да, Клавдий спал, он не только спал, но даже храпел; он храпел, а его жена смотрела на него во все глаза со странной улыбкой — с улыбкой, которая в одно и то же время выражала и удивление, и насмешку, и презрение.

Вдруг из полуоткрытого окна до Мессалины долетели звуки, привлечшие ее внимание; звуки эти были столь же обольстительны, сколь были противны звуки, издаваемые Клавдием, эти звуки походили на пение соловья... два соловья пели под сенью сада. Очарованная этими ночными звуками, Мессалина задумалась, заметив, что серенаду ей давал только один из певцов.

— Измаил! — прошептала она.

Она угадала, это был Измаил, прекрасный египетский невольник, который ради поэтической идеи отправился в сад своего господина состязаться в красоте и разнообразии пения с постоянным обитателем этих садов — соловьем.

Но как бы ни было удачно подражание, Мессалина не обманулась, она отличала ложь от истины и, слушая невольника, ощутила бесконечно более сильное чувство, чем то, которое производит обыкновенный талант; чувство это выразалось в оживлении ее лица, в волнении ее груди. Клавдий продолжал храпеть.

Мессалина соскользнула с постели, осторожно отворила дверь и, легкая, как птица, скрылась в саду. Через несколько минут в садах Клавдия распевал только один соловей.

Клавдий все продолжал храпеть...

На другой день, утром, Мессалина, после ванны, занималась своим туалетом, при

котором присутствовало около двенадцати невольниц, когда один из служителей дворца доложил, что секретарь Клавдия, его историограф Нарцисс, желал бы ей представиться. По происхождению невольник, он достиг того, что был освобожден своим господином, который смотрел на него как на существо высшее и ничего не предпринимал без его совета.

Мессалине было известно влияние Нарцисса на Клавдия, и она дала себе обещание, выходя за последнего замуж, управлять его фаворитом.

Она приказала немедленно пригласить его.

Нарцисс вошел. То был человек лет тридцати, в котором не было ничего замечательного, за исключением крайнего бесстыдства.

Он довольно фамильярно поклонился Мессалине и, ожидая ухода прислужниц, начал гладить большую лакедемонскую собаку, которую он, не стесняясь, привел с собой в покои молодой женщины.

Мессалина нахмурила брови.

— Что доставляет мне удовольствие, так это видеть вас и вашу собаку, господин Нарцисс, — сказала она насмешливым тоном.

Нарцисс улыбнулся, он предвидел подобный прием.

— Мирро имеет обыкновение всюду следовать за мной, куда бы я ни шел, он так меня любит и так верен мне, что у меня не хватает смелости прогнать его. Не правда ли, верность — редкая вещь в настоящее время?

— Дальше, — проговорила Мессалина, не отвечая на этот прямой вопрос.

— Дальше, — ответил Нарцисс, вынимая из кармана таблички, — я позволил себе обеспокоить вас, чтобы передать вам описание одного случая, происшедшего сегодня ночью в этом доме.

— Этой ночью?

— Да. Я предполагал, что прежде чем я передам моему господину, — мне так приятно давать ему это название, хотя он и освободил меня, — вам не будет неприятно узнать о происшествии, которого я был случайно невидимым свидетелем и о котором записал по обязанности историографа. Сегодня ночью я не спал. Устав ворочаться на постели, я сошел в сад и... — Нарцисс не закончил фразы. Приблизясь к нему, Мессалина вырвала у него из рук таблички без гнева, скорее смеясь, хотя смех этот был ненатурален.

Со своей стороны Нарцисс не сделал ничего, чтобы воспротивиться движению молодой женщины. Наступило краткое молчание, в продолжение которого они пристально глядели друг на друга. Мессалина первая прервала это молчание.

— Вы на самом деле хотели передать эти таблички Клавдию? — спросила она шипящим голосом.

Нарцисс пожал плечами.

— Вы слишком молоды и слишком прекрасны, — возразил он, — чтобы служить забавой для быков. Разверните эти таблички и прочтите, что я хотел передать Клавдию без всякой опасности для вас.

Мессалина прочла:

«Сегодня утром я, Нарцисс, управитель Клавдия, обрил брови египтянину Измаилу и за его дерзость приказал выжечь на лбу его клеймо».

— А! — холодно прошептала она. — Измаил был так дерзок?

— Да! — отвечал Нарцисс. — Вчерашний его успех в подражании песни соловья вскружил ему голову. Сегодня утром, проходя мимо меня, он едва мне поклонился. Я

исправил его, отныне он будет почтительнее. Согласитесь, вовсе нехорошо, что простой невольник считает себя равным Юпитеру.

Мессалина отдала таблички Нарциссу.

— Хорошо, — ответила она и, наклонясь к Мирро, чтобы приласкать ее, добавила: — Эта собака верна?

— Так же, как его хозяин, — живо отвечал управитель. — Привязана до самой смерти к тем, которые удостоивают ее любви.

Рука Мессалины уже не гладила более собаку. Смелый отпущенник покрывал ее пламенными поцелуями.

— Я хочу пить, — сказала Мессалина.

Нарцисс встал, чтобы приказать принести питье своей госпоже. Молодой ассирийский невольник принес на подносе чашу, наполненную слегка подслащенным белым вином.

Мессалина выпила и, вытерев концы пальцев о волосы раба, брызнула через плечо несколько капель оставшегося в чаше вина в лицо Нарциссу, что было высшим выражением любезности у римских женщин того времени. Нарцисс, преклонив колена, сказал страстным голосом:

— До самой смерти буду помнить это, моя повелительница.

И отпущенник Нарцисс стал первым любовником Мессалины, жены Клавдия. Первым, потому что Измаил — подражатель соловью — был минутной прихотью, которую и нечего было считать.

Между тем Клавдий не всегда спад, находясь возле своей новой супруги, доказательством чему, — а разве это не доказательство! — может служить рождение двух сыновей, Британика и Октавия.

Клавдий обожал своих детей не так, как Мессалина, которая заботилась о них только в то время, когда им нужно было ее покровительство.

Клавдий особенно любил своего маленького Тиберия, прозванного сенатом Британиком в память о той славе, которой покрыл себя его отец во время экспедиции в Великобританию. Он проводил целые часы около его колыбели, укачивая его, а позже, когда ребенок был в состоянии понимать, он давал ему мудрые советы и учил молиться богам.

Клавдий был хорошим отцом и, вне всякого сомнения, если бы был женат на другой женщине, а не на Мессалине, — на женщине, верной своим обязанностям, Клавдий наверняка продолжал бы свое царствование не так, как его начал: без особого блеска, быть может, без особой пользы для народа, но и без скандальных глупостей и идиотских жестокостей.

Клавдий, делавший добро, стеснял Мессалину, которая помышляла только о зле. Искусная в распутстве, она подчинила своему влиянию не сердце, а тело своего мужа. Затем она постаралась развить его природные недостатки. Клавдий был всегда жаден до вина и еды, — она с утра напайвала его почти до бесчувствия, в этом помогал ей Нарцисс. Императрица нашла в этом человеке драгоценное орудие. Алчный до золота, до роскоши, он только и думал о том, как бы побольше украсть, и он вполне достиг своей цели, ибо после его смерти, случившейся при Нероне, осталось четыре миллиона сестерций.

— Воруй сколько хочешь, — сказала ему Мессалина, — я ничего не вижу и постараюсь, чтобы не заметил и Клавдий, но и ты со своей стороны сделай так, чтобы Клавдий не замечал моих удовольствий.

Понятно, что, сделавшись ее любовником, Нарцисс никогда не помышлял о том, чтоб

безраздельно обладать ею. Он не был ревнив.

После него настала очередь других отпущенников, живших во дворце и пользовавшихся благосклонностью императрицы. Нарцисс даже сам исполнял самые низкие причуды Мессалины. И вот однажды, когда на одном из праздников во дворце появился канатный плясун по имени Мнестер, то императрица пленилась им, ибо он был великолепен, это был Геркулес с примесью Аполлона, к, кроме того, он играл трагедии. Мессалина была восхищена. По окончании представления она послала одну из своих женщин отыскать мима. Мнестер явился. Императрица сидела в одной из своих зал, у ног ее отдыхал Мирро, подаренный ей Нарциссом.

Когда она чего-нибудь или кого-нибудь желала, Мессалина не теряла времени в разговорах.

— Ты прекрасен, и я люблю тебя, Мнестер! — сказала она ему.

Она ожидала, что при этих словах охваченный радостью мим бросится к ее ногам.

Каково же было ее удивление, когда он остался холодным и неподвижным.

— Разве ты не слышал моих слов, — продолжала она голосом, в котором слышался скорее гнев, чем любовь. — Глух ты и нем, что ли?

— Ни то ни другое, с позволения вашего величества, — сказал тихо Мнестер.

— Так почему же это молчание, когда я удостоила тебя такой чести?

— Я слышал, что в императорских дворцах стены имеют уши, и то, что я ответил бы вашему величеству, может быть передано вашему августейшему супругу.

Мессалина улыбнулась.

— Ты благогазумы! — заметила она.

— Когда имеешь одну только шкуру, так поневоле дорожишь ею, — ответил он.

— Ну, так тебе нечего бояться за свою шкуру. С этой стороны дворца уши закрыты.

Мнестер поклонился.

— Это меня немного успокаивает.

— Так немного?!

— О! Чтоб ответить вашему величеству, как вы, по-видимому, желаете, что я вполне принадлежу вам и счастлив этим, мне мало быть уверенным, что ни один шпион не следит за мной.

— А! Тебе недостаточно?

— Ваше величество, позвольте ли мне объяснить мою мысль, рассказав небольшую басню?

— Рассказывай.

— Однажды львица встретила на своей дороге зайца, миловидность которого ее пленила. «Следуй за мной в мою берлогу», — сказала она ему. «Охотно, — отвечал заяц, — вы так прекрасны, что удар когтей вашей изящной лапки мне показался бы лаской. Но на вашего супруга я не надеюсь, его движения слишком быстры, когда он дает удар, этот удар убивает. Прежде чем я последую за вами, благоволи́те увидеть его и предупредить, что вы желаете взять меня для своей забавы и развлечений. Предупрежденный таким образом господин лев не будет иметь никакой причины удивляться моему присутствию и гневаться за симпатию, которой вы меня удостоите, я же не буду страшиться, что в один прекрасный день, будучи в дурном расположении духа, он бросит меня мертвым к вашим ногам под тем предлогом, что тогда как ваш господин и повелитель говорил вам о серьезных делах, вы были заняты презренной игрошкой».

Мессалина выслушала до конца басню Мнестера, и, когда замолчал он, проговорила:

— Ты не глуп, но уж слишком осторожен. Сотни других на твоём месте, чтобы насладиться ласками львицы, пренебрегали бы когтями льва. Но пусть будет по-твоему, трусишка! Мы сделаем так, чтобы прибавить тебе храбрости.

Мнестер оставил Мессалину, когда к ней явился Нарцисс. В двух словах она объяснила ему сущность приключения, и они оба посмеялись, что какой-то жалкий мим предлагает свои условия императрице, чтобы сделаться ее любовником. Случай действительно был очень странен. Но препятствия только раздражали желание Мессалины: она желала Мнестера, он ей был необходим.

— Вы будете иметь его, — весело сказал Нарцисс. — Я беру на себя поговорить со львом.

Он отправился к Клавдию и сказал ему:

— Императрица изволит гневаться.

— На что?

— Она предлагала Мнестеру, акробату, быть у нее в услужений и получила отказ.

— Ты шутишь?

— Нисколько. Он осмелился ответить, что предпочитает свободу чести принадлежать супруге императора.

— И она не приказала бичевать его до тех пор, пока куска кожи не осталось бы на его костях? Клянусь Юпитером, пусть приведут ко мне этого негодяя, и я сожгу его живого.

— Простите его, ваше величество. Императрица вовсе не желает так строго поступать с Мнестером. Этот шут слишком хорошо танцует, для того чтобы быть распятым или сожженным.

— Танцует-то он действительно недурно! Чего же желает императрица?

— Так как она не имеет столько власти, чтобы заставить себя послушаться, то она просит, чтобы вы сами дали приказание.

— Это справедливо, пошли ко мне Мнестера.

Мнестер явился очень бледный. Женщины изменчивы. Оскорбленная малой поспешностью в удовлетворении ее желания, Мессалина могла превратить любовь в ненависть.

— Так это ты, ползучий червяк, осмелился отказаться от службы императрице? — загремел Клавдий, идя к миму.

Последний распростерся.

— Помилуй, кесарь! — пробормотал он.

— Помилования! — повторил Клавдий, приставляя к горлу Мнестера острие маленького кинжала, с которым он никогда не расставался. — Ты заслуживаешь, чтоб я вонзил по самую рукоятку этот кинжал в твою голову!.. Но я слишком добр, и к тому же ты первый канатный плясун в Риме... Я тебя прощаю. Только, слышишь, ты отправишься сейчас же к императрице и скажешь, что ты принадлежишь ей с головы до ног.

Мнестер приподнялся.

— Я иду, — сказал он.

— В добрый час!

И таким-то образом канатный плясун по повелению императора сделался любовником императрицы.

Но несмотря, однако, на ее красоту, не страшась ее всемогущества, некоторые из

римлян отказывались, как от позора от счастья разделить ложе с женой императора Клавдия. И ярость, причиняемая этим презрением, породила в ней ту жажду крови, которую она не замедлила передать своему мужу. Она была только развратна, а теперь сделалась кровожадной.

Первые четыре или пять лет ее замужества за Клавдием были до некоторой степени прологом к постыдному существованию Мессалины. Если она уже является неистовой блудницей, то все еще скрывается в тени, отдаваясь вышедшему из границ сладострастию. Но пролог, в котором было несколько комических сцен, окончился, и начинается драма, которую не осмелятся сыграть ни на одном театре. Пресытившись тем, что заставляла краснеть людей, эта женщина, которую звали Мессалиной, решила заставить краснеть самих богов. Она даже не женщина, она менада, которую не насыщало даже злоупотребление восторгами. Первым из тех людей, которые предпочли смерть необходимости сказать распутной женщине: «Я люблю тебя!» — был сенатор по имени Аппий Силаний, второй муж матери императрицы.

Он женился на Лепиде против своего желания, по воле императора Клавдия, который хотел ввести Аппия в свое семейство в вознаграждение за те услуги, которые последний оказал государству.

Мессалина с тайной радостью следила за спором по поводу этого брака. Ей было смешно видеть мужчину, вынужденного отдать свою руку запятнанной женщине. А когда Аппий подчинился, ей было мало, что он выказал себя слабым, — ей было нужно, чтобы он выказал себя подлым.

Особенность дурных натур заключается в том, что они стараются унижить до своего уровня всех их окружающих.

Прошел только месяц с тех пор, как Аппий стал мужем Лепиды, и вот однажды вечером под предлогом желания поговорить об очень интересном предмете Мессалина пригласила во дворец своего отчима. Аппий явился. Императрица лежала. Он извинился и хотел уйти.

— Зачем? — проговорила Мессалина. — Вы боитесь меня?

Стоя посередине спальни со сложенными на груди руками, Аппий проговорил с важностью:

— Я ожидаю приказаний вашего величества.

Ее величество закусила губы.

— О! О! — улыбнулась она. — Такой тон и такая сдержанность, мой милый Аппий, были бы уместны, если бы вы находились в присутствии отвратительной старухи.

— Я жду приказаний вашего величества, — тем же ледяным тоном проговорил сенатор.

Мессалина вздрогнула.

— Мне угодно, — сказала она сдавленным голосом, — спросить вас, Аппий, что если бы я была вдовою вместо матери и сказала бы, что люблю вас, на ком бы вы скорее женились: на мне или на ней?

Аппий посмотрел на нее, как будто с трудом веря, что эти слова были действительно произнесены ею. Но она улыбалась с насмешкой и угрозой.

Он не мог более сомневаться, что от ответа зависела его участь, однако он не колебался. Накинув свою белую тогу, вышитую пурпуром, он сделал несколько шагов к порогу спальни и громко крикнул:

— Раб! Скорей ищите доктора! Ее величество страдает припадком безумия.

Через два дня Аппий был приговорен к смерти.

Что за причины заставили Мессалину желать смерти Аппия, который был уже немолод, когда женился на Лепиде, а следовательно, мог надеяться, что будет избавлен от преследований своей кровожадно-страстной падчерицы.

Но Мессалина обладала гением зла; ее прельщало только то, что выходило из ряда обыкновенных вещей по своему безобразию!

Кроме того, Лепиде не нравился ее второй муж. Однажды она пожаловалась своей дочери на холодность Аппия.

— Он надоедает тебе, — отвечала Мессалина, — успокойся, мы от него избавимся.

От него действительно избавились.

Другой сенатор, Вициний, подобно Аппию, заплатил жизнью за свой отказ на предложение Мессалины. Но он умер иначе. Нужно же разнообразить свои удовольствия!

В одном из предместий Рима жила женщина по имени Локуста, занимавшаяся приготовлением ядов. Она несколько раз была приговариваема к смерти за свои преступления, но каждый раз невидимая рука спасала ее от наказания. К этой-то Локусте обратилась Мессалина, чтобы отомстить Вицинию, и молодой сенатор упал во время обеда, как пораженный громом, попробовав блюдо из шампиньонов. Позже от яда той же самой Локусты, налитого Нероном, погиб сын Мессалины и Клавдия Британик.

Если постыдная страсть Мессалины делала ее смертельным врагом человека, то страсть к золоту побуждала ее к убийству. Так погиб консул Валерий Азиатик за то, что обладал великолепными садами, окружавшими его дворец, в которых впервые были возвращены вишневые деревья.

Два знатных римских всадника, родственники Азиатика, были приговорены Клавдием к смерти в цирке в бою с гладиаторами.

Совершенно покорный прихотям своей жены и отпущенников, Клавдий мало-помалу привык назначать смертную казнь так же спокойно, как будто дело шло о пире. Видеть страдания стало для него наслаждением. Он присутствовал на всех казнях отцеубийц; однажды, когда он обещал присутствовать в Тибуре при пытке по древнему обычаю врага государства, палач не явился, и любезный император прождал до самого вечера другого палача, которого он повелел привезти из Рима.

Но бои гладиаторов более всего восхищали Клавдия. Когда один из них падал, пораженный насмерть, Клавдий наслаждался, видя его корчи, и приказывал доканчивать тех, которые упали даже случайно, чтоб созерцать их искаженные страданием лица.

При особо торжественных случаях Мессалина и Нарцисс изобретали для народа какой-нибудь остроумный сюрприз.

Пойдемте, читатель, в один из таких дней в амфитеатр Августа.

С восходом солнца герольды расклеивали афиши на всех храмах и портиках Рима, объявляя, что в четвертом часу, соответствующем нашему десятому, в означенном амфитеатре будет публичное зрелище.

Еще не было и трех часов, когда народ входил в цирк по тридцати лестницам на верхний ярус, где только и было дозволено ему сидеть. Через час в среднем ярусе поместились всадники, под ними сенаторы, все в сопровождении своих жен и детей; потом над императорской ставкой, пока еще пустой, в уровень с сенаторскими местами, в ложе, охраняемой четырьмя ликторами, вооруженными розгами, явились пять закутанных женщин, вид которых произвел на некоторое время почтительное молчание. То были весталки с великой жрицей во главе.

Наконец явился император вместе с императрицей. Они были встречены восторженным криком толпы, повторявшимся три раза: «Да хранят вас боги!»

Не станем подробно описывать всех актов зрелища и займемся описанием сюрприза, приготовленного Мессалиной и Нарциссом для Клавдия и народа.

Представление началось охотой за оленями, затем происходила конная битва, потом борьба ста человек с несколькими львами, тиграми, медведями и т. п. Зрелище было великолепное. Но герольд в самом начале объявил, что оно окончится битвой братьев Петра, всадников, с гладиаторами.

Римляне с особым нетерпением ожидали этой битвы. Нетерпение их еще больше подогревалось при виде огромной эстрады, сооруженной на камнях посреди арены и огороженной мощными кольями, соединенными между собой цепями, как бы для того, чтобы не дать прорваться туда ни людям, ни зверям.

— Гладиаторы будут сражаться на этой эстраде? — спросил Клавдий у Мессалины и Нарцисса.

— Да.

— Но как они взойдут? Я не вижу лестницы.

— Только бы взошли, а то о чем еще беспокоиться вашему величеству!

— В полу, быть может, есть лестница?

— Может быть.

— Они спрятаны под полом?

— Мы не говорим, что нет.

В назначенную минуту, как в наших волшебных пьесах дьяволы, на сцене появились двести гладиаторов и среди них оба всадника; каждый одет в приличествующий случаю костюм — в тунику без рукавов, стянутую поясом, с головой, покрытой шлемом, с мечом в правой руке, на которую надета железная перчатка.

Один из них, Друз Петра, младший из братьев, обращаясь к императорской ставке, провозгласил от лица всех:

— Кесарь, идущие на смерть тебя приветствуют!

Кесарь поклонился. Битва началась.

Жестокая битва! Без жалости и пощады. А между тем эти люди не испытывали никакой ненависти друг к другу. Они убивали по высочайшему повелению. Вместо справедливого гнева в них возгоралось самолюбие, оно двигало ими, заставляя защищаться и убивать как можно больше врагов.

Битва продолжалась уже около получаса: треть сражавшихся валялась на полу, истекая кровью.

Император веселился.

Однако что-то отравляло ему настроение. Роза имела шипы. До этой минуты братья Петра, помогая друг другу с невероятной ловкостью, оставались живы и здоровы.

— Ах! Неужели не убьют их! — ворчал он.

Как будто в ответ на великодушное желание повелителя братья убили еще двух противников.

— Это постыдно! — вскричал император. — Гладиаторы — люди, обязанность которых состоит в том, чтобы убивать, позволяют побеждать себя простым любителям.

— Вы хотите, чтобы они тотчас же умерли? — спросила Мессалина, наклоняясь к своему супругу.

— Да, да! — ответил он, не подумав, иначе он признал бы невозможным исполнение своего желания. Всадники должны были пасть, но только тогда, когда утомились бы битвой.

— Приказание вашего величества будет исполнено, — сказала Мессалина.

В левой руке у нее был красный шелковый платок. Три раза она махнула этим платком. То был сигнал начальнику цирка.

Раздался свисток, и опять-таки, словно по волшебству, в одну минуту пол, на котором сражались гладиаторы, раскрылся, и живые и мертвые, победители и побежденные провалились в бездну, из которой, как из кратера, вылетало пламя и дым.

Крик восторга двадцати тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, приветствовал это столь же неожиданное, сколь и быстрое исчезновение.

Народ был достоин своих чудовищ-правителей!

— Ну что же, — сказали Мессалина и Нарцисс Клавдию, который от изумления сидел с раскрытым ртом и блуждающими глазами, — довольны вы теперь? Хорошо это?

— Очень хорошо, — ответил император. — Но, — прибавил он со вздохом, — очень скоро кончилось!

Из кожи несчастных, отданных по повелению императора палачам и диким зверям, Мессалина сделала носилки.

Ее расточительность не знала границ. В ее апартаментах попирали ногами пурпур. Она ела только на золоте, оставляя серебро Клавдию. В ее спальне на бронзовом треножнике постоянно курились самые драгоценные ароматные смолы, за громадные деньги доставляемые из Аравии и Абиссинии.

В этой комнате, в обществе самых красивых женщин и юношей Рима, по крайней мере раз в неделю происходили празднества в честь Венеры.

Нетрудно догадаться, что происходило на этих ночных оргиях: они скандализировали всю империю. Но Мессалина мало заботилась об общественном мнении, и еще менее об оппозиции, встречаемой ею со стороны тех, которых она призывала на эти празднества.

Кто бы она ни была: мать ли самого честного семейства, невинная ли девушка, женщина ли, девственница, — она должна была повиноваться приказанию присутствовать во дворце Августы на ночной оргии.

На одной из площадей Рима возвышалась колонна, называемая Лакторией, у подножия которой оставляли найденышей.

Однажды Мессалине пришла фантазия отправиться к этой колонне. Когда она сходила с носилок, то заметила молодую женщину, выразительная и приятная физиономия которой поразила ее. На руках у этой женщины был ребенок, которого она подняла с каменных ступеней статуи. Ее сопровождал молодой человек с мужественными и суровыми чертами.

— Кто ты? — спросила Мессалина, касаясь одним из своих больших ногтей, которые она отпускала по обычаю знатных римских женщин, руки молодой женщины.

Ей отвечал провожатый.

— Меня зовут Андроником, — сказал он. — Та, с которой ты говоришь, Августа-Сильвула, моя жена.

— Разве у вас нет детей, что вы отыскиваете их здесь?

— У нас есть один ребенок, — возразила Сильвула, — но в его колыбели есть пустое место, и Бог повелел заботиться счастливым матерям о тех, которые плачут.

Мессалина молчала несколько минут, бросая злобный взгляд на молодую чету, и потом проговорила:

— Ну, Андроник и Сильвула, вы мне нравитесь. Сегодня вечером вы оба явитесь в мой дворец на праздник Венеры.

Андроник и Сильвула отрицательно покачали головой.

Мессалина нахмурила брови.

— Что это значит? — заметила он. — Вы отказываетесь?

— Есть один только Бог, — сказал Андроник, — и этот Бог не позволяет распутства...

— А-а! — воскликнула императрица. — Так вы — иудеи? — и, обратившись к двум сопровождавшим ее ликторам, прибавила: — Рефус и Галл, приказываю вам привести ко мне завтра этого мужчину и эту женщину.

Андроник и Сильвула обменялись горестными взглядами, и, вскинув голову, Андроник сказал:

— Не тревожь своих служителей, августейшая. Ты требуешь — мы явимся во дворец.

И на другой день действительно Андроник и Сильвула явились к Мессалине в тот час, когда начиналось празднование в честь Венеры.

Но когда, после их приветствий императрице, их приготовились увенчать розами и подали им чашу с питьем, которое предназначалось для возлияния богам, Андроник, оттолкнув чаши и венки, громко воскликнул:

— Есть один только Бог! И этот Бог велит его послушникам лучше умереть, чем оскорбить его!

Христианин еще не закончил этих слов и, прежде чем кто-либо мог воспрепятствовать его замыслу, поразил кинжалом свою жену в грудь и упал с нею рядом, пронзив себя тем же оружием.

Мессалина пожала плечами и толкнула ногой еще трепещущие трупы.

— Уберите эту падаль! — крикнула она своим слугам.

На луперкалиях, празднествах, установленных Ромулом и Ремом, в память о том, что они были вскормлены волчицей, царило самое бесстыдное распутство. И Мессалина была первой женщиной в Риме из столь высокого класса, которая опустилась ниже самой последней своим бесстыдством.

На луперкалиях в течение многих часов, как только дневной свет уступал место светильникам, можно было видеть полуобнаженную Мессалину с распущенными волосами, с лицом, раздумавшимся от вина, бегающую вокруг смоковницы, под которой, по преданию, Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы.

На сатурналиях Мессалина также подавала народу пример самого безобразного разврата.

С известной точки зрения это имело свое оправдание. Паганизм, почти исключительно состоявший из чувственных элементов, узаконивал злоупотребление всеми наслаждениями, всеми страстями, всеми пороками, как будто надеясь посредством этого с успехом бороться с новой религией...

Отдаваясь со всею пылкостью своей крови и нервов нечистым безумствам луперкалий и сатурналий, Мессалина повиновалась богам... она не была преступна...

Но от чего с ужасом отвращается ум, что подымает в душе омерзение, что поражает глаза, так это то, что эта презренная женщина, — жена кесаря, — не довольствуясь более принимающими поцелуи любовниками, преследует тех, которым их продают...

Ювенал в одной из своих кровавых сатир вывел Мессалину, предпочитающую нары царственному ложу; он показал нам эту царственную куртизанку закутывающейся в одежду

темного цвета, скрывающей под черным париком свои белокурые волосы и спешащей в сопровождении наперсницы в один из тех подлых домов Субурского квартала, где ожидала ее пустая каморка, над дверью которой было написано имя Лизиски, под которым она проститутничала, и обозначена цена ее ласк.

Ювенал также передал нам, как усталая, но не пресыщенная Лизиска в час утреннего рассвета, с пожелтевшими щеками, еще пропитанная вонью ламп, «возвращалась к изголовью императора, принося с собой смрад своего чулана».

Опустим же занавес на этом отвратительном периоде из истории Мессалины. Что может быть любопытнее и ужаснее этого очерка страшного падения? Ее смерть? Да, смерть и предшествовавшие ей факты. И расскажем, как умирала волчица...

Мессалине самой хотелось управлять в цирке колесницей, запряженной четверкой лошадей, привезенных из Македонии.

Она была очень искусна в управлении своими конями. Однако однажды одна из лошадей споткнулась и увлекла других в своем падении. Мессалина так сильно была сброшена на землю из колесницы, что потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, первая фигура, привлекающая ее внимание среди окружавших ее, была фигура консула Каийя Силлия.

Каий Силлий почитался во всей империи за прекраснейшего римлянина; можно бы предположить, судя по характеру Мессалины, что он был одним из ее любовников. Но это было бы ошибкой. Мессалина ни разу за всю жизнь не сказала ему ни слова; Силлий, находясь с нею вместе, казалось, не замечал ее существования.

Это была глухая борьба равнодушия между этими людьми. Это был с каждой из сторон расчет. Ни один не хотел сделать первого шага, дабы стать господином другого.

Стоит ли удивляться после этого, что, увидев Силлия в числе лиц, заинтересовавшихся происшествием с нею, Мессалина еще больше поразилась, узнав, что он первым бросился к ней на арену и на руках перенес ее в императорскую ложу.

Лед был разрушен: Силлий сделал первый шаг, она... второй...

Через несколько минут, удалив всех, кроме него, она быстро спросила:

— Так ты меня любишь?

— Люблю, — отвечал он.

Черты Мессалины осветились радостью. Она торжествовала.

Но эта радость была непродолжительна.

— Да, — повторил Силлий, — я люблю тебя, но я боюсь, чтобы эта любовь не значила того же, как если б я не любил.

— Почему? — возразила императрица. — Разве тебе кажется, что я нахожу неприятным сделаться твоей любовницей?

— Нет... но мне невыносимо быть твоим любовником!.. Мне!..

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать... Я очень требователен, без сомнения, но я уж таков и потому так долго я избегал тебя!.. Я хочу сказать, что мне нужно все или ничего... Все или ничего, слышишь?.. Мессалине-императрице я отдам душу... Жене Клавдия — ни волоса!..

Императрица улыбнулась.

— Ты ревнив? — заметила она.

Силлий взглянул на нее презрительно-надменным взглядом.

— Ревнив? Полно! — отвечал он. — Ревнуют к мужчине, а Клавдий не мужчина, не

человек, он — скот... Нет, я не ревную к Клавдию, он мне не нравится — вот и все...

— А если я тебе сказала бы: «Я требую!..»

— Моей крови, как крови Аппия Вициния и многих других? Что ж... Я не дам тебе ни одного поцелуя...

— Но ты, который так громко говорит, ты также не свободен, как и я...

— Правда, но гарантируй мне будущее, и я без размышления пожертвую тебе настоящим.

— Однако Юния Силана, жена твоя, — прекрасна.

— Во всем мире для меня одна только женщина прекрасна: ты!

— Ты откажешься от Юнии, если я прикажу тебе?

— Завтра, сегодня же.

— А потом?

— Потом? Народ устал от ига Клавдия, пусть Мессалина, не заботясь о своем первом муже, завтра станет женой другого... женой настоящего мужчины... и завтра же народ, просвещенный этим смелым прозрением, столкнет сидящего на троне автомата.

— Чтобы возвести другого истинного мужчину... второго мужа императрицы?..

— Почему бы нет?..

Силлий так гордо произнес эти слова, что страсть, тем более пылкая, что она так долго сдерживалась императрицей, к прекраснейшему римлянину выразилась в лихорадочном восторге Мессалины.

— А! — вскричала она, сжимая ему со страстью руку. — Ты прав! В тебе римляне найдут, по крайней мере, императора. Ступай, скажи Юнии Силане, что она больше не жена тебе, и, клянусь богами, через неделю ты будешь моим мужем. Быть может, ты отвергнешь меня, когда падет Клавдий!.. Но какое мне дело! Раз в жизни я буду любима истинным мужчиной.

Из-за одной только гордости Силлий совершил безумный поступок, беспремерный в истории, ибо он не любил, он не мог любить Мессалину.

Несчастный! Он любил свою жену...

Между тем, следуя тем роковым путем, на котором, по замечательному выражению Тацита, «опасность была единственной защитой против опасности», в тот же день, вернувшись домой, Силлий объявил Юнии Силане, чтобы она немедленно отправилась к своим родным, потому что он разводится с нею.

Сначала она думала, что он шутит. Но, видя его, бледного, но твердого, слыша его глухой, но не дрожащий голос, повторявший обыкновенную в этом случае формулу: «Иди! Я тебя отпускаю!..», — Юния Силана, сдержав рыдания, рвавшиеся из ее груди, поклонилась и прошептала: «Боги да простят вам и да хранят вас, Каий Силлий!..» Она удалилась.

Со своей стороны, Мессалина не медлила и повсюду объявила, что выходит замуж за Силлия. В течение недели, протекшей со времени первого разговора, она отослала в дом своего нового супруга большую часть своих богатств, свою золотую посуду и своих невольников.

Было невозможно, чтобы происшествие, взволновавшее весь город, осталось тайной для Клавдия.

— Что это значит? — спросил он императрицу. — Меня уверяют, что вы намерены выйти замуж за Каийя Силлия?

У Мессалины был уже приготовлен ответ.

— Ваше величество не обманули, — ответила она. — Необходимо, чтобы при вашей жизни вся империя была уверена, что я поступаю так, как будто бы вы лежали в гробнице.

— А! А почему нужно, чтобы в этом были все уверены?

— Потому что мне открыто невидимым голосом, что предатели злоумышляют погубить вас. Они хотят похитить у вас власть. Но я бодрствую и, привлекая на себя и на одного из ваших врагов всю тяжесть общественного негодования, отвращаю опасность от вашей священной особы. Вот мой брачный контракт с Силлием... Подпишите его, дабы, когда настанет время сбросить притворство, я могла бы доказать, что действовала с вашего соизволения.

Клавдий подписал. Он подписал брачный контракт своей жены с Силлием. Подумайте: внутренний голос говорил об этом!.. Мессалина играла эту опасную комедию из повиновения богам, для того чтобы спасти Клавдия!.. При таких условиях слюнвявый идиот обеими руками подписал бы приказание о своей смерти, если бы ему это предложила Мессалина.

На другой день, пользуясь отсутствием императора, которого заботы о жертвоприношении призывали в Остию, за пять миль от Рима, Мессалина праздновала свою свадьбу со всеми обычными церемониями.

Вкусила ли она в объятиях прекраснейшего римлянина все то счастье, о котором мечтала?..

Желательно думать, что, по крайней мере, в эту первую брачную ночь коронованная куртизанка не покидала брачного ложа ради подражателя соловью.

Мессалина при совершении своего циничного преступления забыла только одно: если Клавдий был настолько глуп, чтобы простить ее, то близ него были и умные люди, которые могли не извинить ее.

К числу этих людей принадлежал Нарцисс, прежний любовник Мессалины. Пока Мессалина предавалась распутству и выставляла в смешном виде своего слишком добродушного супруга — Нарцисс улыбался, даже более, не раз официально помогал в прихотях своей любезной подруги.

Он по воле императора отдал в полное ее владение фигляра Мнестера, в которого та влюбилась. В другой раз он приказал начальнику ночной стражи, Децию Кальпурнию, совершенно закрыть глаза, если ночью случится встретить на улице некую Лизиску, имевшую некоторое сходство с императрицей.

Но вот — вместо того чтобы спокойно предаваться любовным утехам, Мессалина вмешивается в политику.

Нарцисса не обманули божественные голоса. У Силлия была своя цель, поэтому он и шел на риск.

И если случаем он выиграет партию, то кто гарантирует ему, Нарциссу, что умница Каий Силлий, став кесарем, будет для него тем же, чем был глупец Клавдий?

А кроме того, у Нарцисса была веская причина быть недовольным Мессалиной. Несколько месяцев тому назад она, хоть и имела основания жаловаться на одного отпущенника, грека Полибия, без совета с ним, Нарциссом, выпросила у императора его голову. Да пусть она умертвит двадцать сенаторов, сотню всадников — прекрасно! Но — отпущенника!.. Нарцисс был очень сердит на Мессалину.

Вот почему, рассмотрев с одним из своих друзей, таким же вольноотпущенником, как он, Калистом, обстоятельства дела, он принял решение: если ни советы, ни угрозы не

излечат Мессалину от безумной страсти, то он сделает все, чтобы осрамить, опозорить ее до конца... Дабы наверняка, одним ударом, поразить ее.

Каждый час к нему в Остию спешили шпионы с донесениями о делах в Риме. Он не помешал свадьбе.

Великодушный в ненависти, он не расстроил ни пира, ни брачной ночи...

А наутро начал свои враждебные действия.

Клавдий не делал ни шагу без толпы куртизанок. Среди этих гетер были две, которым он оказывал предпочтение; это были две великолепные женщины, привезенные торговцем невольниками из Александрии, которые, будучи проданы одному ловкому господину, стали источником его состояния. Во всякое время дня и ночи, в городе и за городом Кальпурния и Клеопатра имели свободный вход в покои Клавдия.

Кесарь опоражничивал стакан меда, когда прекрасные египтянки — по приказанию Нарцисса — явились в слезах к императору.

— Что это значит? — вскричал он, более беспокоясь о самом себе, чем о них. — Не горит ли дворец?..

— О, если бы только дворец! — возразила Кальпурния.

— Вашей империи, вашему величеству угрожает пожар!.. — добавила Клеопатра.

Клавдий решительно ничего не понимал. Утром храбрый император, вообще не обладавший ясным рассудком, с трудом отличал правую ногу от левой.

— Спокойней, спокойней! — сказал он. — Объяснитесь, мои деточки, без метафор.

Клеопатра и Кальпурния пали на колени.

— Раз ты, кесарь, — сказала Кальпурния, продолжая изображать отчаяние, смешанное с ужасом, — приказываешь, то узнай все! Презирая божеские и человеческие законы, императрица совершила одно из самых гнусных деда! Вчера она вышла замуж за одного из своих любовников.

— За консула Каийя Силлия, — добавила Клеопатра.

— Замуж? Моя жена?.. — воскликнул Клавдий и, припомнив недавнее происшествие, продолжал: — Ах да! Знаю! Третьего дня она мне говорила об этом! Но это брак фиктивный... Он поможет мне уничтожить замыслы моих врагов...

— Фиктивный брак? — сказала Клеопатра. — Мессалина обманула твое доверие, кесарь! Она в настоящий час уже обвенчана с Силлием.

— С Силлием, — подтвердила Кальпурния, — который осмеливается повсюду объявлять, что отнимет у тебя скипетр, как отнял жену... под самым носом...

Клавдий уже не смеялся.

В эту минуту вошел Нарцисс, взволнованный, с искаженным от злости лицом.

— Что ты мне скажешь? — вскричал Клавдий. — Мессалина!

— Мессалина более не принадлежит тебе, государь, — отвечал Нарцисс. — Она жена Каийя Силлия. Этот наглый, дерзкий соперник взял у тебя не только жену, но также твое имущество и невольников. Мое сердце обливается кровью. Советую тебе строгость, но говорю — прощение невозможно! Сенат, народ, армия видели свадьбу Силлия, и, если ты не поспешишь, муж Мессалины будет властителем Рима.

Клавдий побледнел.

— X-хо-зяин Рима!.. Си-силлий!.. — начал заикаться он. Клавдий особенно сильно заикался в приступах гнева.

— Да, — подтвердил Нарцисс, — и единственное средство спасения для вашего

величества — это избрать кого-нибудь из твоих слугителей, на верность которого ты полагаешься, и дать ему полномочия разъединить преступников и наказать их.

Клавдий бросился к отпущеннику и судорожно обнял его.

— Ступай же! — вскричал он. — Кто более тебя мне верен? Тебе я поручаю наказать их! Ступай!.. Почему ты уже не возвратился?!

Была осень, наступило время созревания и сбора винограда. Алчная до всех удовольствий, после любви Мессалина предалась вину. Ради торжества второго дня своего брака она устроила под видом сбора винограда праздник Бахуса в садах своего нового мужа.

Там собралось двести или триста женщин и мужчин — все едва-едва прикрытые конскими или пантеровыми шкурами, потрясая палками, обвитыми виноградными листьями, упившись вином, они плясали, прыгали, как демоны, вокруг чана, до краев наполненного пурпурными гроздьями, оглашая воздух неистовыми криками: «Ио! Ио! Вакх! Эван!»

Вдруг голос, как бы нисходивший с неба, раздался среди неистово пляшущей толпы...

Этот голос принадлежал доктору Вектию Валенсию, старому любовнику Мессалины, а те, кто не был ее любовниками, — теперь товарищи по оргии...

Ради того чтобы подышать свободнее, Валенсиий влез на вершину сикомора и оттуда закричал:

— Гей! Гей! Друзья, берегитесь!.. Я вижу — со стороны Остии приближается сильная гроза!..

Гроза, когда на небе не было ни облачка? Доктору отвечали криком, свистом. Мессалина бросила в него свой кубок. И снова все начали прыгать и скакать...

Но потому ли, что менее пьяный, чем его товарищи, Валенсиий предугадал кровавую развязку или же случайно пьяница сделался пророком, только не прошло и часа с того времени, как доктор со своей «обсерватории» произнес зловещее предсказание, а со всех концов уже начали появляться гонцы, извещающая Мессалину и Силлия, что Клавдий, узнав обо всем, идет мстить...

При этом громовом известии все друзья и собутыльники Мессалины и Силлия, отрезвев как по волшебству, исчезли.

Супруги остались одни.

Правда ли, что Клавдий, полоумный Клавдий, понял, что ему изменили и что он должен их наказать?..

— Он не осмелится! — прошептала Мессалина.

— Он не осмелится! — повторил Силлий.

Тем не менее из благоразумия они расстались. Силлий отправился на Форум, где, сохраняя спокойствие, занялся делами.

Мессалина удалилась в сады Лукулла к своим детям и матери.

Но вскоре новые гонцы объявили ей, что центурионы по приказанию императора арестовали повсюду всех тех, которые считались ее соучастниками, — всех, кто присутствовал на ее свадьбе с Силлием.

Даже Силлий был взят.

Мессалина заколебалась: она начала верить, что Клавдий осмелится. Что делать? Она приказала Британику и Октавию бежать и броситься в объятия отца. Она умолила Вибидию, самую старую из весталок, просить милосердия у римского верховного жреца.

Сама же Мессалина направилась в сопровождении одной только своей матери на дорогу

в Остию, и, так как ее слуги и невольники оставили ее, она, за несколько часов до этого обладавшая двадцатью колесницами, сочла себя очень счастливой, получив возможность сесть на грубую телегу, в которой вывозились из сада нечистоты.

В ту самую минуту, когда волчица, вместо того чтобы оскалить зубы, постыдно склонила голову, она сама себе вынесла приговор.

Не согнись она, и Нарцисс, быть может, еще не раз подумал бы, прежде чем нанести удар августейшей... Клавдий задрожал бы, услышав рычание той, которая была его сообщницей. Это рычание напомнило бы ему их общие преступления и общее сладострастие...

Но Мессалина плакала... Мессалина умоляла... Мессалина преклонила колена...

Убрали весталку Вибидию, которая с удвоенной силой говорила, что жена не может быть казнима без защиты. Британику и Октавию помешали приблизиться к отцу. Чтобы усилить ярость Клавдия, Нарцисс проводил его в дом Силлия, сверху донизу наполненный драгоценными предметами, похищенными преступной женой из дворца кесаря.

При виде этого император, сохранявший во время своего переезда из Остии в Рим гробовое молчание, заикаясь сильнее, чем когда-либо, приказал подать лошадь, чтобы отправиться в лагерь, где он возжелал сказать речь своим солдатам. И в то же время, обращаясь к Нарциссу, спросил:

— Умерла она?

Отпущенник сделал отрицательный жест.

— Чего ж ты ждешь? — быстро сказал Клавдий. — Не хочешь ли и ты изменить мне? Кто император, я или Силлий?

Нарцисс более не колебался, и когда Клавдий поскакал в лагерь, он приказал центурионам и трибунам стражи убить Мессалину, ибо таково было приказание кесаря.

Для большей уверенности он поручил отпущеннику Эводу наблюдать за быстрым исполнением приказа.

Мессалина вернулась в сады Лукулла. Лежа на меху, положив голову на грудь матери, она предавалась бесполезному плачу. Лепида понимала все очень хорошо; более мужественная, чем ее дочь, в эту роковую минуту, она предлагала ей не ждать убийственного железа, а самой покончить с жизнью.

Опередив трибунов и центурионов, Эвод подошел к императрице...

— Лизиска, женщина Субура, — воскликнул он, бросая ей кинжал, — покажи нам, так ли ты умеешь умереть, как умела любить!..

Лепида поднялась при этих словах бывшего невольника.

Мессалина только зарыдала сильнее...

— Дочь моя, я же тебе говорила, — произнесла Лепида, — и ты должна бы меня послушаться, а не выслушивать клевету этого подлеца.

Проговорив эти слова, Лепида схватила за ногу Эвода.

Отпущенник бросился на женщин.

Но трибун, явившийся с центурионами, оттолкнул его, сказав:

— Не ты, а я и мои солдаты должны свершить правосудие кесаря. Оставь нас исполнить нашу обязанность.

Между тем Мессалина, обезображенная страданием, с ужасом смотрела на поданный ей матерью кинжал. Нужно было умереть. Умереть — увы! — в то время, когда так хорошо жить! Трепещущей рукой она приставляла лезвие то к горлу, то к груди. Но у нее не хватало

силы.

Трибун почувствовал жалость к этой мучающейся женщине и мечом поразил несчастную Мессалину, которая тотчас испустила дух.

Это было в 801 году от построения Рима, в 48 году от Рождества Христова. В тот же день погибло сто друзей Мессалины. Погибли Каий Силлий, ее второй муж, римские всадники, друзья Силлия, один сенатор, Сульпиций Руф, префект ночной стражи — Деций Калпурний. Это была настоящая бойня. Не забыли даже Мнестера, которому не простили его прошлого. Мессалина сошла в ад в многочисленном обществе... Клавдий сидел за столом, когда начальник стражи, Гета, явился донести, что правосудие свершилось.

— Имею честь уведомить ваше величество, — начал он, — что ее величество императрица...

— Ах да! — прервал его Клавдий. — Где же она? Почему она не идет обедать?

— Но, — возразил изумленный Гета, — потому что она умерла.

— Умерла!

Император с минуту размышлял, потом без всякого сожаления сказал:

— А, она умерла!.. Налей-ка мне вина!..

Хотя Клавдий имел тысячу причин, чтобы не вступать в новый брак после смерти Мессалины, однако он женился в четвертый раз на племяннице своей Агриппине, тоже вдове после Домиция Энбарба, имевшей сына Нерона.

Агриппина во всех отношениях стоила Мессалины...

Клавдий узнал это на своей шкуре. Полоумному кесарю пришла мысль заставить трепетать новую августейшую супругу. Однажды, во время оргии, он произнес, «что такая уж его судьба, чтобы переносить распутство своих жен и казнить их». Агриппина вовсе не желала быть казненной. И к тому же ей самой хотелось поцарствовать именем Нерона, который был еще ребенком и которого Клавдий назначил наследником престола вместо Британика.

Императрица отравила императора.

А так как яд, приготовленный Локустой, действовал медленно, то, страшась, чтобы Клавдий вследствие своей крепкой натуры не спасся от смерти, Агриппина послала за своим доктором Ксенофоном, который под видом обыкновенно принимаемого Клавдием рвотного ввел в его горло перо, намоченное в самом тонком яде...

Последними его словами, которые мы считаем себя не вправе перевести, были: «Voe me! Voe me! Puto, concasavi me!»

Так, до самой смерти Клавдий и Мессалина оказались достойными друг друга.

ФЕОДОРА

Феодора родилась в Константинополе в 427 году.

Константинополь — древняя Византия, основанный в 658 году до Рождества Христова мегарским царем Бизасом, был окрещен новым именем 11 мая 330 года христианской эры.

Константин перенес свою столицу из Рима в Византию по той причине, что первый он находил невыносимым из-за всеобщего растрления, которым было заражено все римское общество на закате своего существования.

Совершенно невероятно, но Константину достаточно было восьми месяцев, чтобы построить этот город. Правда, для золота все возможно, однако здания воздвигались как бы по волшебству. Для украшения Константинополя Константин не только похитил все драгоценности Греции и Азии, но даже из Рима захватил все сокровища.

И не удовлетворяясь тем, что ограбил свое родное гнездо, он еще и ослабил его, отняв у него легионы, охранявшие его границы, и разместил их по провинциям. Это произвело двойное зло: страна была отдана в жертву варварам, а солдаты, не бывая в сражениях, предались праздности и изнежились.

Но Константин Великий достиг своей цели. Италия погибла среди нищеты и безнадежности. Тем хуже! Как мог Рим позволить себе упрекать своего великого императора за то, что он велел умертвить своего сына Криспа из зависти к его достоинствам и свою жену Фавсту под ложным предлогом, что она присоветовала ему это убийство.

* * *

Когда Феодора, будущая императрица, родилась, Константинополь в царствование Анастасия, прозванного Разноглазым, потому что один глаз у него был черный, а другой — голубой, находился во всем блеске своего великолепия, — великолепия ненавистного, ибо оно было создано деспотизмом! Наследники Константина тоже были тиранами; новый Рим был только тенью древнего. В том были граждане, здесь — рабы.

Но рабы эти наслаждались. Что значило для них склонять голову перед падшими существами, носящими название людей и ставшими, благодаря бесчестью временщиков, самыми богатыми и могущественными личностями в империи. Национальная гордость, любовь к отечеству были пустыми словами для этого выродившегося народа. Знаете ли, кто значил в Византии более самого императора? Возницы ипподрома и куртизанки!..

Ганна, мать Феодоры, была проституткой самого низкого пошиба, отец ее, Аккаций, кормил зверей в Прапиниенском амфитеатре.

Феодора была третьей дочерью этой странной четы. Она еще едва лепетала, когда уже обе ее сестры, Анастасия и Комптона, служили на театре — на театре, куда отправлялись распутники делать выбор и где им никогда не было отказа. Естественно, что Феодора назначалась для тех же занятий, в которых упражнялись ее мать и сестры; как только она достигла зрелости, ее завербовали в разряд голоножек, — так назывались проститутки, которые не занимались танцами и игрой на флейте, а обольщали только своими обнаженными прелестями.

Феодора была мила, хотя и очень мала ростом, у нее были ум и веселость, и она скоро

получила большой успех. Но годы сделали раздражительным характер Ганны, и часто, когда она считала вправе жаловаться на своих дочерей, не заботясь об их красоте, составлявшей все их достояние, жестоко их била.

После одного из приступов безрассудного гнева, жертвой которого стала Феодора, последняя с распухшими от слез глазами отправилась в театр и по дороге встретила скомороха, халкедонца Адриана. Это был высокий красивый мужчина с более мужественной и гордой осанкой, чем ему подобные. Он остановился перед молодой девушкой и сказал ей:

— Здравствуй, Феодора. Ты плакала? Кто же причина твоих слез? Скажи мне, я отомщу за них.

Феодора склонила голову.

— Меня избила матушка, — ответила она.

— А! — воскликнул Адриан. — По правде говоря, мать твоя зла. Но ты так мила, как у нее хватает духу бить тебя? Если бы я был на ее месте, я касался бы твоего прекрасного тела только устами.

Феодора улыбнулась:

— Но ты не на ее месте.

Промолвив это, она хотела продолжать свой путь.

Удерживая ее за рукав туники, Адриан заговорил вполголоса, как будто страхась, чтобы его слова не донеслись до слуха прохожих:

— Феодора, ты несчастна у своей матери... И притом, разве твое ремесло не отвратительно для тебя? Хочешь, чтобы тебе не приходилось больше плакать? Я живу близ ворот св. Римлянина, вместе со старой родственницей, в небольшом домике, скрывающемся под сенью деревьев. Скажи мне слово, и ты будешь хозяйкой в этом доме. Моя тетка, Флавия, будет твоей служанкой, я — твоим рабом.

Феодора с удивлением смотрела на Адриана.

— Ты любишь меня? — спросила она.

— Больше жизни!..

Она задумалась. Из куртизанки, то есть любовницы всех, сделаться любовницей одного и к тому же фигляра? Разве это не значило пасть?

Но этот фигляр был красив и молод. Вдобавок в его голосе слышалась такая нежность! В первый раз Феодора почувствовала, что у нее есть сердце.

— Что же? — прошептал Адриан.

— Я согласна, — ответила она. — Сегодня вечером вместо того, чтобы идти к матери, я приду к тебе. Но как я найду твое жилище?

— Я провожу тебя. На заходе солнца я буду ждать тебя в садах, близ терм Зевксиппа.

— И ты обещаешь так скрыть меня, что никто не найдет? О! Матушка убьет меня в наказание за мое бегство. Отец посмеется над этим: он занят одними только медведями...

— Клянусь, никто тебя не найдет! Воробей предлагает тебе свое гнездо. Кому придет на ум, что это гнездо служит убежищем голубя?..

Позже Феодора говорила своей приятельнице Антонине, жене Велисария, что первые три месяца, проведенные ею в гнезде воробья, показались ей тремя днями. Как бы низко ни пала женщина, любовь всегда может возродить ее к новой жизни. Притом же, так как ее падение было не ее ошибкой, а зависело от воли семьи, и особенно от нравов общества, Феодоре было легче искупить свое прошлое. Едва только было ей сказано: «Ты должна продавать свои поцелуи, чтобы жить», — и она повиновалась. И как могло быть иначе? Она

не понимала всей презренности того ремесла, к которому ее приговаривали. Но вот вместо слов: «Будь моей, я покупаю тебя!» — она слышит: «Будь моей, я люблю тебя!» Вознаграждая ее за веру в любовь, небо послало ей истинную любовь...

Это было справедливо!

Феодора была счастлива, когда три месяца скрывалась в объятиях своего любовника в маленьком домике у ворот св. Римлянина. Адриан удалялся только тогда, когда этого требовали его обязанности, все остальное время он посвящал своей возлюбленной, стараясь обогатить ее ум теми познаниями, которыми обладал он сам. Ибо опять-таки Адриан не был обыкновенным фигляром, шутком, паяцем: он получил образование и даже писал небольшие пьесы для театра.

Он выучил Феодору читать и писать. Это принесло ей пользу, когда она сделалась императрицей.

Но как ни была она счастлива, она очень подурнела. День ото дня розы на щеках ее бледнели, день ото дня лицо ее делалось худощавее, тогда как по странному контрасту талия ее делалась полнее.

В начале четвертого месяца своего пребывания у Адриана, однажды утром, оставшись одна с Флавией, она с беспокойством рассматривала в зеркале изменение своих черт и необычайное развитие форм; вдруг Феодора услышала взрыв хохота и была удивлена.

Она обернулась.

— Чему смеетесь вы? — спросила она Флавию.

— Тому, что ты ошибаешься в причине совершенно естественной вещи.

— Совершенно естественной?..

— Без сомнения. Полноте, не беспокойтесь, моя душенька! Ваша свежесть возвратится, ваша талия снова станет тонкой и грациозной. Надо только потерпеть месяцев шесть или семь.

— Шесть или семь месяцев, это почему?

— Вы не понимаете? Как?.. Вы не...

— Понимаю! — в свою очередь возразила Феодора, да так сухо, что вся веселость старушки сразу пропала.

Да, она поняла, так хорошо поняла, что осталась неподвижной, со сжатыми губами, с устремленным куда-то взглядом. То, что составляет радость супруги, для куртизанки порождает ужас, а куртизанка вдруг проснулась в Феодоре. Она была беременна, беременна!.. Если уже зарождение ребенка так повредило ее красоте, то что станет с ней, когда она будет еще носить этого ребенка шесть или семь месяцев? Что станет с ней, когда она произведет его на свет? Что бы ни говорила Флавия, у Феодоры на этот счет было свое убеждение, основанное если и не на своем опыте, то, по крайней мере, добытое ею от своих подруг по театру: «Быть матерью всегда чего-нибудь да стоит».

Вошел Адриан.

— Что с тобой? — спросил он при виде бледной и мрачной Феодоры.

Она вздрогнула, увидев своего любовника, и сдержала себя.

— Будешь ли ты любить своего сына или дочь, Адриан?.. — спросила она.

У него вырвался крик счастья.

— Возможно ли! — воскликнул он. — Ты спрашиваешь меня, буду ли я любить моего... нашего ребенка?.. Столько же, как тебя... Ты сомневаешься?

— Нет! — ответила она.

Если несчастная желала бы сомневаться, она потребовала бы от него величайшего преступления: избавить ее от материнской ноши.

На щеке ее повисла слеза ярости, стертая Адрианом как слеза радости поцелуем. Бедный Адриан! Тогда как его страсть усиливалась от того, что питалась новой связью с его возлюбленной, она, напротив, содрогалась от этого и чувствовала, что любовь к нему превращалась в глухое отвращение.

Любовь перерождает самых испорченных женщин, но это нравственное перерождение длится только до тех пор, пока эта женщина расположена к нему своими инстинктами. Возвратите к жизни голодную, больную собаку — она за ваши заботы отдаст вам всю свою привязанность, но при тех же условиях волк, как бы вы за ним ни ухаживали, убежит в лес, и вы будете еще счастливы, если, покидая вас, он не познакомит вас со своими зубами. Есть много женщин-волчиц; Феодора была одной из этих женщин. Однако во время беременности она не выражала своих новых чувств.

Она по-прежнему была любезна с Адрианом, улыбалась, когда он говорил об их ребенке, когда он с любовью шутил над увеличивающейся полнотой ее талии.

— Тебе это очень идет! — говорил он.

— Ты находишь? — возражала она.

Адриан не был наблюдателен, иначе он ужаснулся бы тому яростному взгляду, которым сопровождалась ласковые слова его любовницы.

За несколько дней до родов Феодора узнала от тетки Адриана, что ее мать, Ганна, умерла. Флавия считала себя обязанной передать эту новость молодой девушке.

Жнут то, что посеют.

Конец беременности наступил в апрельские календы, а 15-го числа месяца 515 года она родила сына. Опытная бабка, старая Флавия, присутствовала при родах, она первая взяла на руки маленького Иоанна...

Для кормления ребенка была заранее куплена коза.

У Флавии было как будто какое-то предчувствие, когда она подала Феодоре ее сына. Обыкновенно в подобном случае взгляд матери освещается бесконечной радостью. Взгляд Феодоры выражал только ужас, почти отвращение...

— Вы не поцелуете его? — прошептала старушка.

— После, после! — нетерпеливо отвечала роженица.

— Оставьте, тетушка, — сказал Адриан. — Наша Феодора, быть может, страдает... Не беспокойте ее.

И он поцеловал своего сына за двоих.

Через две недели совершенно поправившаяся после родов Феодора, сидя за своим туалетом, с восторгом убедилась, что старая Флавия не обманула ее обещанием совершенного восстановления красоты.

Да, она была прекрасна, прекраснее, чем прежде. Ее прелести не только не пострадали, а, напротив, выиграли в своем развитии. Кожа ее прибавила блеска, формы, не утратив нежности, стали полнее...

Окно комнаты, в которой она одевалась, выходило в сад. Там, на зеленой лужайке, ребенок под надзором Флавии пил жизнь из сосцов своей рогатой кормилицы.

Адриан, сидя в некотором отдалении, с умилением смотрел на эту картину.

— Феодора! — весело вскричал он. — Феодора! Взгляни, он сердится!

В самом деле, явно недовольный тем, что коза позволила себе быстрым движением

прервать его завтрак, мальчуган своими крохотными ручонками бил козу: мы и родимся-то неблагодарными.

Феодора не пошевелинулась, в эту минуту она причесывалась. Ее черные волосы, восхитительно разделенные на пробор, возвышались и удерживались золотой шпилькой. Только окончив это занятие, и окончив тщательнее обыкновенного, она выглянула в окно, но лишь для того, чтобы знаком позвать своего любовника.

Он прибежал.

— Ты хочешь что-то сказать мне?

— Да.

— Что же?

— Я хочу сказать, что я ухожу.

— Как! Ты уходишь?

— Да, ухожу... Я оставляю тебя. Мне кажется, я выражаюсь понятно. Я не люблю тебя больше, Адриан, и оставляю.

Она подала ему руку, он не взял ее. Он был уничтожен, разбит!

И было отчего.

— Так будет! — продолжала она, сопровождая эти слова жестом, который выражал: «Я не задерживаю тебя».

И она прошла мимо.

Но Адриан, придя в себя, бросился между любовницей и дверью и вскричал:

— Это невозможно! Это сон! Ты покидаешь меня, Феодора? Ты меня больше не любишь, говорить ты? За что же ты разлюбила меня?

Она пожала плечами.

— Наконец, — продолжал он задыхающимся голосом, — должна же быть какая-нибудь причина разлуки. Что я тебе сделал?.. Несчастлива ты здесь? Не причинил ли я тебе невольно какой-нибудь печали? Ах! Я сошел с ума!.. Ты смеешься, Феодора?! Тебе покинуть меня?! Я не верю тебе!.. А наш ребенок?.. Ведь ты не рассчитываешь же, что я отдам тебе нашего ребенка?! Он так же принадлежит мне, как и тебе!..

— Он принадлежит одному вам!

— Что ты сказала?

— Я говорю, что отдаю вам нашего ребенка... Что вам еще от меня нужно?

Адриан стоял перед Феодорой с лицом, искаженным горем. При последних словах своей возлюбленной он отступил на шаг, в его глазах высохли слезы.

— А! — сказал он. — Вам не нужен наш ребенок?!

— Нет, — ответила она. — И вам следует сказать все, потому что вы не понимаете: этот ребенок и есть причина, почему я вас теперь ненавижу... он причина того, что я возненавидела вас с той самой минуты, как он зародился в моем чреве!.. Разве я создана для того, чтобы быть матерью? Когда вы говорили мне о любви, разве вы говорили мне о детях? Всякому свое назначение. Мое — нравиться.

— Да, — медленно подтвердил Адриан, — нравиться... и умереть в грязи...

Феодора подняла свое залившееся краской лицо.

— Ты посмел оскорбить меня, фигляр! — сказала она. — Но если я должна умереть в грязи, в чем я жила с тобой? Пусти!

— О! Я больше вас не удерживаю, — сказал Адриан.

Он отошел от двери.

Феодора твердым шагом прошла через сад и вышла, не кинув даже напоследок взгляда на своего ребенка.

Она прямо направилась к родительскому дому.

Но уже несколько месяцев Аккаций жил не на земле, а под землею. Один из его питомцев, белый медведь, привезенный недавно, умертвил его.

Смерть отца на пять минут огорчила Феодору. Правда, он ни разу не поцеловал ее, но зато ни разу ее не ударил.

Оставались сестры. Но Анастасия и Комитона не любили Феодору, которая была гораздо моложе и красивее их, они, по-видимому, не очень обрадовались ее появлению.

— Будьте спокойны! — сказала им Феодора, которая не обольщалась на этот счет. — Я рассчитываю остаться у вас недолго.

Случай исполнил ее надежду.

Когда три куртизанки, собравшись на галерее, толковали о смерти их отца, — надо же о чем-нибудь толковать! — некто Гецебол, правитель части Малой Азии, явился к ним. Готовясь оставить Константинополь, куда он поехал для отчета императору, Гецебол хотел выбрать себе по вкусу любовницу. Кажется, в его наместничестве этих вещей и так хватало, но накануне, в цирке, он заметил Анастасию и явился сделать ей предложение следовать за ним в Никею.

По всей вероятности, Анастасия охотно согласилась бы на пожелание Гецебола, если б он его выразил...

Но он не выразил его, и вот почему...

Когда, сопровождаемый целой толпой слуг и невольников, он проник в галерею, в которой блистали Анастасия, Комитона и Феодора, то, отыскивая глазами ту, которая вчера его пленила, довольно сильно стукнулся коленом об ящик, стоявший посредине комнаты, так что не поддержи его вовремя один из слуг, то, хоть он и был правителем четырех провинций, ему пришлось бы, как простому смертному, хлопнуться.

Вскрик испуга и взрыв смеха приветствовали этот странный вход. Вскрик испуга принадлежал Анастасии и Комитоне, смех Феодоре.

Несколько смущенный своим приключением, Гецебол тотчас же пришел в себя. Между тем он, как вельможа, был очень тщеславен. Смех женщины его оскорбил, и он, распушив хвост подобно индийскому петуху, направился к младшей дочери Ганны, к которой обратился так:

— Ты знаешь, кто я?

— Если б ты был сам император, — ответила Феодора, — все-таки ты расквасил бы себе нос, а я бы не меньше смеялась. Разве смех, по-твоему, — преступление?

Гецебол закусил губы. Сердиться ему или не сердиться? Эта куртизанка была очень дерзка, но в то же время — прелестна!.. Во сто раз прелестнее Анастасии.

— У тебя веселый характер, моя милая! Как тебя зовут?

— Феодора.

— Ну, Феодора, по моему мнению, — смех не преступление, напротив, я сам очень люблю веселых людей. Я их так сильно люблю, что, если ты согласна, я возьму тебя с собой в Фригию.

— Вы берете меня с собой? Но мне также необходимо, в свою очередь, узнать, кто ты, чтобы размыслить, ехать ли с тобой.

— Это справедливо. Меня зовут Гецебол. Я правитель Фригии, Битинии, Лидии и

Эонии. Я живу во дворце в Никее и имею другой.

— А я где буду жить?

— В моих дворцах, вместе со мной, моя милая!..

Феодора подумала с минуту. Гецебол был не молод и не красив, несмотря на свой парик с длинными темно-русыми локонами. Но он был правителем Фригии, Битинии, Лидии и Эонии. Он обладал дворцами. Кроме того, его предложение вызвало завистливую гримасу у Комитоны и Анастасии, главное — у Анастасии, которая видела, как ее добыча ускользнула у нее из рук.

И если для женщины приятно уязвить соперницу, то еще приятнее, когда эта соперница — сестра.

— Едем! — сказала Феодора.

— Едем! — повторил обрадованный Гецебол.

В тот же вечер новая возлюбленная пара, выехав из Босфора, направилась в Никомедийский залив; на другой день они сошли на берег в Битинии и, следуя по Римской дороге, достигли берегов Сангария, где позже император Юстиниан построил мост, бывший чудом века, — мост Софона.

Но Феодора не подозревала тогда, что она возвратится в эту страну вместе с императором, своим супругом. В этот час, рядом с любовником, в тележке, запряженной мулами и сопровождаемой солдатами и невольниками, побежденная жарой, она, подобно своему любовнику, засыпала. Она не спала, но была погружена в дремоту и с полузакрытыми глазами строила план поведения. Она согласилась быть любовницей Гецебола, но в глубине души радовалась ли она этому? Нет. Молодая и хорошенькая женщина никогда не радуется тому, что принадлежит старику.

Сквозь тень своих ресниц рассматривая морщинистое, дряблое лицо наместника, она невольно припоминала прекрасную голову Адриана. «Как, — говорила она самой себе, — я буду вынуждена выносить ласки этой старой обезьяны? Принуждена притворяться, что люблю его!.. Притворяться? Да. С виду я буду его любовницей, но на самом деле... Мы посмотрим».

Феодора достигла Никее не в очень благоприятном для Гецебола расположении духа. Тем не менее должно полагать, что из чистого расчета она нашла полезным отказаться от своей сосредоточенной суровости, и вскоре, ослепленный ее благодарной нежностью, старик облек свою любовницу безграничным могуществом. Она злоупотребляла им. Бросая золото горстями, она каждую неделю давала праздник или во дворце, или в театре. Каждый день она покупала новые наряды, ее ящики были наполнены материями из Персии и Китая, ее ларчики — драгоценными камнями, ее конюшни — породистыми лошадьми, ее портики — невольниками. Чтобы удовлетворить прихотям своей любовницы, Гецебол опустошил свои ларцы, затем ограбил жителей вверенных ему провинций, на которых наложил чрезвычайные налоги. Сначала начался ропот, потом раздались крики... Правитель мало заботился об этих криках, лишь бы платили... Но шум достиг Константинополя, император отправил в Никею консула Кефегия с поручением проучить Гецебола, а при случае и наказать.

Кефегий был добряк, имевший некоторую привязанность к Гецеболу, с которым он некогда победил болгар; он нашел его за столом с Феодорой...

— Кефегий! — вскричал Гецебол. — Какой ветер занес вас? Полагаю, вы не обедали? Рабы, скорее прибор его светлости...

— Извините, дорогой друг, — возразил Кефегий, — я с удовольствием сейчас пообедая с вами, но прежде я должен бы сказать вам наедине несколько слов.

— Наедине?..

— Да, по повелению его величества императора.

Гецебол побледнел.

— Феодора, мы сейчас к тебе придем, — сказал он.

И немедленно он увел Кефегия. Тот не замедлил с объяснением дела.

— Дорогой Гецебол, — начал он, — его величество не доволен вами.

— О!

— Позвольте! Между нами, его милость имеет серьезные причины быть недовольным.

Вы разоряете страну для увеселения женщины...

— Но...

— Но, опять-таки между нами, вам известно, мой уважаемый друг, что Анастасий, который сама доброта, когда ему подчиняются, становится свирепым, если заметит, что ему сопротивляются. Итак, я имею полномочия, выбирайте: или вы прогоните немедленно эту женщину...

— Прогнать Феодору?.. Никогда!..

— Позвольте мне продолжать, прошу вас. Или вы немедленно прогоните вашу любовницу... и ваши... глупости будут забыты... или приготовьтесь умереть...

— Умереть?

— Умереть сегодня же. Прочтите этот пергамент. В нем сказано: приказ повиноваться консулу Кефегию, как самому мне, подписал — Октавий, с приложением его печати. Полноте, Гецебол, вы не заставите старого товарища прибегнуть относительно вас к жестоким крайностям. И согласитесь, что простое подобие сопротивления было бы новым безумством с вашей стороны. Вы поймете, что я принял предосторожности. Я взял с собой несколько молодцев, которые перебьют ваших фригийских солдат, как мух... Извольте взглянуть!

Из открытого окна консул показал правителю сотню сагонтинских солдат, построенных как на битву перед его дворцом.

Внезапная борьба поднялась в душе Гецебола. Как, за свою безумную страсть к женщине он должен умереть? Но что особенного в этой женщине, чего бы не было в другой?.. Ничего!..

— Вы правы, Кефегий, — сказал он, — я был безумен... Но я излечился и докажу вам... Пойдемте!

И Гецебол вошел под руку со своим другом в залу, где Феодора, сидя на кресле из черного дерева, спокойно продолжала обедать.

— Презренная! — вскричал старик громовым голосом, протягивая руку к своей любовнице. — Презренная! Сию же минуту вон из этого дворца, в который ты никогда не должна бы входить! Я тебя прогоняю! Слышишь ли, прогоняю?! И чтобы завтра же тебя не было в этой стране, которую ты разорила своим недостойным мотовством. Это так же верно, как и то, что меня зовут Гецеболом и что я люблю и уважаю нашего великодушного императора, могущественного Анастасия, а тебя заставлю погибнуть под плетями.

Феодора встала, когда правитель обратился к ней с этой ругательной речью, но встала не спеша и без всякого смущения. Если бы не легкий румянец на щеках и почти незаметное дрожание губ, сказали бы, что это ругательство, такое грубое по форме, было принято ею за

любезность.

Так же хладнокровно она дошла до двери, которую отворил пред ней один из служителей, в последний раз служивший ей. На пороге этой двери, обернувшись, она окинула старика презрительным взглядом.

— Подлец! — сказала она.

Гецебол задрожал... Он хотел говорить... Его язык прилип к гортани...

— Оставьте, — сказал Кефегий, великодушно поспешив на помощь своему другу, — разве вы не знаете, что такое гнев женщины?!

— Подлец! — повторила Феодора.

И она вышла.

Вечером она покинула Nikeю.

То было справедливое возмездие! Феодора постыдно оставила молодого и прекрасного любовника, старый и гадкий любовник постыдно прогнал ее. Она не стоила того, чтобы жалеть ее.

Что стало с ней после того, как она оставила Фригию? Мы не могли это открыть, несмотря на все наши розыски. С 517 года — эпохи, когда она была любовницей Гецебола, до 525 — начала сношений с Юстинианом, — история молчит о Феодоре. В каких странах в течение девяти лет раскидывала она свой шатер куртизанки? Мы не знаем, но можем сказать, что она умела избирать себе жилища, ибо, когда в 525 году мы встречаем ее в Константинополе, на ипподроме Феодосии, она была вся в бриллиантах.

Прокопий, греческий историк, ее современник, рассказывает, что когда она появилась на ипподроме, вся толпа издала восторженный рев.

В 525 году на Востоке царствовал уже не Анастасий, он уже умер, ему наследовал Иустин Первый.

У Иустина был племянник Юстиниан, которого он любил как сына, которого он осыпал почестями и богатством, с которым советовался обо всем, что касалось управления государством, так что в последние годы его царствования не он, а его племянник был настоящим императором. Этот Юстиниан присутствовал на ристалище на ипподроме Феодосии в тот день, о котором мы говорим; как все прочие, и он видел Феодору, как все, и он нашел ее удивительно прекрасной.

Но как ни сильно было впечатление, произведенное на него куртизанкой, оно, без сомнения, вскоре исчезло бы, если б не одно необыкновенное и неожиданное происшествие... Прошло уже около получаса, как Феодора сидела против императорской ложи на первой скамье, первый забег уже кончился, не произведя большого интереса, готовился второй, заранее приветствуемый народом; на этот раз готовилась борьба между соперниками, одинаково искусными, одинаково известными: Красными и Белыми. На этот раз Феодора наклонилась со вниманием. Въехали восемь колесниц. Тридцать две лошади, пущенные своими возницами, еще возбужденные звуком труб и цимбал, подняли в воздух целую тучу песка, посыпанного голубой и пурпурной пудрой. В дни великих торжеств арена ипподрома румянилась, как кокетка.

Феодора встала, выпрямившись, как будто наэлектризованная зрелищем.

— За Красных! — вскричала она в ту минуту, когда восемь колесниц неслись мимо нее, и сняв со своей шеи роскошное рубиновое кольцо, бросила его на арену.

Красные выиграли. Красный возница первый достиг цели. Победитель возвратился к тому месту, на котором лежало кольцо, соскочил на землю, поднял драгоценность, поднес

сначала к своим губам, потом, поклонившись, с достоинством сказал:

— Благодарность красоте!

Раздался гром рукоплесканий в честь Феодоры и возницы.

Этим еще все не кончилось. Всегда, во всех странах, толпа склонна к преувеличению. Колье Феодоры стоило от двух до трех сотен золотых, здесь же, повсюду, особенно на ипподроме, повторяли, что оно стоит от пяти до шести тысяч. Королевский подарок!

Случайно или с намерением, но удар был нанесен.

— Лентилий, — сказал Юстиниан одному из своих товарищей, римскому всаднику, который исполнял при нем, вследствие тесной дружбы, обязанности любезного наперсника, — ты узнаешь, кто эта женщина, такая прекрасная, так великолепно бросающая бриллианты возницам.

Лентилий поклонился. Для него слушать — значило повиноваться. В тот же вечер он привел Феодору Юстиниану в императорский дворец.

Через шесть месяцев Юстиниан, чтобы жениться на Феодоре, просил своего дядю уничтожить древний закон, запрещавший сенатору жениться на актрисе или проститутке.

И так как сам он, император, был женат на наложнице — Евфемии-невольнице, — то, чтобы сделать приятное племяннику, Иустин одним росчерком пера уничтожил благородный и уважаемый закон.

Каким образом за шесть месяцев Феодора достигла того, что принудила Юстиниана не то что возвысить ее до себя, но унизиться до нее?

Открытие этой тайны для нас недоступно.

Однако, должно сказать, что не одним только поощрением его чувственности прежняя любовница Адриана достигла господства над Юстинианом. Он был слишком силен, чтобы подчиниться такому грубому влиянию. Влюбленная и прекрасная, и только прекрасная и влюбленная, Феодора никогда не сделалась бы его женой. Но она была умна, она умела читать в его душе и, прочитав, применила столько таланта, что стала его поверенной и советницей.

Нельзя вообразить, какое могущество заключается в двух существах разных полов, соединенных любовью и гордостью, Юстиниан мечтал о троне и лелеял надежду получить его после дяди; между тем народ и армия не скрывали своей симпатии к Виталию, внуку знаменитого полководца Аскара, самому бывшему знаменитым военачальником. Виталий был препятствием для Юстиниана, поэтому Юстиниан его ненавидел и не скрывал этого.

— Показывать своему врагу, что ненавидишь его, — ошибка! — говорила Феодора Юстиниану. — Громадная ошибка, предупреждающая о том, что надо остерегаться врага, ну, а если он настолько глуп, что не остережется, и с ним случайно произойдет несчастье, то общественное мнение обвинит вас. Позвольте ли вы мне, мой друг, восстановить приличный порядок вещей?

— Делайте! — ответил Юстиниан.

Этот разговор был немного ранее свадьбы Феодоры и Юстиниана. На другой день после бракосочетания на большой обед у императора был приглашен Виталий. Феодора употребила столько любезности, столько грации, что полководец был восхищен. Это было честное и правдивое сердце; жена ему улыбалась, сам муж, казалось, осознал несправедливость своей вражды. Через несколько дней он был принят Юстинианом, и в течение месяца трое новых друзей не расставались.

Но однажды вечером, после прогулки по морю, во время которой Феодора и Юстиниан

необыкновенно ласкали его, Виталий был изменнически поражен в спину убийцей, оставшимся неизвестным.

Какое несчастье! Этот добрый Виталий!.. Феодоре и Юстиниану не хватало слез, чтобы оплакать эту гибельную новость. Это были крокодиловы слезы, которыми народ не обмануть. Но Иустин признал обоих невиновными. Старый император слабел с каждым днем. В 526 году Антиохия была почти совершенно разрушена землетрясением. Иустин был так потрясен этим несчастьем, что надел вретиче и заперся на три месяца в своем дворце, чтобы рыдать и молиться.

На следующий год, в апрельские календы, с согласия сената, он сделал своего племянника кесарем и соправителем.

Четыре месяца спустя, в августовские календы 527 года, соправитель уже царствовал один. Иустин умер.

Прежде чем обратиться к частной жизни Феодоры-императрицы, набросаем очерки ее главных поступков.

Для куртизанки Феодора недурно, в политическом отношении, играла роль императрицы.

Умирая, Иустин оставил Греческую империю — жалкие остатки римского могущества — в самом жалком состоянии. Со всех сторон ей угрожали враги: вандалы в Африке, персы в Азии, готы в Италии. Вскоре Константинополь, а с ним вместе вся империя должна была сделаться добычей варваров.

По совету Феодоры первой заботой Юстиниана было поставить во главе войска кого-нибудь из прежних своих стражей, подобно ему, рожденного в хижине, во Фракии, и сделавшегося впоследствии одним из его офицеров. Этого офицера звали Велисарием, он был величественного роста, сила его равнялась его мужеству, ум его был остр, взгляд верен и быстр. Юстиниан возложил на него трудную задачу: сохранить Восточную и Западную империю. Велисарий показал себя достойным этого назначения.

Победы Велисария были бесчисленны и блестящи: он несколько раз разбивал персов в Сирии, вандалов в Африке, царя которых привел пленником в Константинополь. В Италии он победил готов и прислал от Рима ключи византийскому императору.

Велисарий одержал столько же побед, сколько давал сражений. С 527 года, когда Юстиниан вступил на трон, до 558 года, то есть в течение тридцати одного года, ни сердце, ни рука Велисария не ослабевали.

Велисарий поистине был провидением Юстиниана и Феодоры, и они должны были бы вознаградить его по-царски за столько великих услуг. Но... поговорим дальше о том, как он был вознагражден.

В этой главе мы упомянем о тех громадных работах, которые по совету его жены и по примеру Константина были исполнены Юстинианом.

«Не было ни одной провинции, — говорит Прокопий, — в которой бы он не построил города, крепости или, по крайней мере, дворца».

Таким образом, на том месте, где был храм Божественной мудрости, уничтоженный пожаром, Юстиниан построил храм св. Софии, для украшения которого он приказал забрать все самое драгоценное из древних языческих храмов.

Феодора, после того как вступила на императорский трон, выказывая великую любовь к религии, заставила Юстиниана обессмертить его имя благочестными постройками, и она же, мечтая о его славе, посоветовала ему привести в порядок законы, которые известны до

настоящего времени под именем Юстинианова кодекса и послужили источником для многих европейских законодательств. Теперь, когда сказано о сделанном Феодорой добре, остается еще сказать о том, что она сделала злого. Увы, этот рассказ будет длиннее первого.

Да, из гордости Феодора желала, чтобы государь, с которым она разделяла трон, был величайшим государем во всем мире, и с этой целью призывала его к великим деяниям.

Но — странная аномалия! — человека, имя которого она желала прославить во всей вселенной, — этого человека она, его жена, не боялась бесчестить, каждый день предаваясь самому возмутительному бесстыдству.

Знал ли Юстиниан о развратном поведении Феодоры? Как же он мог не знать об этом? Феодора центром своего распутства избрала сам императорский дворец. Опять-таки это было в нравах той эпохи; Юстиниан был человек той эпохи: он все видел и избегал видеть. К тому же, быть может, он говорил самому себе, что разумнее не возмущаться тем злом, которое впервые произведено не нами. Он женился на куртизанке.

Мог ли он требовать, чтоб эта куртизанка, оказавшись под царственным пурпуром, отказалась от своих наклонностей, вкуса, инстинктов?

У Феодоры были три подруги в наслаждениях: Клизомана, Изидора и Македония, но самым дорогим ее другом была Антонина, жена Велисария, ибо Велисарий также был женат на куртизанке. Что сделал господин, то слуге его тем паче дозволительно сделать.

Подобно Феодоре, Антонина бывала иногда в театре одной из застольниц проституционного портика. Однажды, возвратясь из путешествия, Велисарий пришел в ярость при рассказе о некоторых приключениях, в которых Антонина была героиней, и его первым движением было бросить ее в тюрьму. Но такая строгость была вовсе не в расчете Феодоры: ей не нравилось, что полководец давал пример императору, наказывая жену легкого поведения. Императрица позвала Велисария и предложила ему немедленно примириться с Антониной. Велисарий повиновался, во-первых, потому, что, несмотря на ее ветренность, обожал свою жену, а во-вторых, она была для него великой помощью у императрицы в том случае, когда император чувствовал потребность отплатить неблагодарностью за его услуги.

Да, Феодора полновластно царила над императором! И несчастье тому, кто омрачал это могущество! Вот один из тысячи примеров.

По возвращении из одного путешествия в Лидию императрица встретила во дворце в качестве секретаря молодого римлянина по имени Корнелий, которым Юстиниан был, по-видимому, очарован.

— Этот Корнелий прелестен! — повторял каждую минуту Юстиниан. — Он мил, образован, умен, любезен! Благодаря ему, каюсь, дорогая Феодора, я почти позабыл о вашем отсутствии.

— Право? — сказала императрица. — Я в восхищении от того, что ваше величество мне нашел! Корнелий нравится вам и, без сомнения, нам тоже понравится.

Лучезарный Корнелий поклонился. Он не сомневался в своем счастье. Государь и государыня одинаково удостаивали его вниманием.

Но вечером, когда он прогуливался в садах, его нечаянно окружила стража и потребовала, чтобы он следовал за нею. И так как Корнелий отказывался, так как он сопротивлялся, стража схватила его, связала и унесла неизвестно куда.

На другой день, в тот час, когда Юстиниан имел обыкновение работать с Корнелием, он был удивлен, не видя своего секретаря. Он приказывал отыскать его, когда вошла Феодора.

— Совершенно бесполезно отыскивать Корнелия, — холодно сказала она, — его не найдут.

— Почему? — спросил император.

— Потому что он в тюрьме.

— Полно! Что такое он сделал, чтобы быть заключенным в тюрьму?

Феодора улыбнулась своей недоброй улыбкой и, наклонясь к императору, сказала ему:

— Я не люблю тех, которые заставляют позабыть меня.

Император тихо пожал плечами.

— Ревнивица! — сказал он.

И больше ничего. Никогда более не было между супругами разговора о прелестном Корнелии.

Феодора была неумолима в своей ненависти, и совсем немного было нужно, чтобы заслужить ее, однако, смотря по степени, она выражала ее различными способами.

Она приказала устроить под землей, в основании своего летнего дворца, темницы, в которые никогда не проникал луч света.

Там люди, которые стесняли ее или просто ей не нравились, отправлялись на тот свет.

Там Корнелий — этот тростник, осмелившийся бороться с дубом, — страдал и умер.

Тех, на которых она имела право жаловаться, тех умерщвляли тотчас же.

Исполнителя этих экзекуций звали Андрамитисом. То был черный евнух колоссального роста и весьма благообразный. Феодора привезла его как-то в одно из своих таинственных странствий. В Константинополе говорили втихомолку, что это был демон, которого она купила у одного египетского мага. Во всяком случае, Андрамитис любил только Феодору и повиновался только ей. Даже сам император не имел власти заставить сделать Андрамитиса хоть одно движение, если императрица не позволяла ему.

Этот Андрамитис одним ударом убил Виталия. Он всегда наносил только один удар и не спереди, как лев, а сзади, как тигр; именно Андрамитис через несколько недель по возвращении Феодоры в свой родной город освободил ее от одного воспоминания о белокуром парике. Персы напали в то время на Битинию. Бежав от персов, Гецебол отправился в Константинополь; на площади Константинополя носилки экс-наместника встретились с носилками Феодоры. Узнал или не узнал Гецебол свою бывшую любовницу, во всяком случае он благоразумно не дал ничего заметить, но его прежняя любовница узнала его и отдала приказание Андрамитису.

На другое утро Гецебола нашли зарезанным в постели.

Сделавшись императрицей и оставшись куртизанкой, Феодора усложнила роль Андрамитиса как исполнителя ее мести другими не менее важными и не менее гнусными занятиями.

Когда-то существовала в Париже Нельская башня, на берегу Сены. Те, кто входил в эту башню, пропадали бесследно, их уносила река. Но Маргарита Бургундская и ее сестры Жанна и Бланка были жалкими подражательницами Феодоры и ее достойных подруг — Македонии, Изидоры, Клизоманы и Антонины. К тому же в Константинополе эти слишком эротические знатные дамы не заманивали сами, подобно обитательницам Нельской башни, прохожих: для этого у них были особые женщины. Что касается остального, то в императорском дворце древней Византии, так же, как позже в Нельской башне, после окончания оргии те, которые служили для ненасытного сладострастия, исчезали...

Заставить их исчезнуть было обязанностью Андрамитиса.

В глубине сладострастно отделанной залы, в которой несчастные молодые люди, жертвы ненасытной страсти этих обжор, в продолжение целой ночи опьянялись поцелуями и вином, услаждались изысканными кушаньями и безумными ласками, была скрытая под небесно-голубого цвета материей дверь, окрашенная красной краской — цветом крови...

Феодора и ее собеседницы уходили, говоря им без содрогания: «До свидания!» Гнусная ложь, они знали, что никогда более их не увидят!.. Феодора и ее подруги удалялись, к влюбленным являлся Андрамитис и приглашал их следовать за собою.

Они безбоязненно шли за ним.

Андрамитис направлялся к красной двери, от которой один только он имел ключ, и отпирал ее. Затем, сделав знак молодым людям идти вперед, он пропускал их в большой коридор, в конце которого виднелась лестница, судя по всему, ведшая к потаенному выходу, который выведет их из дворца.

Когда они были где-то на середине прохода, красная дверь за ними запиралась, чего они не знали, и тут пол под ними проваливался, раскрывая бездну... Единый вопль ужаса вылетал из пяти грудей... потом наступало молчание... гробовое молчание. Пол становился на прежнее место, скрывая тела несчастных, растерзанных во время падения об острые крючки и ножи, и эти куски падали на дно колодца, в котором в час прилива Босфор обновлял воду и смывал кровавые пятна.

Эта машина была гораздо удобнее каменного мешка Маргариты Бургундской. Из мешка выходят, как, например, Бюридан. Но никто не мог выйти, иначе как в кусках, из бойни Феодоры.

Между тем время насмехалось над смешными претензиями Феодоры, доказывая день ото дня, что она создана из той же глины, как и последний из ее подданных. Тщетно она напрягала усилия в бесконечно мелочных заботах о самой себе, проводя каждое утро от пяти до шести часов в бане, плотно потом завтракая и долго отдыхая; с каждым днем она замечала, как увядала ее красота. Вид первой морщины вызвал у нее дикую вспышку ярости против природы и сделал ее, если только это было возможно, более гнусной и более злобной. К ее природным порокам присоединились другие. Она была надменна и распутна, стала недоверчива и жадна. Доселе она расточала золото, теперь она начала его поглощать и брала его всюду.

Чтобы вырвать признание в воображаемых преступлениях у людей, состоянием которых она намеревалась завладеть, она изобрела пытки...

Вот что почти всегда было результатом этого изобретения.

Пытаемому, который был привязан к скамье и как следует скован, стягивали голову бычьей жилой так, что вены на лбу его вздувались, чуть не лопаясь, а глаза чуть ли не вылезали из орбит. Обезумев от боли, он испускал пену, выл, рычал...

И — признавался...

Всего прискорбнее было то, что, злоупотребляя своей властью над Юстинианом, Феодора и его увлекала на путь беззаконий...

Он не был кровожаден, но стал таким... Он любил народ, из которого вышел, — и разорил его; он имел уважение к славе, благодарность к оказанным услугам... и растоптал ногами эту благодарность и уважение...

Велисарий, как известно, в течение тридцати лет был оплотом империи. В 558 году, уже старик, знаменитый полководец как будто помолодел, пойдя против гуннов, развоевавшихся по Италии... Через три года, подстрекаемый Феодорой, Юстиниан, упрекая Велисария за то,

что он хотел занять трон, лишил его всех почестей, приказал выколоть ему глаза и заключил в башню на берегу моря, которую и донныне называют башней Велисария.

Из окна своей темницы, из которого спускался на веревке мешок, старый полководец кричал проходящим внизу: «Дайте же один обол старому Велисарии, у которого зависть выколола глаза».

Антонина, жена Велисария, в преклонных годах сохранила роскошные черные волосы... Напротив, волосы Феодоры падали и седели, что заставило ее употреблять золотую пудру. Из зависти, из ревности к волосам своей подруги Феодора обвинила Велисария в заговоре против Юстиниана.

Весьма остроумное средство — посредством мучений мужа заставить поседеть волосы жены. О! Феодора была искусна в изобретениях.

Приближаемся к развязке истории Феодоры, но прежде чем сказать, как умерла эта коронованная блудница, — в своей постели как честная мать семейства, — передадим одно приключение, которое, как полагаем, немало способствовало поддержке в ней до самого последнего вздоха ее кровожадности.

Это было в 542 году. Антонина была с Велисарием в Италии. По различным причинам, о которых не стоит говорить, императрица, охладев к остальным трем своим подругам, несколько дней уже не принимала их у себя.

Но отказавшись неожиданно от оргий, Феодора не отказалась от наслаждений. Каждый вечер ей, по обыкновению, приводили любовника. Однако, несмотря на то, что она была одна, без подруг, Феодора, покидая его, как и прежде, с подругами, иронично говорила ему «до свидания», и этот любовник на одну ночь уходил из дворца в красную дверь.

Ничего не изменилось в привычках кровожадного Минотавра, разве что одно: он пожирал на четыре жертвы меньше.

В этот вечер Феодора вошла беспокойная в свои апартаменты. Император страдал, очень страдал, он едва отобедал и, покинув стол, бросился на постель, несмотря на просьбы императрицы, отказавшись принять медика.

Что такое случилось с его величеством?

Ах! Феодора не скрывала от самой себя, что когда его величество будет в земле, она, императрица, рискует окончить свои дни в монастыре, основанном ею для известного и достаточно распространенного класса женщин, называвшемся монастырем покаяния. Наверное, ее не оставили бы на троне, у нее так много врагов!

Опустив голову, в глубокой думе, Феодора сидела в комнате рядом с той, в которой она ожидала любовников. Прошло десять минут, а она не слышала никакого сигнала, которым обыкновенно предупреждали ее о приходе любовника...

Легкий шум вывел ее из задумчивости, она подняла голову...

Перед ней стоял коленапреклоненный юноша, красота которого сразу поразила императрицу. Ей почему-то показалось, что когда-то она видела эту прекрасную фигуру.

Однако сейчас, при ее расположении духа, ей стало неприятно, что этот любовник, как бы ни был он красив, своевольно упредил ту минуту, когда ему дозволили бы явиться к ней.

Она нахмурила брови и отрывисто сказала:

— Что тебе надо? Кто звал тебя?

— Простите меня, государыня, — отвечал молодой человек, по-видимому, не смущенный этим приемом и не оставлявший своего почтительного положения, — простите мое нетерпение, которое могло заставить меня сделать непозволительность... Но... не

правда ли, вы — императрица?..

— Да. Дальше?

— О! Я не сомневался в этом! Вы именно такая, какой представляет вас этот портрет, по памяти нарисованный моим отцом и отданный мне в минуту его смерти, когда он открыл мне тайну моего рождения.

— Тайну твоего рождения? Мой портрет, нарисованный им по памяти?.. Как же звали твоего отца?..

— Его звали Адрианом, меня зовут Иоанном...

Феодора вздрогнула. С ней говорил ее сын! Ее сын, живой портрет ее первого и единственного возлюбленного... Она понимала теперь, чем так поразило ее при первом же взгляде лицо этого юноши.

Ее сын! Этот юноша ее сын!.. И она узнала себя на портрете, который изображал ее в возрасте двадцати лет.

Это льстило ее самолюбию. Попеременно глядя то на портрет, то на молодого человека, отдавшего ей ее изображение, на котором скорее вдохновенный, чем искусный карандаш воспроизвел ее прежние черты, она улыбалась...

Но сын!.. Имела ли право она, жена императора, иметь сына?.. Этот сын не повредит ли ей? Не повредил ли уже, узнав тайну своего рождения?..

Она выпустила из рук портрет... улыбка исчезла с ее губ...

— О! Не бойтесь ничего! — вскричал Иоанн, как будто он, как в открытой книге, прочитал что-то в душе своей матери. — Только я, вы и Бог знаем, кто я...

Императрица вздохнула. Она сделала движение, означавшее: «Слава Богу!»

— Но, — сказала она после молчания, — полагаю, что твой отец не обманул тебя. А на что ты надеялся, являясь ко мне? И как ты сюда вошел?..

— О! Что касается этого, — сказал Иоанн, — я не сумею объяснить вам, потому что не могу объяснить самому себе. Без сомнения, добрый ангел принял меня под свое крыло. Явившись вчера вечером в Константинополь, я сегодня утром, с рассветом, сел у вашего дворца, — а быть около вашего жилища для меня почти то же, что быть около вас, — когда одна женщина подошла ко мне и спросила, что я здесь делаю? У этой женщины был благосклонный вид. Я отвечал, что желаю видеть императрицу. Я мог ответить это, не компрометируя вас. «Откуда вы? — продолжала женщина. — Вы не из этого города?» — «Я родился, — отвечал я, — здесь, но уже много лет, как я здесь не был. Я из Порпе, в Сирии». — «И вы никого не знаете в Константинополе?» — «Никого». — «И вы желаете видеть императрицу? Для чего?» — «Поскольку, говорят, она прекрасна... она должна быть добра». — «И вы будете просить об ее покровительстве, чтобы получить место в ее страже?» — «О! Я буду чрезвычайно счастлив, служа моей государыне!» Женщина, казалось, размышляла о чем-то, потом сказала: «У меня есть друзья во дворце, с которыми я поговорю о вас. Сегодня вечером, с наступлением ночи, будьте на этом месте, если возможно будет ввести вас к императрице — вас введут». Я не пренебрег этим свиданием; гораздо раньше ночи я был уже там, где поутру и встретил женщину, которую благодарил от глубины души и которую ждал нетерпеливо. Она наконец явилась. «Я успела, — сказала она. — Императрица вас примет. Следуйте за мной!» Я повиновался и следом за нею вошел во дворец через дверь, выходящую в сад. Я поднимался по лестнице, когда моя проводница скрылась, к моему великому огорчению, потому что, весь охваченный моей радостью, я позабыл поблагодарить ее. Вдруг какой-то гигант-негр заменил ее и, взяв меня за руку,

провел в великолепную комнату, сказав одно только слово: «Жди!» Остальное вам известно. Я ждал около часа, когда в этой стороне мне послышались шаги. Быть может, я виноват, но это было свыше моих сил, — я приподнял портьеру, увидел вас и... Вы спрашиваете, чего я прошу, на что я надеюсь? Мне нечего более надеяться... я получил все, чего желал... я видел вас и могу сказать: «Великая государыня! Вам нужна собака, готовая за вас умереть, — вот она!»

Этот рассказ Феодора усилием воли заставила себя слушать спокойно. Но сколько же неожиданных, сладостных чувств вспыхнуло в ее душе, пока молодой человек говорил. Этот юноша был ее сын... Родной сын!.. Ее кровь и плоть. И он был прекрасен!.. О да, прекрасен!.. И он любил ее, как любил своего отца, на которого походил не только лицом, но даже голосом...

При звуке этого голоса Феодора снова стала двадцатилетней. И он ничего не говорил... И ничего не скажет, что могло бы повредить ей. О нет! Подобно своему отцу, он был умен.

У нее был сын! С сыном женщина, будь она хоть императрицей, не одна. У нее есть защитник... А если император не умрет?.. Но почему он должен умереть? Его жизнь вне опасности... он узнает...

Машинально она протянула руку сыну... и снова отняла ее... Он все еще стоял на коленях.

— Садись, — сказала она ему.

Он медленно сел. Ясно, что движение матери не ускользнуло от него, и он все еще надеялся на что-то.

— Итак, — спросила она, — только в минуту смерти отец открыл тебе...

— Да, в минуту смерти!..

— В каких выражениях он передал вам эту тайну?

— Он говорил мне, что имел счастье любить вас и быть любимым вами... Тогда вы были дитем народа, как и он. Что вы ушли из своего семейства... но...

— Сами или по совету отца вы пришли ко мне?

— По совету моего отца и по своему желанию. У меня там не было никого больше, кого бы я любил...

— Что вы делали в Порпе?

— Отец был управителем богатого купца, я — секретарем.

— Долго вы жили в Сирии?

— Двадцать лет.

— Но у вашего отца была родственница... тетка?..

— Флавия. Да. Она воспитала меня и умерла девять лет назад...

— Она!.. И она никогда об этом не говорила вам?..

— Никогда. Когда я спрашивал о моем отечестве и моей матери, она говорила мне — то же самое говорил и мой отец, — что я из Битинии и что мать моя умерла, родив меня.

Феодора хотела продолжать свои вопросы, когда постучались в дверь комнаты, в которой она говорила со своим сыном. У императрицы все было заранее обусловлено, по стуку она узнала, кто стучался. Это был один из комнатных слуг императора, Бобрикс, которому она поручала во всякое время и при всех обстоятельствах являться к ней с известием, требует ли ее муж или просто желает видеть.

— Войди, — крикнула она.

Бобрикс вошел.

Император, по его словам, страдал сильнее, выйдя из своего беспамятства, и он произнес имя императрицы.

— Достаточно, — сказала Феодора, — я следую за тобой, Бобрикс.

И, рассеянно обратившись к Иоанну, сказала:

— До свидания!

Потом она быстро удалилась. Юстиниан на самом деле страдал, но его болезнь не была опасной. Он просто обожрался. Только перед рассветом Феодора вернулась в свои апартаменты. А ее сын? Она вошла в комнату, в которой она его оставила, но его там не было; она искала в других комнатах... нигде... никого!.. Вдруг какой-то бледный намек, какое-то сомнение оледенило ее ум...

Направляясь к маленькой двери, скрытой в филенках, она спустилась на несколько ступеней и вошла в комнату Андрамитиса.

Он спал сном праведника. Она бросилась к нему.

— Этот юноша... араб, которого привели ко мне?..

Негр устремил на Феодору сонный взгляд.

— Ну! — продолжала она. — Этот юноша? Где он? Говори! Да говори же! Где он!

— Он там, — забормотал евнух, — где должен быть. Вы ушли. Я спросил его. Он мне сказал, что, оставляя его, вы ему сказали: «До свидания». Я проводил его в красную дверь...

Десница Божья! Господу не угодно было, чтобы эта женщина, которая в двадцать лет не сумела быть матерью, испытала бы это счастье в пятьдесят. А может, в самом деле испытала? Из уважения к женщине и к человечности мы желали бы так думать. И как доказательство расскажем о последнем дне ее жизни.

Это было в 565 году, когда сначала Феодора, а потом Юстиниан — она в апреле, он в июле — покинули этот мир. Хотя император был гораздо старше ее, ему было восемьдесят четыре года, Юстиниан не переставал окружать заботами и попечением ту, которая разделяла с ним трон, славу и преступления. Целый месяц, пока императрица болела, каждый день в полдень он садился у ее постели и покидал свое место лишь в полночь. Роковая минута приближалась. Доктора считали, что Феодоре, пожираемой раком желудка, осталось жить сутки.

Был вечер. Освободившись на несколько минут от страданий, она лежала неподвижно и безмолвно.

— Вам что-нибудь нужно, мой друг? — спросил император.

Она собиралась ответить «нет», когда вошел Андрамитис. Тоже постаревший, но по-прежнему преданный своей госпоже. Увидев своего демона, Феодора как-то странно улыбнулась и вместо «нет» вдруг сказала, обратившись к супругу:

— Да. Дайте мне вон тот кинжал, что лежит на столе.

Кинжал с золотой рукоятью был подарком полководца Нарцисса, преемника Велисария. Юстиниан поспешил исполнить просьбу Феодоры и подал ей кинжал. В этот момент она сказала мягко:

— Андрамитис, поищи на тигровой шкуре, возле постели, мой изумрудный перстень, который я только что уронила.

Андрамитис подошел поближе и, чтобы удобней было искать, наклонился над тигровой шкурой. Феодора приподнялась на своем ложе и всадила кинжал по самую рукоятку негру между плеч.

Он упал бездыханным. Юстиниан вскрикнул:

— Боже мой! Зачем ты убила этого невольника, моя дорогая?

— Он обворовывал меня, — холодно ответила Феодора, снова опускаясь на подушки.

Она солгала. Андрамитис ничего у нее не крал, она убила его потому, что и спустя двадцать три года не простила ему, что он вывел ее сына через красную дверь...

На другой день, 17 апреля 565 года, императрица Феодора скончалась.

(Бутон розы)

Все подробности этой истории заимствованы нами из самых достоверных источников. Мы получили их не от самой героини — нам так и не удалось воочию увидеть китайянку Чианг-Гоа, — но от других наших героев.

Позволив напечатать эту историю, одно из главных действующих лиц просило не упоминать его настоящего имени. Лет пять тому назад он был любовником проститутки Чианг-Гоа, и любовник этот — французский пейзажист. Он был пейзажист в поэтическом стиле, прославленном Клодом Лоренем, меньше заботившимся о композиции, чем о верности природе.

Он повидал Европу, и ему давно уже хотелось посмотреть Азию. Но путешествие требует больших средств. В Индию отправляются не по железной дороге; чтоб переплыть океан, нужны деньги, так же как нужны они для того, чтобы свободно себя чувствовать среди аборигенов.

Эдуард Данглад хорошо понимал это, и так как состояние не позволяло ему привести в исполнение свои замыслы, то он поджидал случая.

Один из его старинных товарищей, граф д'Ассеньяк, страшно богатый и также жаждавший постранствовать по свету, предложил ему оплатить все расходы, но художник был горд: он отказался.

— Все эти твои нежности даже странны и смешны, — сказал ему д'Ассеньяк. — У меня триста тысяч ливров дохода, и я без всякого для себя стеснения предложил тебе удовольствие, в котором и сам приму участие.

— Которое из-за меня будет стоить тебе полсотни тысяч франков. Спасибо! Ты можешь предлагать, я не принимаю.

— Полсотни тысяч!.. Ты преувеличиваешь!..

— Вовсе нет! Чтобы видеть все, нужно платить, и платить дорого; полагаю, ты же не приедешь из Китая с фуляром за три франка или с фунтом чая.

— Конечно, нет... Мы купим там хороших материй, мебели... оружия... Да позволь же дать тебе займы эти пятьдесят тысяч франков.

— Я боюсь долга.

— Ты мне заплатишь картинами.

— Я дурно работаю, если получаю вперед.

— Ты невыносим! Из-за тебя я принужден не отправляться туда, куда мне хочется ехать.

— Как из-за меня? Я тебе не мешаю хоть завтра отправиться на Луну.

— Да ведь знаешь же ты, что без тебя на Луне я соскучусь.

Непредвиденный случай снял все трудности.

У Данглада где-то в Германии был старик дядя, которого он видел раза два за всю жизнь и который недавно кончил апоплексическим ударом, оставив ему в наследство триста тысяч франков.

Выйдя от нотариуса, который сообщил эту счастливую новость, Данглад бросился к д'Ассеньяку сказать, чтобы тот готовился в дорогу.

Через неделю приятели были по дороге в Ливан — к первой их станции на земле Азии.

В самом деле, странствовать по свету, должно быть, очень приятно. Те два года, которые Эдуард Данглад провел в Аравии, Персии, России, Индии, Китае, показались ему двумя днями, а сколько приключений, сколько любопытных приключений пришлось на его долю в эти два года. Но нас в настоящее время занимает одно только из этих приключений, а потому мы оставляем вместе с нашими путешественниками берега Вампу в Шанхае и переносимся вместе с ними в Иеддо (старое название столицы Японии — Токио), в Японию.

Данглад познакомился со знаменитой китайской куртизанкой Чианг-Гоа не в Китае, ибо в Китае нет куртизанок в том несколько либеральном смысле, который придается этому слову во Франции; на цветных лодках, их постоянном месте пребывания, встречаются только самые ужасные создания, от которых с отвращением бежит европеец.

Это было в Японии.

Как печален и грязен китайский город Шанхай, так весел и чист японский город Иеддо.

Под руководством английского туриста сэра Гунчтона, которого они встретили в Пекине и который знал Иеддо как свои пять пальцев, побывав в нем уже раза три, Данглад и д'Ассеньяк остановились в одном из лучших кварталов, в доме, построенном между французской и голландской миссиями. Отдохнув несколько часов от усталости после восьмидневного переезда, они уселись в паланкин, который несли четверо носильщиков и сопровождала стража Тайкуна.

Они остановились у дверей чайного дома (род кофейной), чтобы посмотреть на двух женщин, танцевавших под звуки инструмента вроде мандолины, когда к ним подъехал верхом сэр Гунчтон.

— Господа, что вы тут делаете? — смеясь, вскричал англичанин.

— Вы видите, — тем же тоном ответил Эдуард Данглад, готовясь набросать эскиз одной из музыкантш, которая, продолжая играть на своем инструменте, что-то мяукала.

— Но, — сказал сэр Гунчтон, наклоняясь к художнику, — останавливаться перед подобными домами неприлично.

— Ба!..

— Без сомнения. Посмотрите на ваших проводников! Только низший класс посещает чайные дома.

— Почему? — спросил д'Ассеньяк. — Разве чай не хорош здесь?

— Нет, потому что эти места служат обыкновенно местами свиданий для бродячих куртизанок.

— Ай да славно! — весело заметил граф. — Но отчего же не посмотреть хоть мимоходом на этих бродячих проституток, если они красивы собой... А эти танцовщицы и певицы...

— Нет, они довольствуются теми грошами, которые приобретают с помощью горла и ног... Но, господа, в Иеддо есть получше этих... И если вы согласны на нынешний день взять меня вашим гидом-чичероне, то, пообедав у одного моего приятеля Нагаи Чинаноно...

— А кто он такой, — спросил Данглад, — ваш приятель Нага... Нага..?

— Нагаи Чинаноно. Богатый здешний купец, говорящий по-английски не хуже, чем я или вы. Он пробыл два года в Англии. Очень добрый и учтивый господин. Он будет в восхищении от посещения двух знаменитых французов.

— Знаменитых?..

— В Японии все иностранцы необыкновенно знамениты. К тому же...

— Короче говоря, — перебил д'Ассеньяк, — после обеда у вашего друга вы куда нас поведете?

— Я вам это скажу за столом.

— Право, — заметил Данглад, пожимая плечами, — это вовсе не трудно угадать, и я удивлюсь, Людовик, твоей просьбе о лишних объяснениях. Сэр Гунчтон молод, сэр Гунчтон часто бывал в этой стране, и ему известны все развлечения, которые можно получить здесь. Но, что касается меня, милый чичероне, я должен сказать, что к некоторым удовольствиям я не чувствую никакого влечения. Продажная Венера, где бы ни царила она, — в Европе или в Азии, в Париже или в Иеддо, — не возбуждая во мне совершенного негодования, не внушает в то же время ни малейшего желания.

— Пусть так, — возразил сэр Гунчтон, — но из простого любопытства, как художник, вы, надеюсь, не откажетесь увидеть самую знаменитую куртизанку в Японии китаянку Чианг-Гоа?!

— Нет! Нет! — воскликнул д'Ассеньяк. — Если не для самого себя, то для меня Данглад нанесет визит к Чианг-Гоа. Мы к вашим услугам, сэр Гунчтон. Ведите нас. Куда?

— Полагаю, сначала обедать, — сказал Данглад. — Это предложение мне больше нравится. Я чертовски голоден.

— Держу пари, — улыбаясь, сказал Гунчтон, — что обед понравится вам меньше, чем женщина.

А так как художник отрицательно покачал головой, то англичанин с той же улыбкой продолжал:

— Знаете вы французскую пословицу, которая гласит: не надо говорить: «Фонтан, я не стану пить из тебя воды!»? Познайте сначала фонтан, чтобы доказать искренность своего отвращения.

Разговаривая таким образом, трое европейцев и их проводник переходили мост, весь из кедрового дерева, украшенный великолепными резными балюстрадами. Нагаи Чинаноно самым вежливым образом принял своего друга, сэра Гунчтона, и его товарищей — знаменитых французов.

— Дом мой — ваш дом, — сказал он им с вежливым видом.

Дом купца в Иеддо если не элегантен, то зато обширен. Дом был окружен верандой. Под сводом галереи, выходящей в сад, был подан обед, состоявший исключительно из рыбы, плодов и пирожных, так как еще не пришло время охоты, на рынках не было дичи, а в Японии неизвестны вовсе баранина, козлятина и свинина, быки же употребляются единственно для домашних работ.

За десертом два лакея принесли чай и сакэ, опьяняющий напиток, добываемый из риса, который Нагаи Чинаноно особенно рекомендовал своим гостям. Но одного глотка сакэ было достаточно для Данглада и д'Ассеньяка; они поспешили к мадере и шампанскому. Закурили маленькие металлические трубки, наполненные чрезвычайно тонким ароматическим табаком, так как в Японии неизвестно употребление опиума. Потом д'Ассеньяк начал разговор, который перешел на Чианг-Гоа.

При первых словах о знаменитой куртизанке Нагаи Чинаноно прикусил язык. Нагаи Чинаноно был честный муж: ему приходилось быть неверным, но только в том случае, когда он не мог поступить иначе.

— Чианг-Гоа! — сказал он, бросая на англичанина укоризненный взгляд. — Как, сэр Гунчтон говорил вам об этом создании?..

— Даже хуже, — возразил сэра Гунчтон, — строго соблюдая правила установленного ею этикета, я, пока готовили здесь обед, послал одного из ваших слуг к этому созданию, извещая ее о том, что сегодня вечером я и эти господа, а если хотите, то и вы, отправимся к ней с визитом.

— О! О! Со мной? Вы шутите!.. Я женатый человек!..

— Таким образом, — спросил Данглад, — чтобы быть принятым Чианг-Гоа, необходимы какие-то особые предупреждения?

— Конечно, — отвечал сэра Гунчтон, — и при неисполнении этого условия самые знатные вельможи, сам микадо, духовный повелитель Японии, рисковал бы разбить себе нос об ее двери.

— Так она очень могущественна?

— По праву красоты. По праву, перед которым всего охотнее склоняются люди.

— Она и богата?

— Очень, вероятно. Положительно известно одно только, что она живет на широкую ногу. Не правда ли, Нагаи?

— Почему мне знать! Разве я бывал у Чианг-Гоа?

Сэра Гунчтон захохотал.

— Это уж слишком! — сказал он. — Именно вы в последний раз так расхваливали мне ее красоту и роскошь ее жилища, что возбудили во мне желание познакомиться с Бриллиантом Иеддо, как прозвали Чианг-Гоа.

— Ну, это правда! — сознался японец. — Имея, господа, жену и детей, не делаешься же мраморным. Да, я был у нее один раз.

— Один раз только?

— Ну, может быть, два раза, но не больше... Я видел Бутон розы.

— Кто это — Бутон розы? — спросил д'Ассеньяк.

— Чианг-Гоа. Это и значит — Бутон розы.

— Бутон розы! Бриллиант Иеддо!.. Сколько имен для одной куртизанки, — заметил Данглад.

— Они заслуженны, — пылко сказал японец. — По своей свежести Чианг-Гоа — это бутон розы, по блеску — бриллиант...

— А сколько лет этому Бриллианту? Этому Бутону?

— Четырнадцать.

Д'Ассеньяк и Данглад невольно переглянулись.

— Четырнадцать лет? — переспросил первый. — А сколько времени ее знают?

— Три года.

Оба друга снова взглянули один на другого.

— Вы забываете, — улыбаясь, сказал им сэра Гунчтон, — что в этой стране девушка в десять лет становится женщиной и в двенадцать часто матерью.

— И увядает, сохнет, стареет в двадцать. Такова участь ранних плодов: они не сохраняются. Но, — продолжал Данглад, — один вопрос. Мне говорили, что китайцы вообще мало любимы и уважаемы в Японии, каким же образом в профессии, без сомнения, исключительной... которой, вероятно, занимаются и японские женщины... каким образом в первом ряду стоит китайка?..

— Потому, — ответил Нагаи Чинаноно, — что для нас китайка — не то, что...

— Что китаец?

— Правда, — наивно продолжал японец. — К тому же, Чианг-Гоа так мало жила на родине, что не могла заразиться грубостью нравов.

— Ноги у нее не разделаны, как у знатных дам Пекина и Шанхая? — спросил д'Ассеньяк. — Она не ходит прискакивая, как индейка?

— Полноте! — сказал сэр Гунчтон. — Она ходит так же грациозно, как и всякая другая женщина, обладающая грацией.

— Но, — заметил Данглад, — кто же привез ее в Иеддо?

— Фигляры, странствующие актеры. Ее отец, который был купцом в Шанхае, когда она появилась на свет, приказал слуге бросить ее в пруд под тем предлогом, что она была третьей дочерью и что двух и то было много. По дороге слуга встретил скоморохов...

— ...которые взяли к себе ребенка и воспитали его, как это постоянно бывает в мелодрамах, — смеясь, сказал д'Ассеньяк. — И эта крошка, приговоренная отцом стать кормом для рыб, а своими покровителями обученная прыгать сквозь обручи, в настоящее время — о, провидение! — столичная львица!.. Я даю ей третье название. Когда вам наскучит называть ее Бутоном розы и Бриллиантом Иеддо, зовите ее Львицей, это польстит ей. А теперь, когда мы достаточно узнали о Чианг-Гоа, не пойти ли нам, господа, к ней с визитом? В самом деле, далеко ли отсюда живет она?

— Нет, — отвечал сэр Гунчтон, — около двух миль, в квартале Куроди, одном из самых аристократических кварталов в Иеддо. Через час мы будем у нее.

— А нужно, — любопытствовал Данглад, — чтобы наша стража следовала за нами?

— Без сомнения, — ответил Нагаи Чинаноно, — наш город, почти безопасный днем, ночью не так безопасен. Особенно иностранцы должны остерегаться встречи с лонинами.

— Это еще кто?

— То же, что итальянские браво, — сказал Гунчтон. — Люди, всегда готовые на убийство, лишь бы только заплатили им.

— А кому нужна наша смерть, чтобы на нее тратиться? — сказал д'Ассеньяк.

— О! Когда у них нет приказаний, они, чтобы набить руку, работают для себя, и, как уже сказал нам наш друг Нагаи, тогда главным образом они и пристают к иностранцам, ибо для них меньше риска в таком случае. Но с вашей стражей вам нечего опасаться. Вы не с нами, Нагаи?

Японец принял прежний строгий вид.

— Сэр Гунчтон, — вскричал он, — довольно смеяться! Вы же не хотите, чтобы я взял и бросил свой дом? Глупости делаются один раз, а не два.

— То есть, не три раза, как вы нам признались.

— Да нет же, я ни в чем не признавался... К тому же, — со вздохом добавил японец после минутного молчания, — вы, надеюсь, не предупредили Чианг-Гоа, что и я явлюсь? Вы пошутили?

— Да... А может, я был не прав, что не предупредил?

— Нет, вы были правы, и я очень благодарен вам за вашу благоразумную сдержанность. Господа, желаю вам всякого успеха и рассчитываю еще раз увидеть вас перед вашим отъездом.

— Конечно, дорогой амфитрион, мы увидим вас снова, если только лонины не изрежут нас в куски, — сказал д'Ассеньяк, весело пожимая руку японцу.

Данглад молчал: он был занят. Невольно он задумался о предстоящем свидании с Чианг-Гоа.

Данглад и д'Ассеньяк сели в носилки. Сэр Гунчтон ехал верхом с левой стороны. Стражи следовали за ними, безмолвные, как тени, бесстрастные, как автоматы. Им было заплачено. Что им было до того, куда вели их...

— Мы приближаемся, — сказал сэр Гунчтон двум друзьям, — но прежде чем проникнуть в храм, не хотите ли выслушать несколько слов по поводу обычаев, действующих у этого божества?

— Опять правила этикета? — смеясь, воскликнул д'Ассеньяк.

Он всегда и везде смеялся — этот милый граф. Счастливы подобные люди!

— Да, правила этикета, — отвечал сэр Гунчтон. — И если я намереваюсь объяснить вам, как вы должны вести себя у Чианг-Гоа, то не потому, что сомневался в вашем знании жизни... Но с женщинами, вроде тех, к которой я веду вас, необходимы особые предосторожности... И я был бы крайне огорчен, если бы по неведению вы там развели скуку или — того хуже — проявили беспокойство, почуяв опасность...

Сэр Гунчтон произнес эти слова серьезным тоном.

— А! — возразил д'Ассеньяк не столько испуганный, сколько изумленный. — Слушая вас, сэр Гунчтон, можно подумать, что этот ваш Бутон розы, самая обольстительная девица в Японии, за одну минуту превращается в людоедку, с которой опасно водиться. Почему, скажите, вы так быстро меняете свои взгляды? Разве...

— Оставьте сэра Гунчтона, мой друг, пусть объяснится. Если он говорит таким образом, значит, так нужно.

— Если, — снова начал Гунчтон, отвечая д'Ассеньяку, — я не вполне посвятил вас в существо нашего визита к Чианг-Гоа, то лишь потому, что мы были не одни во время тогдашнего разговора. Я очень хорошо знаю характер Нагаи Чинаноно. Но он японец, и ему могло не понравиться, что в его стране, в его доме, европейцы посмели заподозрить в дурных поступках женщину, которую, будь его воля, он украсил бы всеми добродетелями, как это делает большинство его сограждан, украшая ее всеми прелестями красоты... Я заканчиваю, ибо через пять минут мы придем... К тому же, Чианг-Гоа — необычная куртизанка. Она отдается, если это можно так назвать, только тем, кто ей понравится, за оговоренную и неизменную плату — пятьсот франков за ночь. Так что приезжие иностранцы, которых она удостоивает приемом, никогда не остаются ее должниками. А тот, кто после первого — церемониального — визита к Бриллианту Иеддо по той или иной причине не пожелает воспользоваться ее благосклонностью, должен будет немедленно рассчитаться, уплатив двадцать ичибу. Это самая малая плата за счастье и удовольствие видеть Чианг-Гоа... Я резюмирую. Если Бутон розы вам понравится и вы согласитесь пожертвовать пятьсот франков за ее поцелуй, то, уходя от нее после первого — ознакомительного, если можно так выразиться, — визита, положите ей на колени какой-нибудь цветок, сорванный в ее оранжерее, и визитную карточку или же просто клочок рисовой бумаги, на котором напишите свое имя, титул и адрес. На другое утро ее лакей или служанка уведомит вас, принято ли ваше предложение и в котором часу вы можете представиться госпоже. Или же навсегда похоронить ваши сладкие надежды. Если, однако, вы решите, что пятьсот франков — слишком дорого за несколько часов наслаждения с Бриллиантом Иеддо, то отдайте камеристке двадцать ичибу, и этим будет все сказано... Впрочем, если вслед за этим вы выразите неудовольствие тем, что вас отвергли, и станете публично об этом заявлять, вы совершите ошибку... Помните, Нагаи Чинаноно да и я только что говорили вам о бандитах, наводняющих Иеддо... Вот они-то и станут кровными

мстителем за эту вашу ошибку... Мне рассказывали, что Чианг-Гоа содержит с дюжину этих головорезов, всегда готовых по первому ее слову наказать смертью грубияна, осмелившегося ее оскорбить. В доказательство правоты моих слов скажу, что лорд Мельграв рассказывал мне недавно об убийстве капитана одного американского судна, который, завершив встречу с Чианг-Гоа, повсюду объявлял, что куртизанка очень собой дурна и что он просто не понимает, как можно быть ее любовником хотя бы пять минут!.. И вот на другой день, вечером, проходя по предместью Санагавы, этот капитан был окружен толпой бандитов в черных повязках на лицах и, несмотря на то, что он умело защищался, да и стража помогала, все же был убит... Вот так-то, господа. Но вы не только люди светские, джентльмены, но и умные люди, а потому, даже если Чианг-Гоа и не покажется вам достойной своей репутации, остерегитесь слишком громко высказывать свое мнение... Короче, все, что я вам сказал, воспримите не как предупреждение, а скорее как просто любопытные сведения... Я закончил, а теперь не угодно ли вам сойти на землю? Мы находимся перед домом Чианг-Гоа.

Дом Чианг-Гоа был обширнее и изящнее дома Нагаи Чинаноно, хотя и походил на него. Привратник, или монбан, находившийся в башенке, окрашенной черной краской, как большинство жилищ в Иеддо, при виде троих иностранцев ударил три раза колотушкой в гонг, потом жестом пригласил их войти.

Сэр Гунчтон знал порядки: он шел впереди своих товарищей по аллее, уставленной цветами, которая кончалась у балкона, блистательно освещенного цветными фонарями.

На этом балконе стояла молодая девушка в белой тунике и таких же панталонах; она провела гостей в большую залу с окнами, закрытыми бамбуковыми шторами, пол которой был покрыт нежным ковром. В этом зале не было почти никакой мебели...

Молодая девушка удалилась и появилась снова в сопровождении двух других, принесших, подобно ей, по две подушки красного бархата, которые они положили одну на другую на ковер.

— Наши кресла, — сказал сэр Гунчтон. — Сядем, господа.

— Недурно, — вполголоса сказал д'Ассеньяк. — В этом приеме есть нечто мистическое, таинственное... Маленькие японки очень милы... Но меня занимают эти ширмы... Что может скрываться за ними?..

— Вы сейчас увидите, — улыбаясь, ответил сэр Гунчтон.

— Да, — сказал Данглад, — зала эта очень хороша, но я боюсь, чтобы запах, который царит в ней, не причинил мне головной боли...

— Аромат драгоценного дерева, сжигаемого здесь?.. Если этот аромат беспокоит вас, я попрошу Чианг-Гоа, чтобы она велела потушить курильницы.

— Вы попросите?.. А каким образом? — возразил д'Ассеньяк. — Вероятно, знаками? Ведь вы не знаете, я думаю, ни по-китайски, ни по-японски?

— Я буду изъясняться на моем родном языке.

— Ба! Чианг-Гоа говорит по-английски?

— Не так, конечно, чисто, как член парламента, но порядочно для того, чтобы поддержать разговор. Она также знает несколько слов по-испански и по-французски...

— Право? Bravo!.. Если она согласна, мы сделаем обмен. Я ее выучу говорить по-французски «je t'aime», а она научит меня по-японски.

Данглад иронически склонил голову.

— Мой милый Людовик! — сказал он. — Ты очень заблуждаешься, думая, что ждали

именно тебя, чтобы брать и давать эти уроки.

Легкий шум за ширмами приостановил ответ д'Ассеньяка, Шум этот исходил от прикосновения шелка к обоям.

Божество было там... Оно должно было появиться...

Д'Ассеньяк и сэр Гунчтон внимательно и безмолвно ожидали... Даже сам Данглад устремил свой любопытный взгляд на ширмы...

Божество появилось!..

Д'Ассеньяк и Гунчтон подавили крик восторга... Данглад тоже не мог удержать невольного восхищения...

Ясно, что, как опытная актриса, Чианг-Гоа свое появление на сцене рассчитала на внезапность. Уже знакомый с этим сэр Гуанчтон мог бы предупредить своих товарищей, но он предпочел доставить им всю прелесть изумления.

Войдя в залу через дверь, сообщавшуюся с ее будуаром позади ширм, и с минуту поглядев через тщательно скрытое отверстие на своих посетителей, Чианг-Гоа поднялась по лестнице, покрытой бархатом, и встала в самой выгодной позе.

Она была одета в голубое шелковое платье, отделанное газом и крепом того же цвета, с ее шеи артистически спускался длинный шарф, на голове у нее был золотой убор, украшенный бриллиантами и рубинами.

Правы ли были сэр Гунчтон и Нагаи Чинаноно, называя Чианг-Гоа несравненной красавицей?

Да, она была неподражаема. В ней не было ничего, кроме глаз, продолговатых, как миндалина, что напоминало бы женщин ее расы. Продолговатое лицо, широкий лоб, розовый прозрачный цвет лица, длинные выгнутые брови — все в ней было своеобразно. Но всего сильнее поразили Дангледа и д'Ассеньяка ее черные, словно вороново крыло, волосы, обильными волнами падавшие между складок шарфа до ее крохотных ножек, обутых в сафьяновые туфли.

Безмолвно стоя перед гостями на вершине эстрады, освещенной двадцатью фонарями, одетая в шелк, в пурпур, золото, как бы облитая своими роскошными волосами, Чианг-Гоа была прекрасна, более чем прекрасна, она была великолепна!..

Быть может, это был оптический обман, и вблизи красота эта потеряла бы свой блеск и свою оболстительность... Как знать!

Но вряд ли нашлись бы люди, которые, даже рискуя разочароваться, отказались бы держать в своих объятиях Бриллиант Иеддо. Впрочем, разве само обладание не есть роковое разочарование?

Нет, ибо сэр Гунчтон, уже обладавший Чианг-Гоа, вновь возжелал ее...

Произведя эффект, богиня, как простая смертная, уступая усталости, скорее скользнула, чем села на подушки, подобные тем, которые занимали ее посетители.

Настало время европейцам нарушить молчание, которое, как бы ни было красноречиво, продолжаясь, могло сделать холодным первое свидание.

Как сопровождающий обоих французов, сэр Гунчтон имел еще то преимущество, что был старым знакомым хозяйки, хотя такое преимущество могло стать нелепостью, ибо Чианг-Гоа принимала столько разнообразных лиц, что очень легко могла позабыть сэра Гунчтона.

Но в любом случае именно ему следовало начать разговор, и он начал.

— Прелестная Чианг-Гоа, — сказал он, — позвольте прежде всего от имени всех нас

поблагодарить, что вы удостоили открыть для нас вашу дверь.

— Скорее я должна гордиться, сэр Гунчтон, — возразила Чианг-Гоа, — тем, что вы и ваши друзья посетили бедную затворницу.

При последних словах, произнесенных довольно чисто по-английски, Данглад, несмотря на торжественность положения, не мог удержаться от улыбки, которая была замечена Бриллиантом, потому что тут же последовал вопрос:

— Разве я смешна?

Этот прямой вызов несколько не удивил Данглада.

— Вовсе нет, — возразил он, — смешного в вас нет, но преувеличенная скромность, по-моему, есть. После того что я слышал, вы уж никак не затворница, а по тому, что я вижу, да будет позволено мне сказать, что жаловаться на бедность было бы с вашей стороны неблагодарностью...

Чианг-Гоа не спускала взгляда с Данглада, пока он говорил.

— Вы француз? — спросила она после того, как он замолчал.

— Вы угадали. — И, коснувшись рукой плеча д'Ассеньяка, Данглад продолжал: — Мой друг также француз, мы истинные французы — мы парижане.

— Парижане? — сказала китаянка, не подчиняясь желанию Данглада обратить ее внимание на своего приятеля, но, напротив, продолжая смотреть на него и адресуясь снова к нему. — Париж, говорят, великолепный город, в нем много прелестных женщин?

— Да, много.

— Почему же вы оставили его?

— Потому что наслаждения, доставляемые самыми близкими отношениями с прелестными женщинами, не достаточны, по-моему, для полного счастья в этом мире.

— Вы не любите женщин?

— Отчего же?.. Но я также люблю все великое, прекрасное и доброе...

— А! Это вас зовут Дангладом? Вы живописец?

— Да.

— У нас в Иеддо тоже есть живописцы. Встречались вы с кем-нибудь из них?

— Не имел еще этой чести.

— Могу ли я видеть ваши работы, ваши картины?.. И если я предложу вам хорошую цену...

— Я крайне сожалею, но во время путешествия я не пишу картин... Я делаю этюды... а этюды не продаю.

— А!

— Ты груб с Бутоном розы, — сказал вполголоса д'Ассеньяк по-французски своему другу.

— Это почему? — возразил последний тем же тоном. — Не думаешь ли ты, что я соглашусь украсить ее будуар одной из моих картин?! — И, обращаясь к Гунчтону, сказал громко по-английски: — Не пора ли, господа, уходить? А то покажемся нескромными...

— О! Прежде чем уйти, господа, выпейте со мной чашку чаю, — проговорила Чианг-Гоа, и предложение тотчас же было принято сэром Гунчтоном и д'Ассеньяком.

По знаку госпожи приблизились две молоденькие девушки, неся на красных лаковых подносах чашки чаю, сахарницы и пирожные.

— Быть может, вы предпочитаете мадеру или шампанское? — спросила Чианг-Гоа.

— Вы необыкновенно любезны! — воскликнул сэр Гунчтон. — Но я и мои друзья

только что пообедали у Наган Чинанона.

— Кто это?

«У нее такая же память на местных, смотрю, как и на иностранцев», — подумал Данглад.

— Нагаи Чинанона, — отвечал сэр Гунчтон, — один из самых богатых купцов квартала Аксакоста...

— Ах, да! Я припоминаю... Он, вероятно, был у меня?

— Это «вероятно» — прелесть! В Иеддо и в Париже, — заметил художник, — они друг друга стоят.

— Да помолчи же! — обронил д'Ассеньяк, подходя к своему другу, который, возвратив пустую чашку служанке, осматривал аквариум. — Вдруг она тебя услышит!..

— Ты хочешь сказать, вдруг поймет? Но так как она знает по-французски лишь несколько слов, то...

— Но что ты о ней скажешь?.. Не станешь же отрицать, что она изумительна!..

— Если тебе нравится — изумительна.

— Обворожительна?

— Если тебя это забавляет — ты прав.

— А тебя не занимает?.. Лгун! Да я держу пари, что ты уже выбираешь самый прекрасный цветок, чтобы предложить ей как залог твоего желания.

— Ты думаешь? Ну, если необходимо только мое желание, чтобы обокрасть этот цветник, то Бриллиант Иеддо может спать спокойно.

— Как? Тебе жаль каких-то пятисот франков, и ты отказываешься от наслаждения, которое...

— Мой милый Людовик, я не мешаю тебе поглотить это наслаждение, если тебе его дадут, что, впрочем, более чем вероятно... Но ты хорошо знаешь меня, чтобы убедиться, с каким трудом я возвращаюсь к своим прежним чувствам... Да, эта женщина хороша! Чрезвычайно хороша! Но она внушает мне восхищение, а не желание... Не плата за ее поцелуи, а сами эти поцелуи мне отвратительны. Я не хочу их.

Пока два друга беседовали таким образом, сэр Гунчтон, стоя подле эстрады, тихонько перебрался несколькими словами с Чианг-Гоа. Куртизанка как-то по-особенному махнула веером.

Это был знак трем служанкам об окончании приема, и вскоре они подали иностранцам их шляпы, которые были взяты у них при входе в зал.

После этого они встали справа от двери в цветник. В этот момент Гунчтон сорвал камелию. Д'Ассеньяк — более скромный — фиалку. Данглад достал из кармана три пиастра.

Сэр Гунчтон вежливо предложил кому-то одному из друзей первым подняться на эстраду и положить символический цветок на колени Бриллианту Иеддо.

Д'Ассеньяк исполнил это не без смущения. Можно смело сказать, что граф был очень смущен, приближаясь к Чианг-Гоа.

Она, однако, мило и грациозно ему улыбнулась. Также улыбнулась она и сэру Гунчтону.

Но улыбка тут же исчезла с ее лица, когда Данглад, важно поклонившись ей, догнал своих товарищей на пороге залы и разделил между служанками три золотые монеты. Отдавая последний пиастр и уже готовясь последовать за сэром Гунчтоном и д'Ассеньяком, Данглад мельком бросил взгляд на Чианг-Гоа.

«Я считаю себя не трусливее других, — говорил он нам впоследствии, — но признаюсь, что одного этого беглого взгляда было достаточно, чтобы прочесть на лице куртизанки явную мне угрозу... Ибо я прочел на этом лице вот что: «Ты презираешь меня — и заплатишь за это!..»

Возвращаясь со своим другом и сэром Гунчтоном в квартал Танакавы, местопребывание большинства европейских миссий в Иеддо, Данглад должен был выслушивать иронические комплименты своих спутников насчет его целомудрия.

— Вы, право же, пуританин, — сказал ему Гунчтон, — я преклоняюсь перед вашей добродетелью. Отказаться от такой сирены, как Чианг-Гоа, по-моему, более чем храбрость — это героизм!

— А может, все проще? — воскликнул д'Ассеньяк. — Может, мой друг Данглад просто отказывается принести в дар красоте этой азиатской гурии свои пятьсот франков?

— Это достойно похвалы, — сказал сэр Гунчтон, — ибо после того интереса, какой она проявила к его персоне, он мог быть уверен, что его дар был бы принят чрезвычайно любезно... Что-то заставляет меня предполагать, что вы, милостивый государь, имели какие-то особые планы относительно Чианг-Гоа.

— Именно! Ты, Эдуард, просто соблазнял ее! Это так и бросалось в глаза! Она глаз с тебя не сводила!

— А все ее расспросы насчет вас? Конечно, то, что она, разузнавая про вас, обратилась ко мне, чего-нибудь да стоит, — заметил сэр Гунчтон, — но что это в сравнении с той любезностью, какую она оказывала вам!

— И за которую ты так хорошо отблагодарил ее, бедняжку! Чего тут еще говорить! — укоризненно произнес д'Ассеньяк.

— Говорить есть о чем, — продолжал сэр Гунчтон. — Пока вы там осматривали аквариум, она засыпала меня вопросами: откуда этот француз? Долго ли пробудет в Иеддо?..

— Богат ли он?

— Нет! Клянусь всеми святыми, Данглад, Чианг-Гоа ни слова не сказала про это...

— Пусть так, но что бы она ни сказала и как бы вы ни потешались надо мною, я не желал и не желаю иметь ее. И до визита к ней и после него я все равно держусь своих убеждений, и пусть она служит своим богам. У меня свои — я служу своим... Но вот мы и дома! В любом случае, благодарю вас, Гунчтон, и до завтра!

На другой день, ожидая ответа от Бриллианта Иеддо, д'Ассеньяк не хотел выходить из дому.

— Понимаешь ли, — говорил он своему другу, — вдруг один из ее лакеев или служанка принесет в мое отсутствие заветное слово, назначающее мне свидание, и это будет очень неприятно. Посыльный, не найдя меня, быть может, вернется с письмом назад.

Страдая невралгией, Данглад охотно согласился остаться дома.

Между тем день угасал, но никто не являлся от Чианг-Гоа объявить любезному графу, что его ждут.

У д'Ассеньяка вытянулось лицо.

Данглад хохотал.

— Нечего смеяться! — вскричал граф. — Если прекрасная Чианг-Гоа отказывается принять меня, так это твоя вина.

— Как моя вина?

— Конечно!.. Ты повернулся к ней спиной, она сердится на меня за твою невежливость.

Она мстит мне за твое презрение...

— Упрек твой странен, — сказал Данглад. — Но теперь, вот увидишь, начиная с этого времени, как только ты встретишь женщину, которая тебе понравится, я буду любезничать с нею одновременно с тобой.

— Да нет же!.. Ты перевертываешь вопрос!.. Не в том дело!.. А если тебе пойти только из любопытства, в качестве художника, как говорил Гунчтон... Разве тебе было бы трудно?..

— Домогаться чести быть одним из пятисот или шестисот любовников Бриллианта Иеддо? Конечно, трудно, потому что я бы согнулся под тяжестью этой чести. Но ты сердисься, мой милый Людовик, ты печалишься и обвиняешь меня в своих страданиях. А ты не подумал, что кто-то другой может быть причиной задержки с ответом?..

— Другой? Кто?

— Да хоть бы сэр Гунчтон. Любовь?.. Нет не станем профанировать этого слова! Неужели же до такой степени расстроился твой мозг, и ты забыл, что сэр Гунчтон — твой соперник? Ты объяснился фиалкой, он — камелией... Что, если ей больше понравился последний цветок, чем первый? Тогда все очень просто: она предпочла одного за счет другого. Так где же моя вина? Без сомнения, настанет и очередь фиалки, но только после камелии. К тому же, когда платят пятьсот франков за одну ночь наслаждения, а кто-то и больше, можно потерпеть.

Д'Ассеньяк замолчал. Насмешка его друга задела его. Д'Ассеньяк в глубине души понимал, что отчаяние его безутешно.

Но вдруг он радостно воскликнул, ибо в комнату вошел сэр Гунчтон.

— Ну что? — вскричал граф, бросаясь навстречу англичанину.

— Я пришел узнать, — сказал тот, — счастливее ли вы меня?

— Счастливее ли? Что это значит? У вас нет новостей?

— Нет, я получил вести, только плохие. Вот что сегодня утром мне передали от Чианг-Гоа... Смотрите...

Сэр Гунчтон подал д'Ассеньяку лист бумаги, на котором было написано китайскими чернилами по-английски два слова:

«К сожалению!.. Ч.Г.»

— К сожалению?.. К сожалению! — повторял д'Ассеньяк. — Что это значит?

— Все ясно, — сказал сэр Гунчтон с натянутой улыбкой. — Это значит, что Чианг-Гоа отклоняет мою просьбу подарить мне ночь любви.

— Да? Вы так полагаете? — произнес д'Ассеньяк с плохо скрываемой радостью, ибо правду говорят, что в несчастье наших друзей всегда есть для нас что-то радостное. Неудача его соперника смягчила тревогу д'Ассеньяка, и он подумал, что Чианг-Гоа отказала сэру Гунчтону, желая сохранить себя для д'Ассеньяка. Самолюбие, где ты прячешься?..

— А вам, граф, не присылали посланий? — поинтересовался сэр Гунчтон.

— Нет. Я жду.

— Он решил ждать до второго пришествия, — смеясь, сказал Данглад.

— Я не стану препятствовать д'Ассеньяку, — признался сэр Гунчтон. — Хоть и изгнанный из рая, я, испытавший там всю обещанную сладость, поищу ее в другом месте. Вы, Данглад, ничего не ждете — не хотите ли поехать с нами в Бентен? Едем я, лорд Мельграв, сэр Вэльслей — дня на три.

Данглад отрицательно покачал головой.

— Благодарю вас, — сказал он. — Раз уж моего друга держит на берегу жажда

удовольствий, то обязанности дружбы удерживают здесь и меня. Счастливым или нет, принятый или отвергнутый, Людовик не будет брошен мною в одиночестве в Иеддо.

— Что правда, то правда, — заметил сэр Гунчтон. — Орест и Пилад не расстаются... Итак, господа, сегодня вторник, я буду иметь честь видеть вас или в четверг вечером, или в пятницу утром...

— Господа! Господа! — вскричал д'Ассеньяк. — Не ошибаюсь ли я? Эта молоденькая девушка, которая сходит с носилок перед нашим домом, принадлежит Чианг-Гоа?..

Данглад и Гунчтон подошли к нему.

— Кажется, — сказал Данглад.

— Да, конечно, — сказал сэр Гунчтон, — это одна из служанок Чианг-Гоа, та же самая, которая была у меня утром. Но тогда она была в канчо, а теперь в норимоне. Признак победы, граф... Вы приняты. Служанка проведет вас к госпоже.

Д'Ассеньяк не дослушал. Он уже был возле японки, из рук которой взял письмо и тотчас же его распечатал. Вот что писала ему куртизанка:

«Графу Людовику д'Ассеньяку. Приходите! Чианг-Гоа.»

— Я принят!.. Принят! — вскричал он. — Прочтите, господа! Она говорит мне: «Приходите!» Вы были правы, сэр Гунчтон, норимон был хорошим признаком. До свидания, господа!.. До свидания, Эдуард!.. До завтра!

Без ума от своей победы, д'Ассеньяк пожал руки друзьям, называя сэра Гунчтона Эдуардом, а Эдуарда сэром Гунчтоном.

Последний попробовал было бросить каплю холодной воды на эту излишне пылкую радость.

— Полно, — сказал он тихо своему другу, — успокойся немного! Ты точно школьник, в первый раз отправляющийся на свидание. Честное слово, ты бесчестишь флаг Франции.

— Смеюсь я над Францией! — непочтительно возразил граф. — Что такое Франция? Во всем мире одна только страна — Япония! И одна женщина — Чианг-Гоа! Эта женщина зовет меня. Она пишет мне: «Приходи!» Я лечу! Прощай!..

И он бросился к носилкам, которые быстро удалились, несомые четырьмя сильными носильщиками.

— Но, — сказал Данглад сэру Гунчтону, вместе с ним видевшему всю эту комичную сцену, — не будет ли благоразумнее, если наша стража будет охранять моего друга до Чианг-Гоа?

— Бесполезно, — ответил англичанин. — Носильщики Бриллианта Иеддо известны всему городу. Никто не осмелится напасть на них. — И, поклонившись художнику, добавил: — Что ж, если мне не удалось сделать приятное лично для вас, то я рад, по крайней мере, что доставил полное удовольствие вашему другу. Его радость так горяча и непосредственна, что мешает мне ревновать, даже если бы я был сильно ревнив.

Данглад пожал плечами.

— Д'Ассеньяк — большой ребенок! — сказал он. — И вы уверяете, сэр Гунчтон, что этому ребенку нечего опасаться?

— Да что же может с ним случиться, кроме того, что предвидится? Он отправляется ужинать к прекрасной китаянке. Потом... Завтра утром вы его увидите радостнее, чем когда-либо, возвратившимся с рассказами о восхитительной ночи... Вот и все!.. Спите же с миром. Есть одна опасность, которой может подвергнуться граф этой ночью! Но эта опасность самого сладостного сорта...

Сэр Гунчтон удалился, оставив Данглада наедине с его печалью. Печального в первый раз после двухлетнего путешествия со своим другом.

Была ночь...

Он стоял, облокотившись на окно, зажав в губах потухшую сигару; сколько времени провел он в этом меланхолическом состоянии — он не знал. Но его вывел из него неожиданный случай.

От земли до окна, у которого стоял Данглад, было около двух метров. Вдруг — непонятно как — перед ним появилась фигура, почти у самой оконной решетки. При ее внезапном появлении Данглад машинально попятился назад.

Но чей-то голос сказал по-английски:

— Вы Эдуард Данглад?

— Я.

— Вам письмо от Чианг-Гоа.

Письмо от Чианг-Гоа?! Сомнения Данглада рассеялись. Значит, приглашение куртизанкой д'Ассеньяка было ловушкой, средством.

Через секунду художник читал при свете лампы:

«Ваш друг у меня, но я не люблю его; я люблю вас. Если не ради меня, то ради него — приходите!.. Чианг-Гоа».

Спустя еще минуту Данглад был уже на улице и крикнул посыльному: «Я иду за тобой!» Посыльный был одним из лонинов, голова у него была обвязана черным крепом так, что виднелись только глаза. Посыльный свистнул, на этот свист появился другой бандит, ведя под уздцы лошадей. Данглад не колебался и вскочил на лошадь. Меньше чем через четверть часа он остановился со своим проводником у дверей дома Бриллианта Иеддо.

Войдя к Чианг-Гоа, Данглад не знал, что ему делать. Он знал только, что д'Ассеньяк находится в опасности, что он или спасет его, или умрет вместе с ним.

Как только его ввели к куртизанке, но не в зал, где она принимала гостей накануне, а в будуар, которому позавидовала бы любая парижанка, Данглад грозно спросил ее:

— Где друг мой? Где он?

Но не проговорил еще он этих двух фраз, как понял по улыбке Чианг-Гоа, что его гнев и угроза бесполезны.

Она была еще прекраснее, чем вчера, в костюме из газа и розовой материи, едва покрывавшем ее пышные формы, в костюме, предназначенном для глаз одного счастливица, а не для взоров любопытной толпы зрителей.

О! Как она была прекрасна, когда, приближая свои уста к лицу художника так, что они почти касались его губ, она тихо и нежно проговорила:

— Ах, вы не хотите меня любить?

Нужно было быть святым, чтобы не задрожать сладостно при звуке этого голоса, при прикосновении этих уст, дышащих ароматом.

Данглад не был святым. Он не лгал: он гнушался куртизанок. Но Чианг-Гоа была ли куртизанка? Говорит ли когда-нибудь куртизанка, как сказала она в эту минуту: «Я люблю тебя!»

Данглад закрыл глаза и замер от поцелуя обольстительной женщины.

Однако, несмотря на любовь, верный дружбе, он прошептал:

— Но д'Ассеньяк?.. Где же он?

— Со мной! — ответила Чианг-Гоа.

— С вами? — повторил остолбеневший Данглад.

Она возразила:

— Вы не понимаете!.. Я объясню вам...

И она удалилась.

— Вы уходите? Куда же? — вскричал Данглад.

Восхитительным жестом, который значил: «Не бойся!.. Я не уйду от тебя!.. Я твоя!.. Вся твоя!..» — она успокоила его.

Прошло пять минут.

Данглад ходил по будуару, как лев в клетке. И о ком, о чем он думал эти пять минут? Уж не беспокоился ли о положении своего друга? Гм!.. Не думаем!..

Наконец появилась камеристка и знаком пригласила его следовать за ней.

Он шел за нею по длинному извилистому коридору до двери, которую она отворила перед ним.

Он вошел в таинственно освещенную комнату, в глубине которой на постели лежала женщина. Она протянула к нему руки для объятия, говоря: «Вся твоя!..»

Он кинулся к постели.

Но в ту же минуту комната наполнилась светом и раздался смех, заставивший Данглада обернуться...

О удивление!.. Сзади смеялась Чианг-Гоа.

Но кто же была женщина, лежавшая на постели и сказавшая голосом Чианг-Гоа: «Вся твоя»? Кто эта женщина?

Это была просто-напросто служанка прекрасной китайки — молодая японка, необыкновенно искусно подражавшая голосу своей госпожи.

Все объяснилось!.. Данглад понял все. Для туземцев существовало три или четыре Чианг-Гоа, как и для распутных и великодушных иностранцев.

Д'Ассеньяк, подобно многим до него, не подозревая обмана, проводил ночь с ее копией. С одной из стразов, искусно подделанных под бриллиант.

Один только Данглад обладал истинной Чианг-Гоа...

Какая ночь!.. У Данглада были любовницы, любимые и любившие. Но все, что сладострастие имеет утонченного и изысканного, все, что мог он узнать из этой поэзии чувств, называемой любовью, было ничтожно в сравнении с теми сокровищами, которые ему подарила Чианг-Гоа.

Но у Данглада была душа. У Чианг-Гоа было сердце и — даже более деликатное, чем можно бы предположить у женщин, воспитанных, подобно ей, самым материальным образом.

Чианг-Гоа сожалела о том, чем она была, она сожалела инстинктивно, не объясняя себе мерзости своего ремесла.

Да и как она могла объяснить себе это: никто никогда не говорил ей, что это ремесло отвратительно...

— И никто не сомневался в твоей хитрости? — спросил Данглад.

— Никто, — отвечала она. — Даже и европейцы обманывались. И это понятно. Во-первых, как ты мог заметить, комната, в которой думают найти меня, освещена очень слабо. Потом, прежде чем они входят в эту комнату, я даю им выпить в чайной чашке шампанского, несколько капель ликера, который, не повреждая рассудка, мгновенно слегка отуманивает.

— Но я не пил этого ликера?

— Зачем же тебе его пить?

Данглад расспросил Чианг-Гоа о ее детстве, о том, справедлив ли рассказ о ее жизни, и тому подобное; она подтвердила все, говоря, что знает об этом от посторонних, а сама ничего не помнит.

Она долго и много рассказывала ему. Она говорила ему о своем младенчестве, о том, как из нее хотели сделать жрицу, как она... Данглад прервал ее на полуслове...

Сам Геркулес уснул на груди Омфалы.

Когда поднялась завеса дня, Данглад заснул в объятиях Чианг-Гоа.

Когда он открыл глаза, он был один.

Он взглянул на свои часы: было четыре часа...

Самый смысленный имеет свою слабую сторону. Слабая сторона Данглада заключалась в самолюбии.

— Без сомнения, — говорил он самому себе, — д'Дасеньяк еще спит теперь где-нибудь в этом доме. Если б я мог раньше него вернуться домой, это избавило бы меня от необходимости лгать.

Рассуждая таким образом, Данглад соскочил с постели и стал одеваться, когда вошла молодая японка, при виде которой он не мог удержаться от улыбки, вспомнив, что, быть может, это та самая Чианг-Гоа, с которой его друг разделял наслаждения ночи и которая снова вступила в обязанности служанки.

— Вера превыше всего! — заключил Данглад.

Он последовал за служанкой, которая, как он полагал, имела приказание проводить его к госпоже. И в самом деле, Чианг-Гоа дожидалась его на одной из террас, уставленной цветами, с которой открывался вид на бухту Иеддо.

Вследствие поэтической фантазии, ради прощания с тем, с кем она ночью говорила о своей родной стране, Чианг-Гоа надела свой национальный костюм. Он созерцал ее в восхищении. В китайском костюме, с кокетливо нескромным корсажем, это была новая женщина.

— Вы хотите, чтобы я грустил о вас? — спросил он.

— Я хочу, чтобы вы не так скоро забыли обо мне.

С минуту оба они оставались задумчивыми и безмолвными, наконец, сорвав ветку жимолости, она подала ее ему и сказала:

— Возьмите. И если я не покажусь вам очень требовательной, то взамен этого цветка, как воспоминание обо мне, вы мне дадите, как воспоминание о вас...

— Что?

— Это...

Она глядела на перстень, совершенно простой, который Данглад носил на мизинце левой руки. То было также воспоминание — подарок его первой любовницы.

Но разве можно было отказать?

И кольцо, подаренное парижанкой, перешло на пальчик Чианг-Гоа.

— Благодарю! — радостно сказала она и потом добавила: — Не советую вам откровенничать насчет того, что вы узнали этой ночью. Скажу лишь, что, если бы кто-то из вельмож Иеддо вдруг узнал, что был мною обманут, завтра же меня нашли бы мертвой.

— Не бойтесь! — живо возразил Данглад. — Даже мой друг ничего не узнает. И именно потому я хочу раньше его оставить ваш дом. Встретив меня уже в квартире, он не подумает, что...

— Вы провели ночь со мной. Я предвидела ваше желание и распорядилась так, чтобы господин д'Ассеньяк проспал долее вашего.

Данглад проявил беспокойство.

— О! — продолжала Чианг-Гоа, — мое средство вовсе не опасно. Это просто аромат, который сожгли в его комнате. Как только откроют окно, аромат улетучится и он проснется без страданий. Прощайте же! Когда вы оставляете Иеддо?

— Дня через три или четыре.

— Через три или четыре дня! Мы могли бы, если б вы желали... но за мной шпионят... я боюсь...

— Нет!.. Нет!.. Ночь, подобная нынешней, не повторится!.. Прощай навсегда, Чианг-Гоа.

— Навсегда? Кто знает?!..

— Как?..

— Глупости! Не придавай значения моим словам!.. Прощай!.. Я люблю тебя! — И последовал последний поцелуй, заглушивший эти слова.

Готовясь уйти, Данглад был остановлен мыслью о том, платить или не платить пятьсот франков. Платить было неловко: она отдалась ему по любви. Не платить — тоже. Он отыскал середину: уходя, бросил служанке кошелек с золотом, сказав:

— Возьми, милая, и купи себе безделушек.

Копия вскрикнула от радости.

Оригинал поблагодарил нежной улыбкой.

Вскоре д'Ассеньяк и Данглад возвратились во Францию. Когда они уезжали из Иеддо, три вздоха вылетели из трех уст. Эти вздохи были вздохами воспоминаний. Д'Ассеньяк и сэр Гунчтон вспоминали о куртизанке, Данглад — о женщине.

ЭПИЛОГ

Все это происходило в 1863 году.

В 1867 году Эдуард Данглад получил записку. Податель ожидал ответа. Данглад быстро сломал печать. Но едва он прочел подпись, как выражение нетерпения сменилось невыразимым удивлением.

Письмо было от Чианг-Гоа.

Чианг-Гоа была в Париже!.. Она жила в большом отеле.

Вот содержание письма, написанного по-английски:

«Друг!..

Когда ты мне сказал «Прощай навсегда!», помнишь ли, что я ответила тебе: «Кто знает?» И когда, изумленный моим восклицанием, ты спросил объяснения, я отвечала: «Безумная мысль!.. Не обращай на меня внимания!» Мой друг, эта безумная идея стала серьезной вещью. Уже четыре года я мечтала о приезде во Францию; представился случай, и я им воспользовалась: я отправилась в свите Тайкуна... Я во Франции... Я в Париже!..

Хочешь ты пожать мне руку? Я буду тебе благодарна!

Чианг-Гоа».

Прочитав эти строки, Данглад без размышлений написал ответ Бриллианту Иеддо:

«Сегодня вечером, в девять часов, я буду у тебя...»

Ровно в девять часов, подобно кредитору, которому обещали заплатить, художник

явился в отель, где спросил Чианг-Гоа, находившуюся в свите Тайкуна.

Поскольку она распорядилась заблаговременно, его сразу же провели в номер. Чианг-Гоа сидела в кресле в небольшом зале. Когда Данглад вошел, она встала и протянула ему руки.

Художника поразило то, с какой тщательностью было закрыто ее лицо и как скупой был освещен зал — одной лишь лампой под абажуром где-то в углу.

По примеру японских бандитов, верхняя часть ее лица была закрыта черным крепом, и, кроме того, как будто этот вид маски казался ей недостаточным, она носила еще и вуаль, тоже черную, ниспадавшую по крайней мере на палец ниже глаз.

Надо было услышать и узнать голос, чтобы удостовериться, что этот призрак на самом деле прекрасная Чианг-Гоа.

— Вы очень любезны, что явились, — сказала китаянка французу. И, показав ему руку, добавила: — Смотрите, ваше кольцо со мной... А ветка жимолости?..

— Она у меня.

— Правда?..

— Клянусь! Она засохла, увяла, но...

— Все — увы! — увядает...

— А когда вы приехали?

— Вчера.

— Как долго будете?

— Месяц или два. Это будет зависеть от Тайкуна.

Наступило молчание. Данглад чувствовал себя стесненным тем, что повязка и вуаль заслоняли от него лицо молодой женщины, но не осмеливался, хотя и очень хотел, спросить ее о причине столь необычной предосторожности. Он подозревал, что причина серьезная, быть может, жестокая...

— Зачем ты так прячешь свое лицо, Чианг-Гоа? — спросил он, смущаясь.

— Моя юность, мой друг, улетела!.. Я теперь старуха... Я увяла, как та ветка жимолости, которую я дала вам в Иеддо. О! Женщины недолго молоды под нашим небом. В Европе, говорят, время уважает их... Они еще прекрасны, их любят и в тридцать, и даже в сорок лет. В восемнадцать — нам уже пятьдесят и на нас больше не смотрят... Но я злоупотребляю вашим временем. Вас, быть может, ждут. Прощайте! Теперь уж навсегда... Я поступила как эгоистка... захотела вас увидеть... увидела вот и буду счастлива... Простите меня!

Вместо ответа Данглад наклонился к китаянке. Лампа была далеко. На секунду его уста слились с устами Чианг-Гоа, и в этот миг она подумала, что еще достойна любви... что она еще молода и прекрасна...

ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА

Борджиа!.. Сколько страшных воспоминаний пробуждает в нас это имя — воспоминаний разврата, кровавых воспоминаний!

Они сосредоточиваются в особенности на трех именах: Родриго Ленцуэло Борджиа, бывшего папой под именем Александра IV, его сына Чезаре Борджиа, герцога Валентинуа, и Лукреции Борджиа, его дочери.

Родриго Ленцуэло Борджиа родился в Валенсий в Испании в 1431 году. По отцу он происходил от Ленцуэло, по матери — от Борджиа. Умный и ученый адвокат, он сначала блистал на этом поприще. Потом, как человек храбрый, отличился в армии. Но, когда умер его отец, оставивший ему громадное состояние, он неожиданно посвятил всю свою жизнь наслаждениям...

В это время он был любовником одной вдовы по имени Елена Ваночча, только что прибывшей из Рима в Валенсию с двумя дочерьми. Вдова эта заболела, и Родриго поместил старшую дочь, которая была дурна собой, в монастырь.

Младшая дочь — Роза Ваночча — была восхитительно прекрасна! Она стала потом его любовницей.

От этой любовницы за пять лет он имел пятерых детей: Франческо, Чезаре, Лукрецию и Джифри; имя последнего неизвестно, так как ребенок умер еще в колыбели.

Прошло, таким образом, пять лет, в течение которых Родриго, оставив общественные занятия, жил совершенно счастливо и весело. Вдруг он узнал, что его дядя, Альфонс Борджиа, сделался папой под именем Каликста III. При этой новости дремлющая гордость Родриго проснулась. Дядя очень любил его. Не было сомнения, что по милости дяди он может достигнуть всяческих почестей. Скрывая свои желания, он послал дяде простое поздравительное письмо. Черта эта поразила нового папу. После возвышения его окружили друзья и родные, просившие милостей: один только не просил ничего.

«Приезжай немедля, — писал он Родриго. — Твое место подле меня, в Риме».

Родриго не заставил повторять приглашение.

Между тем, прежде чем уехать, он имел серьезное объяснение с любовницей.

Был вечер. Дети спали.

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказал Родриго, садясь рядом с Ваноччей.

— О чем?

— Ты любишь меня?..

Она взглянула ему в лицо.

— Разве я не доказала тебе? — возразила она.

— Да, — ответил он, — ты доказала, но настала минута доказать еще больше.

Она странно улыбнулась.

— Больше — трудно! — ответила она.

— Полно! — вскричал Родриго с нетерпением. — Дело не в прошлом, а в настоящем и будущем. Имеешь ли ты силы страдать в настоящем, чтобы сделать великолепным будущее?

Роза Ваночча вздрогнула.

— Ты хочешь меня оставить? — вскричала она.

— Я не хочу, но должен, — ответил Борджиа. — Дядя мой стал папой. Он любит меня как сына и призывает к себе. Он осыплет меня почестями и богатством. Понимаешь? От

меня зависит быть первым после высшего правителя царей и народов... Быть может, когда он умрет, я взойду вместо него на мировой трон. И когда передо мной открывается такая будущность, когда передо мной открываются двери Ватикана, ты сама назвала бы меня глупцом и безумцем, если б я остался здесь.

Ваночка закрыла лицо руками как будто для того, чтобы отдаться размышлениям. Она оставалась безмолвной несколько минут и наконец открыла свое бледное и решительное лицо.

— Ты прав, — сказала она. — Прежде всего твоя карьера. Ступай!.. Но что станет со мной и с детьми?..

— Я думал об этом, — продолжал Родриго. — Я все предвидел. Но отказаться ни от тебя, ни от детей я не хочу. Я уезжаю сегодня же вечером. Завтра ты и дети, под присмотром Мануэля, отправитесь в Венецию. Там вы будете жить и получать каждый месяц необходимые деньги... Конечно, Венеция далеко от Рима, но это все-таки Италия, и, как знать, может, в результате самих моих обязанностей я смогу приезжать к вам, чтобы сказать: «Я все еще люблю и помню о вас!..» Терпение, Ваночка, долгое терпение!.. Но если я успею, а я успею, клянусь тебе, чтоб удовлетворить вас, я разорю двадцать принцев и двадцать провинций и отдам вам!..

Ваночка бросилась на шею любовнику с воплем радости и печали.

Затем они вместе отправились в комнату, где спали дети. Родриго поцеловал всех пятерых в лоб.

Наконец, сжав возлюбленную в своих объятиях, он сказал:

— Прощай!..

Но, вместо того чтобы ответить на это прощание, она странно взглянула на него. Он изумился.

— Что с тобой? Что ты хочешь сказать мне?..

— Ничего, — ответила она. — Но ты, прежде чем отправиться, не попросишь ли себе чего-нибудь, что может быть тебе полезно?..

— А! — воскликнул он, ударя себя по лбу. — Дай!.. Дай!..

Ваночка вошла в спальню, открыла спрятанным на груди ключом ящичек, из которого вынула пузырек с жидкостью желтоватого цвета, и подала его Родриго, который заботливо завернул его в платок, чтобы он не разбился по дороге в кармане.

Что же содержал в себе этот пузырек? Какое-нибудь лекарственное снадобье против всех болезней?.. Да!

Тот, кто раз испробовал его, никогда уже не нуждался в помощи доктора...

А как называют это всеисцеляющее лекарство?

Оно еще не имело названия, но после было названо ядом Борджиа.

Прежде чем стать любовником Розы Ваночки, Родриго Борджиа был любовником ее матери Елены. Елена была очень хороша собой, но не так, как ее дочь. Родриго до такой степени влюбился в последнюю, что предложил ей похитить ее.

Но у Розы были свои, очень странные принципы.

— Вы мне нравитесь, очень нравитесь, — отвечала она Родриго, — но пока жива мать, я не буду принадлежать вам.

Елене Ваночке было тогда еще тридцать пять лет, следовательно, ответ Розы был полным отказом... Но не для Родриго. Когда она произнесла последние слова, ему показалось, что в глазах молодой девушки сверкнула молния.

— Но вы любите вашу мать, — сказал он ей, — вас огорчит ее потеря...

— Я любила мать, — глухим голосом возразила Роза, — но с тех пор как она убила моего отца, я ее не люблю...

Ответ этот напомнил Родриго, что муж Елены был изменнически убит и что только благодаря связям ни Елена, ни ее любовник Ригаччи не были преданы суду. Один уехал на время в Англию, другая — в Испанию. Но остался живой свидетель преступления — Роза, которая видела, как во время борьбы с любовником жены отец был поражен сзади кинжалом рукой ее матери. Но никогда, ни одним словом она не дала понять, что ей известны все обстоятельства этого убийства, хотя Роза ни на минуту не забывала и не прощала матери ее преступления.

Родриго решил, что мать Розы не должна жить...

Однако Родриго Борджиа находился в затруднительном положении: как привести в исполнение свое решение? Он решился на убийство, но — как убить? Это было его первое преступление. Он не колебался, он искал способ.

Вернувшись домой после разговора с Розой, он на всякий случай наполнил карманы золотом.

Сначала он хотел обратиться к одному господину, известному во всей Валенсии, чтоб тот покончил с Еленой ударом кинжала. Но Сальвадор Босмера, занимавшийся ремеслом убийцы, был болен. Простой погонщик мулов не принял Борджиа.

— Черт побери, это плохо! — говорил самому себе Родриго, удаляясь от жилища Босмера. — Если б я мог хоть на минуту увидеть этого каналью, быть может, он назвал бы мне кого-нибудь другого... Что делать?

И, размышляя таким образом, Родриго, сам того не замечая, очутился на дороге к Граи, маленькой деревне, в получасе ходьбы от Валенсии. На этой дороге рос лесок. Проходя мимо, Родриго услышал смешанный говор. Из любопытства он проник в рощу. Там он застал цыган за каким-то пиром. Его появление показалось им не совсем приятным.

С приходом молодого испанца люди и животные подняли шум и лай.

Но Родриго испугать было трудно. Напротив, встреча с цыганами его развеселила. Возникло предчувствие. Будущий любовник Розы Ваночки нашел здесь то, чего искал, так как цыгане, эта бродячая раса, занимались с незапамятных времен всеми ремеслами, кроме хороших.

— Кто здесь главный? — спросил Родриго. — Я хочу сделать ему честь моим разговором.

Величие всегда влияет на массы. Среди цыган наступило молчание. Даже собаки перестали лаять. Один из цыган встал. Это был человек лет пятидесяти, у которого не было левой руки.

— Я главарь, — сказал он. — Что тебе нужно?

— Я скажу тебе одному, и чтобы ты не подумал, что напрасно потеряешь время, возьми этот кошелек. Я дам еще столько же сейчас, если буду тобой доволен, и еще вдвое, если послезавтра буду убежден, что мое довольство тобой было неложно.

Родриго еще не кончил своей речи, как по знаку старого главаря вся банда скрылась, как по волшебству. Тогда главарь приблизился к молодому испанцу и, почтительно поклонившись, сказал:

— Приказывай! В этом и будущем мире Евзегир душой и телом, с руками и ногами принадлежит тебе.

Родриго улыбнулся.

— С ногами, пожалуй, верно, что же касается рук, ты, кажется, преувеличиваешь... мой бедный Евзегир.

— Предлагают то, что имеют, — отвечал цыган. — Счастье еще, что одна спасена жертвованием другой.

— Из-за раны, видать, которую ты получил, совершая какое-нибудь скверное дело?

Цыган отрицательно покачал головой.

— Впрочем, — заметил Родриго, — это меня вовсе не касается. Я не желаю знать, где потеряна тобой левая рука, лишь бы правая послужила мне. Вот в чем дело: мне мешают. Если бы это был мужчина, я убил бы его. Но это женщина... Между тем я хочу, чтобы эта женщина умерла. Ты должен иметь в своем распоряжении средство освободиться даже от женщин — средство, не оставляющее следов, по возможности такое, которое не заставляло бы страдать... Вы мастера в этом деле... Понимаешь, чего я требую?..

Старый цыган поклонился.

— Совершенно, — отвечал он. — Вам нужен яд?..

— Ты угадал. Есть он у тебя?..

— Есть, но не годится для вашей светлости. Кто хорошо платит, тому должно и служить хорошо. Но я смогу иметь через несколько минут такой яд, подобный которому не составит и ученый. Удар грома под видом капли жидкости. Но извините. Вы мне сказали, что если будете мной довольны, то завтра дадите вдвое против того, что дали сейчас.

— Да.

— А где я найду вас, чтобы получить заслуженную плату?

— О! О! Ты человек предусмотрительный!..

— Я и мои братья — бедны, и когда нам представится случай добыть на хлеб, сознайтесь, мы совершили бы страшную глупость, если б не воспользовались случаем. К тому же, если б я обманул вас, если б яд, который я хочу дать вам, уверяя, что он верен, быстр и не оставляет никакого следа, оказался ниже своего достоинства, вы совершенно вправе не явиться на свидание... Но я спокоен! Ты не только явишься для того, чтобы заплатить мне, но и для того, чтобы получить от меня рецепт этого яда — великолепный рецепт, оставленный моим дедушкой, который он достал в Индии.

— Хорошо! Послезавтра в восемь часов вечера будь в Аламеда... Но все это слова, где же яд?..

— Его еще нет, но он сейчас будет. Не забудьте. Я просил вас подождать несколько минут. Кто умеет ждать, тому все дается.

Произнося последние слова, главарь цыганской шайки вынул из кармана маленький металлический ящик, наполненный белым порошком. Взяв две чайные ложки этого порошка, он смешал его с несколькими кусками говядины и сделал катышек величиной с куриное яйцо. Этот катышек он бросил свинье, сказав:

— Ешь и умри!..

Катышек еще не коснулся земли, как был проглочен.

Однорукий повернулся к Родриго.

— Я ее все-таки предупредил, — сказал он. — Не моя вина, если с ней случится несчастье, не правда ли?

Родриго сдвинул брови.

Старый цыган нахмурился.

— Эта свинья могла целый месяц служить нам пищей, а через минуту она будет годна только на то, чтобы закопать ее в землю. Полагаете, что я пожертвовал ею лишь для того, чтобы посмеяться над вами?

— Для чего же?..

Одним жестом Евзегир прервал Родриго.

— Время приближается, — сказал он, — смотрите. Животное начинает страдать, и эти ее страдания доставят вам через несколько минут то, что мы желаем... Смотрите. Смерть произойдет из смерти, и смерть такая, какую вы желаете... быстрая, неумолимая... Смотрите!

В самом деле, свинья, лежавшая спокойно на траве, начала испускать почти что человеческие вопли. Вскоре страдания ее стали так сильны, что животное вскочило, но ноги были уже не в состоянии поддерживать ее тело, она перевернулась раза три и тяжело упала.

Цыган немедленно сделал круглую петлю из веревки и набросил ее на задние ноги животного, потом, перебросив другой конец веревки через толстый дубовый сук, приподнял свинью аршина на два от земли.

Через несколько секунд начались конвульсии, такие сильные, что от них дуб гнулся, как тростник.

Наступила минута окончания работы.

«Смерть произойдет от смерти», — сказал цыган, и он не солгал. Пена, истекавшая из пасти животного, собиралась цыганом на медное блюдо и, перелитая потом им во флакон, переданный Родриго, была смертельным ядом.

Порошок, смешанный с говядиной, был обычный яд — мышьяк.

Слюна отравленной свиньи была чистейшим ядом.

— Ты еще сомневаешься? — сказал, перейдя на «ты», цыган Родриго. — Быть может, для опыта ты хочешь убедиться в могуществе этого яда?.. Вот доказательство.

И быстрым движением цыган сбросил с себя плащ.

— Знаешь ли, почему я сам велел отрубить эту руку? Потому что десять лет тому назад, готовя яд, я имел неосторожность позволить свинье укусить кулак... Не прошло пяти минут, как рука моя распухла и побагровела... Еще через пять минут яд достиг плеча. Я не колебался. «Возьми топор и отруби», — приказал я одному из моих спутников. Он повиновался. Я ужасно страдал целых три месяца, но сохранил жизнь, а я люблю жизнь, особенно когда, как сегодня, встречаются такие добрые господа, как ты.

Родриго бросил цыгану другой кошелек.

— Я тебе верю, — сказал он. — Но до сегодняшнего раза ты никому не оказывал такой же услуги?..

— Вот уже десять лет, то есть с того самого дня, когда я был укушен свиньей, я ни разу не готовил этого яда.

— А где и для кого готовил ты яд десять лет назад?

— В Эдинбурге, для одного знатного англичанина, которому наскучила жизнь и который заплатил мне за смерть пятьсот гиней.

— Он умер?

— В десять минут.

— Следовательно, только мне и тебе известна тайна приготовления?..

— Да. Конечно, мне и тебе.

— Хорошо. Я испробую его достоинство. До свидания. Послезавтра в Аламедо.

На другой день, вечером, сидя у своей любовницы в саду вместе с ее дочерьми, Родриго Борджиа почувствовал жажду.

— Поди принеси напиток сеньору Родриго, Бианка, — сказала вдова старшей своей дочери.

Та повиновалась и принесла из дома стакан холодного лимонада. Родриго выпил несколько глотков с видимым удовольствием, потом поставил стакан на стол и разговор снова завязался. Но вдруг Роза, которую Родриго толкнул коленкой, вскрикнула.

— Что с тобой? — спросила испуганная мать и старшая сестра.

— Не знаю, — дрожащим голосом ответила Роза, наклонившись, чтобы взглянуть под стол. — Что-то холодное скользнуло у меня по ноге.

После этого ответа Елена и Бианка, машинально подражая Розе, заглянули под стол. Сам Родриго через несколько секунд последовал их примеру. Под столом не было даже и букашки.

— Вы обманули нас, милая Роза, — сказал, смеясь, Родриго.

— Да, — сказала Елена Ваночча. — Во всяком случае, дитя мое, так кричать — глупо! У меня еще и теперь сердце не на месте.

— Хотите глоток лимонада? — спросил Родриго, подавая своей любовнице стакан.

— Охотно.

Она с жадностью выпила все, что оставалось в стакане, и почти тотчас же поднесла руку к груди и ко лбу.

— Странно! — сказала она.

— Что такое? — спросили обе дочери и Родриго.

— Без сомнения, это от испуга... Я страдаю... я... О Боже! Боже мой!..

Это были последние слова, которые произнесла Елена Ваночча.

Она привстала... и всем телом опрокинулась на скамью, холодная, бледная, умирающая... мертвая...

— Матушка! — вскричали обе дочери, бросаясь к ней. — Матушка!..

Презренная Роза осмеливалась звать мать, зная, что она ей не ответит.

Она не могла ответить, потому что дочь убила ее.

Еще утром Родриго, показывая ей пузырек, говорил молодой девушке:

— Здесь твоя и моя свобода. Чувства твои те же? Сегодня вечером мать твоя умрет. Когда ты будешь моею?

— Завтра, — ответила Роза.

Еще через день, Родриго, по уговору с цыганом, отправился в Аламедо.

Цыган явился на свидание первым и один. Родриго пришел без провожатых. Евзегир стоял, прислонясь спиной к дереву. У ног его на песке лежала шляпа, он походил на тех, которые привлекают сострадание своим уродством.

Проходя мимо него, Родриго бросил в шляпу обещанную сумму.

— Да благословит вас Господь, сеньор, — пробормотал цыган. Но Родриго был уже далеко; цыган оставался еще несколько минут на своем месте.

Но смешно и странно оставаться просить милостыню, имея в кармане две тысячи дукатов! Цыган положил кошелек в карман, поднял шляпу и пошел по дороге в Граи, к тому леску, в котором они раскинули шатры. Он шел шибко, но приткие ноги не спасли его от угрожавшей ему участи. А его участью была смерть.

Родриго нашел двух негодяев, которые за двадцать дукатов готовы были убить двадцать

цыган.

— Сегодня вечером, в восемь часов, в Аламедо, — сказал он им, — я покажу вам человека.

— Очень хорошо.

Человек был им показан.

Не доходя нескольких шагов до своих шатров, в маленьком лесу, цыган упал мертвый, даже не вскрикнув, пронзенный двумя кинжалами, из которых один прошел между плеч, а другой попал в самое сердце. Убийство было совершено быстро и искусно. Он умер прежде, чем почувствовал, что его убивают.

— Обыскать его? — спросил один из наемных убийц.

— К чему?! Что ты думаешь найти у него?..

— Все равно!.. Рискнем!..

— Что такое?

— Кошелек, другой, третий!..

— И полные золота!.. Вероятно, оно украдено им у этого молодого господина, который заплатил нам за то, чтобы мы его убили.

— Нам-то какое дело?!

— Конечно, никакого!.. Барашек зарезан, шерсть — наша.

Двое негодяев возвратились в Валенсию пьянствовать и играть на деньги Родриго, которые его мало трогали.

Он заплатил две тысячи дукатов, чтобы одному обладать тайной, и не считал, что заплатил дорого.

Такова история яда Борджиа, который в течение сорока лет сеял смерть во всей Италии, ибо, когда Родриго состарился, он — как добрый отец — открыл важный секрет двоим своим любимым детям, Чезаре и Лукреции, как готовить этот яд, который был усовершенствован им самим.

Убивать постоянно одним и тем же способом — скучно и неудобно!

Среди прочих его изобретений следует упомянуть о ключе, который обладал свойством, производя маленькую, почти незаметную ранку, убивать каждого, кто имел неосторожность отпираться им. Дело в том, что в ларце, отпиравшемся этим ключом, замок был туговат и, чтобы отпереть, требовалось небольшое усилие, а именно из-за этого усилия головка ключа укалывала руку отпиравшего. Укол был ничтожен, но зато смертелен.

Но мы рассказываем не историю Родриго Борджиа, а историю его дочери Лукреции. Она была еще в колыбели, когда он уехал в Рим готовиться долгими годами притворства к апостольскому престолу. Долгие годы! Да, Родриго ждал, по крайней мере, тридцать лет возможности взойти на трон св. Петра.

— Терпение, долгое терпение! — говорил он Розе.

Он, быть может, и не подозревал всей справедливости своих слов.

В первое время своего пребывания в Риме, чтобы хоть немного усладить горечь разлуки, Родриго каждый месяц приезжал на несколько дней в Венецию, но, сделавшись кардиналом, из боязни скомпрометировать себя, посвящал радостям любви очень немного часов, да и то через долгие промежутки: с 1458 до 1484 года, то есть в течение двадцати шести лет, Роза и Родриго виделись едва пятнадцать раз.

Но несмотря на редкие свидания, Родриго не переставал доказывать своей любовнице и детям искренность своей привязанности. Каждую неделю он писал Ваночче и высылал ей

деньги. Она с детьми жила в роскоши. Домом управлял друг Родриго, дон Мануэль Мельхиори, слывший братом Розы и наблюдавший только за благосостоянием своей сестры и племянников, не позволяя себе делать ни малейшего замечания относительно их поведения. Это было необходимой скромностью со стороны дона Мануэля, иначе он из полезного и приятного стал бы стеснителен и скучен.

Объясним это.

Верная Родриго первые четыре года своего вдовства, Роза, пылкая по природе, однажды убедилась, что любовь, как бы ни была искренна, если выражается только перепиской, — это очень неполная, несовершенная любовь.

И сам Родриго, услышав в один из своих редких приездов в Венецию ее жалобу на редкость свиданий, дал ей полную свободу, сказав:

— Моя милая, так как я хочу стать папой, то с моей стороны было бы и глупо, и жестоко принуждать вас быть мученицей. Сохраните мне ваше сердце — вот все, чего я вправе от вас требовать.

И Ваночча сохранила свое сердце для одного Родриго. Что же касается ее чувств, то она часто дарила их прекрасным венецианцам. Из этого видно, что дом Ваночки вовсе не был школой нравов и что строгий цензор в лице дона Мануэля был бы в нем неуместен.

Освобожденная своим любовником Ваночча находила совершенно естественным не быть требовательной к детям. После одного любовника она брала другого. И пока дети были только детьми, зрелище этого разврата не представляло для них опасности. Но когда Чезаре и Франческо стали мужчинами, а Лукреция достигла шестнадцати лет, влияние дурного примера выразилось в них вполне.

Отец их, кардинал, давал их матери полную свободу в удовольствиях, и она не находила дурным вполне пользоваться этой свободой. И они также были вольны поступать как хотят. Законы нравственности, религии, природы для них не существовали...

В шестнадцать лет Лукреция была поразительно хороша собой. В ней было все: благородство, грация, изящество, ум. Все, исключая сердце.

Но сердца не видно... И для того чтобы обольщать и убивать, сердца не нужно.

Она была блондинка. До шестнадцати лет белокурая Лукреция была прекрасна! Она посоветовалась с зеркалом и решила по примеру матери завести любовника...

Во дворец Ваночки в числе других вельмож являлся Марсель Кандиано, очень нежно поглядывавший на Лукрецию.

Она тоже поглядывала на него. Друг друга можно понять быстро, если хотеть этого. Марсель Кандиано понял, что он нравится; от разговора глазами он поспешил перейти к словам.

Однажды вечером, пользуясь тем, что они были одни, Кандиано прошептал:

— Я люблю вас!

Она отвечала улыбкой. Она видела, что ее мать поступает так же в подобных случаях.

На другой день, если он скажет больше, она решила ответить ему яснее. Но на другой день Кандиано не явился во дворец Ваночки.

Кто-то изумился этому отсутствию.

— А! — был ответ. — Разве вы не знаете, что Кандиано лежит в постели.

— Больной?

— Умиравший от удара кинжалом, который он получил, выходя отсюда.

— А кто его ударил?

— Неизвестно. Убийца был в маске.

Бедный Кандиано! Лукреция была печальна целый час.

Но в тот самый вечер, когда она узнала о происшествии, рядом с ней за ужином сидел кавалер Никола Альбергетти из Феррары. Он был старше Кандиано и не так красив, но зато очень богат. В числе других драгоценностей на мизинце левой руки он носил перстень с огромным бриллиантом, которым все восхищались, вместе с другими восхищалась и Лукреция.

— Этот перстень вам нравится? — спросил любезный кавалер и преподнес его молодой девушке.

Лукреция удивилась столь чрезмерной доброте, но так, для формы.

— Доброта моя больше, чем вы думаете, — ответил, улыбаясь, Альбергетти. — Этот перстень я получил от алхимика, который немного занимался колдовством и который уверил меня, что, пока я буду носить его, мне нечего бояться смерти.

— А между тем вы отдаете его, — заметила Роза Ваночча. — Это неблагоприятно.

— Какая заслуга в том, чтобы дарить то, что ничего не стоит? К тому же я не суеверен. Если бы я заболел, то не бриллиант спас бы меня. Против разбойников и врагов у меня есть шпага...

С этой минуты в кругах Ваночки стало для всех ясно, что Альбергетти мечтал о счастье быть любовником Лукреции. С нею он был любезен, предупредителен, ловя каждый случай сказать ей вслух комплимент о ее грации, о ее уме...

— Но, — сказал однажды вечером Розе маркиз Пизани, ее любовник в это время, — Альбергетти влюблен в вашу дочь!..

— Так что же? — холодно ответила Роза. — Почему он не может ее любить?..

— Вы не догадываетесь?

— О чем?

— Что может произойти нечто опасное и для вас, и для нее от этого ухаживания?

— Что же может произойти?

— Но если он влюблен, почему же не просит ее руки?

Роза пожала плечами.

— Что за вопрос задаете вы мне, маркиз? Вы женились бы на моей дочери, если бы даже обожали ее?.. Конечно, нет! На девушке без имени не женятся... Почему же вы желаете, чтобы Альбергетти, который такой же дворянин, как и вы, просил ее руки?

— Но в таком случае...

— Не беспокойтесь. Девушке без имени нечего бояться дерзости волокиты. Ее оберегают. И в тот же день, когда Альбергетти пожелал бы идти дальше, чем следует, ручаюсь вам, он поплатился бы.

Кто же стоял за Лукрецией? Почему ей нечего было страшиться обольщений все более и более влюбленного в нее мужчины?

Альбергетти продолжал свои ухаживания. И однажды вечером, никем не замеченный, — по крайней мере, он так думал, — он прошел в комнаты Лукреции и, стоя перед ней на коленях, умолял ее ответить на его страсть.

Более кокетливая, чем влюбленная, Лукреция согласилась предъявить только слабое доказательство благородному синьору.

Поцелуя в лоб она считала на первый раз достаточно.

Этого оказалось много. Через несколько часов, ночью, поужинав по привычке рядом со

своей возлюбленной, Альбергетти возвращался домой, и, когда он переходил площадь св. Марка, чтобы добраться до своей гондолы на Пиацетте, какой-то человек в маске со шпагой в руке преградил ему дорогу. Альбергетти был храбр и ловко владел оружием и потому не очень дрогнул при этой встрече.

— Чего ты хочешь от меня? — спросил он у человека в маске.

— Убить тебя, — ответил тот.

— Убить? За что?

— Я тебе скажу, когда ты будешь умирать.

— Право? Ты так уверен в себе?

— Так же уверен, как будешь уверен и ты через несколько минут в своей ошибке, которую ты сделал, отдав свой перстень.

— О! О! Ты все знаешь? Не из близких ли ты придворных?

— Ты все знаешь? Не из придворных ли ты Ваночки?

— Может быть.

— Ты так же, как я, влюблен в ее дочь, а следовательно, соперник?

— Это возможно.

— Уж не тот ли самый господин, который убил Марсея Кандиано?

— Я не говорю нет.

— Ну, посмотрим, легко ли ты отправишь меня на тот свет, как ты надеешься.

Говоря таким образом, Альбергетти вынул шпагу и напал на незнакомца, в котором сразу распознал большого мастера. Шпага человека в маске казалась сросшейся с его рукой. Невозможно было выбить ее.

Незнакомец, в свою очередь, напал на Альбергетти, тот хотел отразить удар, но не успел. Шпага противника воткнулась ему в горло. Он упал, обливаясь кровью.

Тогда, скинув маску и наклонясь к своей жертве, незнакомец сказал:

— Смотри теперь, кто твой соперник, Альбергетти. Смотри, кто тот, который, подобно тебе, любит Лукрецию.

Умирая, Альбергетти напряг последние силы, чтобы взглянуть в лицо своему убийце.

— О ужас! — прошептал он. — Чез...

Он не окончил, рука незнакомца закрыла ему рот...

Когда рука была отнята, второй любовник Лукреции был мертв.

В то время когда совершалось убийство, Лукреция сидела в своей спальне, готовясь лечь в постель. Но летняя ночь была удушлива... молодой девушке не хотелось спать... Полураздетая, потушив лампы, чтобы не было видно снаружи, она облокотилась на окно. Дворец Розы Ваночки выходил на площадь св. Стефана, на углу большого канала; из окна Лукреция могла наслаждаться видом гондол, скользивших по лагуне... Но она глядела не вниз, а вверх, рассеянным взором следя за черными облаками, медленно двигавшимися по небу, по временам освещаемому молнией.

Вдруг постучались в дверь. Кто мог быть так поздно?

Вероятно, больная мать прислала за ней одну из своих горничных.

— Кто там? — спросила она.

— Отвори. Это я! — произнес глухой голос.

То был голос Чезаре, ее брата. Не одеваясь, Лукреция отворила дверь.

Чезаре вошел.

Она хотела зажечь свечи.

— Бесполезно! — сказал он, удерживая ее за руку. — Нам не нужно огня, чтобы поговорить.

— Как хочешь, — ответила она.

Он бросился на диван, стоявший напротив постели, она села с ним рядом. Наступило молчание, в продолжение которого Чезаре, привыкая к полумраку, не переставал глядеть на белую фигуру, сидевшую рядом с ним.

Удивленная этим молчанием Лукреция, смеясь, спросила:

— Что ты, Чезаре, хочешь мне сказать?

— Не смейся!..

— А! Я не должна смеяться!.. С тобой случилось какое-нибудь несчастье?..

— Со мной? Нет!

— С кем-нибудь из братьев?

Чезаре сделал презрительное движение.

— Я смеюсь над нашими братьями! — возразил он. — Я люблю только одно существо во всем мире: тебя, Лукреция!..

— О! А мать, а отца?..

— Я их люблю не так, как тебя. За тебя я отдам всю свою кровь, я продам душу... Знай, что я за тебя сделал, я убил человека.

— Боже!..

— Ты не увидишь больше Николу Альбергетти, как не видишь Марсея Кандиано!..

— А! Так это ты убил Кандиано?

— Я.

— За что?

— Я тебе сказал, за то, что я люблю тебя!.. Потому что я так люблю тебя, что не хочу, чтобы у тебя был любовник...

— А! А!.. Теперь я предупреждена. Не иметь любовника... А буду ли, по крайней мере, я иметь позволение выйти замуж?

— Ты еще слишком молода, чтобы выходить замуж.

— И мужа не иметь! Но знаешь ли, Чезаре, твоя братская привязанность слишком жестока!..

— Я не брат тебе!..

— Кто же ты?..

— Кто я?.. Примирись с этим неведением, Лукреция!.. Кто я, кем я хочу быть для тебя, ты уже давно подозреваешь это. Хочешь ли, чтобы убедить тебя совершенно, я убью еще несколько глупцов, которые встанут между нами? Хорошо! Я убью. Но я люблю, люблю, люблю тебя, Лукреция!.. Я люблю тебя и ради тебя играл своей жизнью... Потому что я не умертвил Альбергетти... Я убил его в честной битве... Если б он убил меня, поплакала бы ты обо мне?.. Любишь ты меня?.. Лукреция!.. Моя Лукреция!..

И он сжал ее, трепещущую, в своих объятиях. Трепещущую не от радости, а от ужаса...

Правда, она давно замечала что-то чудовищное в чувствах Чезаре. Быть может, она даже угадала в нем убийцу Марсея Кандиано. Между тем, как ни было развращено ее воображение, Лукреции было только семнадцать лет. За отсутствием души плоть возмущалась в ней от первого дерзкого прикосновения...

При блеске молнии она смотрела на своего брата... Чезаре Борджиа был красив, очень красив!.. Он был прекрасен, а Лукреция должна была быть Лукрецией...

Однако она его отталкивала, говоря:

— Нет! Ступай! Если б узнали, что ты у меня в этот час... Ступай!..

— Кого же ты боишься?..

— Тебя! Ты безумен!.. Говоришь о любви, когда только что убил человека!..

— Ты жалеешь этого человека?..

— Э! Нет!.. Но...

Раздался глухой удар грома.

— Слышишь?.. — проговорила она. — Это голос оскорбляемого тобой Бога!

Чезаре насмешливо покачал головой.

— Я слышу шум, производимый электричеством, и ничего больше, — ответил он.

— Наконец, я хочу спать... я буду больна... Эта гроза пугает меня... Умоляю тебя,

Чезаре, удались!

— После того, как ты подаришь мне поцелуй.

Она приблизилась к нему и остановилась...

Снова раздался стук в дверь, и в то же время послышался голос:

— Отвори, Лукреция! Это я, Франческо.

— Франческо? — спросил Чезаре, хмуря брови. — Что ему нужно?..

Она зажгла свечу, накинула первую попавшуюся под руки одежду и отворила дверь.

Франческо был годом старше Чезаре, которому было девятнадцать лет. Черты лица его были не так правильны, как у его младшего брата, зато выражение было нежнее и приятнее. Но в эту минуту он совсем не улыбался.

Он вошел, не выразив ни малейшего изумления при виде брата, поклонился сестре, потом, обращаясь к Лукреции, сказал с холодной усмешкой:

— Теперь, моя малютка, если хочешь успокоиться, тебе никто не будет мешать. Ступай в постель и спи.

Чезаре встал бледный и приблизился к Франческо.

— А! А! — воскликнул он. — Ты нас подслушивал!

— Я не подслушивал, — спокойно возразил Франческо, — я наблюдал за тобой!..

— То есть подслушивал за дверью?..

— Да. И я должен сознаться, что не раскаиваюсь в своем любопытстве. Мне довелось услышать очень странные вещи!..

— Франческо!..

— Чезаре!..

Братья с угрожающим видом стояли друг против друга. Лукреция бросилась между ними.

— Полно! — вскричала она. — Уж не хотите ли вы сейчас драться? Право, эта гроза действует раздражительно на нервы. Если тебе хотелось подслушать наш разговор с Чезаре — тем лучше для тебя! Ты будешь меньше удивлен завтра, когда услышишь о смерти Альбергетти. Чезаре не хочет, чтобы у меня были любовники. Ты, быть может, тоже не хочешь?.. Поспорим, что ты не хочешь!.. Ну, у меня их не будет... Клянусь вам!.. Теперь прощайте! Ступайте спать и, чтобы вам не было завидно...

Молниеносно наклонившись поочередно к обоим братьям, Лукреция дала им по жаркому поцелую, затем, толкнув их к двери, сказала:

— До завтра!

Они хотели говорить.

— Ни слова, или я рассержусь, — dokonчила она, красноречиво пожимая обоим руки. — Я люблю только вас... Я хочу любить только вас... Я никого не буду больше любить... Довольны вы?.. Прощайте!..

Заперев дверь и закрыв окно, Лукреция легла и, улыбаясь, шептала: «А! И тот тоже!»

Он тоже!.. Кто он? Что тоже? И почему Лукреция улыбалась?.. Угадайте, читатели.

Жак Бурхард уверяет, что Лукреция не только принадлежала обоим братьям, но что позже была даже в постыдной связи со своим отцом.

Мы окончили пролог первой драмы стыда и позора, которым занята вся история Лукреции — история, переполненная преступлениями. Мы видели ее еще девушкой-блудницей, теперь взглянем на женщину.

Есть оттенки даже в ужасном, но тут нет: если Лукреция Борджиа отравляла своих любовников, своих мужей, то она еще отвратительней в виде соперницы своей матери и любовницы братьев.

Виктор Гюго в своей драме дает Лукреции сына Дженаро, которого она находит в Венеции, будучи уже женой Альфонса д'Эсте, герцога Феррарского, которого она любит, спасает от смерти и который ее убивает...

Но дело происходило не совсем так.

Дочь Лукреции (один только дьявол знает, кто был отец — Чезаре или Франческо) исчезла при самом рождении, отданная Розой Ваноччей на воспитание крестьянке в окрестностях Вероны. Беременность Лукреции и роды были для всех посторонних тайной. Оправившись, Лукреция снова принялась за прежнюю веселую жизнь... Но Чезаре, во избежание нового скандала, был отправлен отцом и матерью в университет в Пизу, а Франческо — в Падую.

Что касается Лукреции, то ей дали мужа: молодого испанца, фамилия которого неизвестна. Да и к чему нужна была ему фамилия! Он существовал так недолго! Его взяли, когда считали нужным, и избавились от него, как только он стал бесполезен.

Родриго Борджиа стал папой только в 1492 году, но, сгорая от нетерпения увидеть свое семейство, он в 1487 году привез его в Рим. Любезный друг дон Мануэль Мельхиори, переименованный в графа Фердинанда Кастильского, из брата Розы в Венеции в Риме превратился в ее мужа. Муж Лукреции был изумлен этой метаморфозой. К тому же Родриго имел на нее виды, а потому однажды мать спросила у Лукреции:

— Очень ты любишь своего мужа?

— Я? Нисколько! — ответила тут же Лукреция.

— Значит, если с ним случится какая-нибудь неприятность, ты не огорчишься?..

— Какого рода неприятность?

— Например, если б он умер неожиданно... Он мал ростом... Несколько толст... шея у него ушла в плечи. Подобного рода люди подвержены апоплексии.

Лукреция улыбнулась.

— Хорошо.

Однажды вечером, возвратившись с прогулки, он весело ужинал со своею тещей и женой.

— Вы должны заботиться о себе, мой друг, — говорила Ваночча.

— Уверяю вас, дорогая матушка, — смеясь, возразил муж Лукреции. — Я не чувствую никакой боли.

— Иногда, сами не замечая, носим в себе семена болезни. У меня есть старое

сиракузское вино — просто нектар!.. Я пью его, когда чувствую себя дурно... Позвольте предложить вам несколько глотков...

Слуги удалились, потому что ужин кончился, сама Роза отправилась в свою комнату за драгоценной бутылкой. В то время Лукреция смеялась и шутила со своим мужем. Ваночча принесла нектар и налила зятю.

— А мне, матушка! — вскричала Лукреция с упреком. — Разве вы не дадите?

— Сейчас, сейчас... — отвечала Ваночча. — Ты ведь не больна!..

— Да и я не болен, благодарение Богу! — воскликнул супруг.

— Но вы все-таки попробуйте этого вина, мой друг. Я хочу узнать о нем ваше мнение.

Муж Лукреции выпил глоток, другой...

— Великолепно! — сказал он и любезно подал стакан жене, прибавив: — Попробуй и ты...

Лукреция не знала, что ей делать. Отказаться было бы странно, принять — опасно. Однако она взяла стакан, но в иных случаях секунда значит больше часа. В самом деле, пока она рассматривала вино, вдруг ее муж вскрикнул раз, один только раз, и упал на пол. Он был мертв...

— Я же говорила, что он болен! — заметила Ваночча, выливая за окно остатки старого сиракузского вина.

Бледная Лукреция рассматривала труп своего мужа.

— О чем ты думаешь? — сказала ей мать. — Зови же на помощь, пока я отнесу склянку на прежнее место...

— Помогите! — закричала Лукреция.

* * *

Иннокентий VIII не существовал более. Двадцать два кардинала, которым было хорошо заплачено, провозгласили папой Родриго Борджиа, под именем Александра IV... Он обладал всем могуществом, о котором столько лет мечтал... Из Чезаре он сделал кардинала, но тому не нравилась священная карьера; он перешел к Людовику XII, который из кардинала Валентина, как прозывался Чезаре, сделал герцога Валентинуа.

Франческо стал герцогом Ганди...

Лукреция...

Что бы сделать из Лукреции?.. Она была вдова. Хорошо. Ей был нужен муж. Ей выбрали его из знаменитейшей итальянской фамилии, давшей Милану шестерых государей, из семейства Сфорца. Но в 1497 году Александр IV заметил, что Сфорца, муж его дочери, будучи приемлемым как зять, оказался совершенно бесполезным в качестве союзника, и поэтому объявил брак недействительным из-за мужской неспособности супруга.

Третьим мужем Лукреции Борджиа был Альфонс, герцог Безеглиа, побочный сын Альфонса II Арагонского. Он был полезным и прелестным мужем: такой нежный, добрый, никогда не занимавшийся тем, что делала Лукреция. Александр IV и его дочь очень любили Альфонса. Это, однако, не помешало Чезаре убить его два года спустя.

Этот Чезаре убивал людей как мух. Отец его и сестра восхищались им.

Но однажды они поняли, что он зашел слишком далеко.

Это случилось перед третьим замужеством Лукреции. Он был в Риме, в который

вступил как триумфатор после победы над французами. В течение трех дней в Ватикане не знали, чем позабавить герцога Валентинуа.

Но герцог был мрачен среди всех этих развлечений, ибо Лукреция не разделяла их вместе с ним.

Странная и роковая вещь! Страсть Чезаре к сестре противилась времени. Этот человек, по знаку которого отдалась бы самая прелестная женщина в Италии, всегда любил только одну — ту, любовь к которой должна бы была заставить его краснеть.

Где же была Лукреция?

Она из каприза удалилась в монастырь, когда Чезаре вступал в Рим.

Быть может, тут крылась какая-нибудь любовная интрижка, но Чезаре все это мало трогало, она знала. Почему же из этой истории она делает тайну? А?.. За два дня до возвращения Чезаре в Рим его брат, герцог Ганди, тоже прибыл туда. И Чезаре даже заметил с тайным изумлением, что Франческо вовсе не заботился об отсутствии сестры.

Все ясно! Если Лукреция скрывалась от Чезаре, то лишь для того, чтобы быть с Франческо... Они видятся в монастыре... О глупец! Трижды глупец!.. Как сразу он не понял этого!..

А вдруг он не ошибается?.. Несчастье!.. Этот человек слишком долго стоял на его дороге!.. К тому же он похищает у него часть славы... О нем говорят: хвалят его храбрость, великодушие... Неаполитанский король подарил ему два герцогства: Беневенто и Понтекорве!..

Чезаре немедленно поручил шпионам следить за братом.

На другой день он уже знал все, что нужно было знать и что вполне подтверждало его подозрения: каждую ночь герцог Ганди посещал монастырь св. Сикста, в котором жила его сестра.

— Довольно! — сказал Чезаре.

И спокойно, хладнокровно, вместе со своим оруженосцем он обдумал план убийства брата в следующую ночь.

В этот вечер Чезаре и Франческо ужинали у матери, на вилле. За ужином герцогу Ганди подали письмо, распечатав которое, он покраснел от радости. Прочитав его, он сказал одно только слово: «Приду!»

В одиннадцать часов он встал из-за стола и ушел.

Через пять минут, сказав, что ему надо отправиться в Ватикан, к отцу, Чезаре также простился с матерью.

Чтобы достигнуть монастыря св. Сикста, Франческо приходилось проходить еврейским кварталом. Он шел в сопровождении слуги, вдруг четверо пеших и пятый верхом напали на него. Думая, что имеет дело с ворами, он назвал себя, но убийцы, услышав это заявление, только участили удары, и герцог пал мертвый рядом с умирающим слугой.

Тогда тот, который был верхом, безмолвно и неподвижно смотревший на убийство, подъехал к трупу, а четверо убийц, взвалив тело на спину лошади, пошли рядом с нею, чтобы поддерживать его.

Кто был этот человек на лошади, который отвез труп к Тибру, откуда на другой день вытащили тело герцога, пронзенное девятью ударами кинжала? Вы, конечно, догадались: это был Чезаре!

И Александр IV, и Роза Ваночча, и Лукреция тоже догадались сразу. Вы, наверное, думаете, что отец, мать и сестра, потрясенные столь ужасным преступлением, призвали

убийцу к ответу и наказали его своим справедливым гневом? Плохо же вы знаете семейку Борджиа!

Александр IV действительно пролил искренние слезы над трупом старшего сына. В течение трех дней он ничего не ел. В течение трех дней, несмотря на просьбы своей новой любовницы, Джулии Белла, уединившись в самую потаенную и мрачную комнату своего дворца, он не принимал никого.

Но Лукреция вышла из монастыря св. Сикста.

Отец принял ее. Он ее выслушал... Что сказала она ему?

Кто это знает! Но Александр написал Цезаре, который бежал в Неаполь, чтобы он воротился. И не только простил ему братоубийство, но даже отдал живому то, что принадлежало мертвому.

Что касается Лукреции, то при встрече с Цезаре ничто, кроме легкой дрожи, когда он жал ей руку, не выражало в ней, что она помнит его преступление.

Одно только существо не простило Цезаре: мать.

Но и она никогда не сделала ему ни одного упрека. Только когда, являясь к ней, он хотел поцеловать ее, она отворачивала лицо и произносила одно слово:

— Нет!

Ни слова больше.

* * *

В течение двух лет, будучи женой Альфонса, герцога Безеглиа, Лукреция, привязанность к которой со стороны отца перешла в страсть, ни разу не покидала Рима. Она занимала в Ватикане великолепные покои, куда собирались все самые распутные женщины Рима, где она принимала кардиналов, разбирала корреспонденцию отца и довела свое бесстыдство, по словам Бурхарда, до того, что являлась в храм святого Петра в сопровождении своих развратных сообщниц.

И день и ночь она предавалась самым разнообразным удовольствиям, жизнь ее была непрерывным разгульным пиром, а ночные пиршества у Лукреции неизменно оканчивались ужасающими убийствами.

Нужно было золото, груды золота были нужны и Александру, и Цезаре, и Лукреции для той постыдной, бесславной роскоши, которой они себя окружали. Чтобы доставать золото, они приглашали к себе дворян, большей частью своих родственников, и отравляли их или, когда несчастные впадали в бесчувствие от вина, приказывали сбирам умерщвлять их.

Охота, балы, маскарады и пиры с ядом или ударом кинжала вместо десерта вошли в обычай у фамилии Борджиа.

Вот как пировал герцог Валентинуа.

«В последнее воскресенье октября месяца пятьдесят куртизанок ужинали в комнате Цезаре Борджиа, а после ужина танцевали с оруженосцами и служителями, сначала в своей одежде, а потом голые. После ужина стол унесли и на полу симметрично расставили канделябры, рассыпая на паркет множество каштанов, которые эти пятьдесят женщин, все еще голых, должны были поднимать, ползая на четвереньках между горящих светильников. Цезаре и сестра его Лукреция, смотревшие на это представление с трибуны, воодушевляли своими рукоплесканиями наиболее ловких и прилежных...»

Допуская Лукрецию к участию в своих непристойных забавах, Чезаре Борджиа, по-прежнему ее ревнуя, сам вводил ее в тайны разврата, потакал любым ее капризам, но он не потерпел бы, влюбись она в кого-нибудь всерьез. Никаких увлечений с ее стороны он не позволял.

Осенью 1499 года она заметила одного миланского дворянина по имени Фабрицио Боглиони. У него не было ничего, кроме ума, и он полагал, что не рискует ничем, отвечая на искания Лукреции.

Целую неделю Чезаре как будто не замечал частых посещений Фабрицио Боглиони его сестры.

На девятый день он сказал ей:

— Боглиони мне надоел: брось его.

— Если тебе он надоел — меня он забавляет, — ответила она, — и я не брошу его.

— Хорошо!

Он повернулся на каблуках, она бросилась к нему и схватила за руку.

— Берегись! — с угрозой сказала она. — Если ты только тронешь Боглиони, я не прощу тебе этого никогда!

— Кто тебе сказал об этом, глупенькая! — смеясь, возразил Чезаре. — Я не полагал, что он так тебе нравится, и ошибся. Оставьте его себе, не станем более о нем говорить.

Лукреция знала, что значат обещания ее брата, и с этой минуты заботливо оберегала Боглиони, приказывая своим оруженосцам провожать его, если он уходил от нее поздно, и сама наливая ему за столом вино.

Но однажды утром, на охоте, молодой миланец удалился, к несчастью, от своей любовницы и встретил Чезаре, который сидел один под деревом и, чтобы прохладиться, поскольку жара была нестерпимая, ел красный мессинский апельсин.

— Ба! Это вы, синьор Боглиони! — вскричал герцог Валентинуа. — Где же сестра?

— Не знаю, монсеньор. Я ехал с нею минуту назад и был вынужден сойти с лошади, чтобы поднять мою шляпу, которую снесло ветром. Когда я возвратился на то место, на котором оставил герцогиню, ее уже не было там.

— Мы отыщем ее. Я устал и отдохнул с минуту... хотите, Боглиони, апельсин, он удивителен...

— С удовольствием, монсеньор.

Боглиони проглотил четверть апельсина, поданного ему герцогом.

Затем он сел на лошадь, и они рядом отправились отыскивать Лукрецию. Но не прошло пяти минут, как Боглиони почувствовал такое недомогание, что вынужден был остановиться... Он качался в седле.

Не обращая на это никакого внимания, Чезаре Борджиа продолжал свой путь.

— Что же со мною? — проговорил Боглиони и, чувствуя себя все хуже и хуже, слез с коня.

Час спустя один из слуг нашел его умирающим в высокой траве, на которую он лег.

Лукреция громко закричала при этом известии.

— Это ты убил его! — говорила она Чезаре.

— Нет! Клянусь честью...

Доказательств не было, никто не видел, как герцог Валентинуа разговаривал с Боглиони в лесу, а яд Борджиа не оставлял следов.

Будучи уверена в своей правоте, Лукреция несколько дней дулась на брата... Но в Риме

готовились новые празднества по случаю возвращения герцога Безеглиа, благородного супруга дочери Александра IV, приговоренного Чезаре к смерти.

Лукреция забыла бедного Боглиони.

Альфонс, герцог Безеглиа, был принят папой и герцогом Валентинуа со всеми признаками искренней дружбы.

Особенно Чезаре обходился с ним, как со своим лучшим другом, не покидая его целые дни во время празднества.

Но однажды, во время ужина в Ватикане, Альфонс был убит на площади св. Петра, когда он поднимался по лестнице, ведущей к ней. Он получил удар алебардой в голову, одну рану в бок и одну в ляжку.

«Но он не умер от этих ран, — говорит Бурхард, — что, однако, не помешало ему быть удушенным на следующую ночь в своей постели, на которую он был перенесен весь окровавленный».

Так Лукреция в третий раз стала вдовой.

Через шесть месяцев она вышла замуж за Альфонса д'Эсте, сына герцога Феррарского. Она была в этом городе, когда 18 августа 1503 года узнала о смерти отца.

Известно, как умер Александр IV.

Расточительность Чезаре перешла всякие границы, он задумал отделаться от трех или четырех богатейших кардиналов, среди которых были Карнето и Карафора, а Александр разрешил ему чеканить монеты каким-то новым способом. Он пригласил кардиналов и их друзей на роскошный ужин. Чезаре передал дворецкому отца две бутылки вина, приказав ему подать их только тогда, когда он даст знак.

Вследствие непонятной ошибки один из слуг подал именно это вино за несколько минут до ужина его святейшеству и герцогу Валентинуа, почувствовавшим потребность освежиться. Александр IV умер через несколько часов в ужасных конвульсиях. Чезаре принял противоядие и спасся. Он умер через десять лет от выстрела при осаде Вианы, во время войны Жана д'Альбер с коннетаблем Кастильским.

Слишком славная смерть для чудовища, достойного только эшафота!

Лукреция пережила всех своих родных. Но годы, тяготевшие над ней, смягчили ли ее характер? Если она еще имела любовников в Ферраре, то, по крайней мере, она не отравляла их. Это был уже прогресс!.. Одним из этих последних любовников был друг Ариоста Петр Бембо, в письмах к которому Лукреция выражала самую пылкую любовь. Но любила ли она на самом деле? Могла ли она чувствовать истинную любовь?..

Нет, Господь ни разу не позволил ей испытать чистой и действительной радости, зато по его воле она познала истинную и горькую печаль! Что ж, ей воздалось по заслугам!

Форнарина! Да будет проклята потомством эта женщина, ставшая причиной смерти царя живописи! Да будет навечно проклята эта куртизанка, пламенные поцелуи которой иссушили источник жизни Рафаэля Санти! Ни малейшей жалости к этому презренному существу, которое не поняло, что, безрассудно повинувшись своим чувственным инстинктам, отыскивая только сладострастие в нежности, она совершала величайшее преступление — убивала гения!

Некоторые историки тщетно пробовали оправдать Форнарину, утверждая, что это совершенная ложь — будто Рафаэль погиб в ее объятиях от излишества в наслаждениях. В настоящее время убедительно доказано, что она стала причиной его смерти, что она убила его в то время, когда он только-только начинал жить для всемирной славы...

История эта происходила в Риме в первые годы XVI столетия, при папе Льве X, который искупил свои многочисленные недостатки покровительством ученым, художникам и поэтам.

«Век Льва X, — говорит Вьене, — воскресил век Перикла и Августа. Он покровительствовал Ариосту, заставлял играть комедии Плавта, Макиавелли и отыскивал с большими затратами старинные манускрипты. При нем Рафаэль обогатил Ватикан своими картинами, при нем блистали Корреджо, Леонардо да Винчи, Микельанджело и Браманте и при нем же завершалось сооружение великолепной базилики св. Петра. Правда, эти великие мужи были завещаны ему Юлием II, и он передал их своим наследникам, но он достоин похвалы за то покровительство, которое им оказывал».

В то время, в 1514 году, жил в Риме богатый банкир по имени Августино Чиджи, который соперничал с папой в любви к искусствам и художникам. Будучи в течение трех лет покровителем Белла Империа, которой он давал громадные суммы и которая оставила его, не пожав ему даже руки, Августино Чиджи, чтобы рассеять горечь, оставшуюся после столь быстрого расставания, а также и по врожденной своей склонности, всей душой отдался сооружению дворца в Трастеверино — одном из лучших кварталов Рима на правом берегу Тибра — дворца, из которого он хотел сотворить чудо.

Дворец этот назывался виллой Фарнезино.

В том же 1514 году Лев X декретом назначил Рафаэля главным архитектором храма св. Петра.

Но Рафаэль не мог жить при храме...

Августино Чиджи предложил Рафаэлю расписать главную галерею виллы и, чтобы облегчить ему работу, поместил его в великолепных покоях, выходявших на прелестные сады, которые находились в полном его владении.

Рафаэль захватил с собой своих слуг и лошадей, которых у него было много, ибо он вел жизнь принца: и люди, и животные содержались за счет хозяина виллы...

Однажды утром, перед тем как сесть работать, Рафаэль прогуливался в саду в обществе одного из своих учеников, флорентийца Франческо Пенни, которого он очень любил за веселый характер; случай направил его шаги к выходу на Тибр, и там он встретил молодую девушку, вид которой тотчас же заставил биться его сердце.

Ей было лет семнадцать или восемнадцать, и она была прекрасна как мадонна.

Она стояла, прислонившись к дереву, в задумчивости смотря на сад.

Рафаэль подошел к ней.

— Как вас зовут, моя милая?

— Маргарита Джемиано.

— Ты из этого квартала?

— Да.

— Чем занимается твой отец?

— Он булочник.

— А!.. И ты, быть может, ждешь его здесь?

— Нет. Я соскучилась дома и вышла прогуляться.

— Быть может, ты сожалеешь, что нельзя гулять по саду?

— О! Я очень хорошо знаю, что такая бедная девушка, как я, не имеет права входить сюда...

— Так ты ошибаешься, Маргарита! Такая прелестная девушка, как ты, как бы ни была она бедна, имеет право ходить всюду. Пойдем?

Рафаэль подал руку Маргарите, она с минуту колебалась, наконец, решившись принять предложение, весело воскликнула:

— Пойдемте!..

А Рафаэль, наклонившись к ученику, шепнул ему: «Я нашел мою Психею!..»

Для фресок отделяемой виллы Рафаэль, следуя желанию Августино Чиджи, избрал мифологические сюжеты. Он уже написал Сивилл и теперь одновременно занимался рисунками трех граций, Галатеи, Амура и Психеи.

Он провел в свою мастерскую ту, в которой сразу увидел совершенную модель супруги Амура.

По дороге Франческо Пенни скромно отстал.

Маргарита с изумлением рассматривала этюды картин, развешенные по стенам.

— Понравится ли тебе, — спросил у нее Рафаэль, — если я сделаю твой портрет?

— Все равно, — ответила она, — если согласится батюшка.

— Отец твой согласится... будь спокойна... Я все устрою.

— Нужно еще испросить позволения у Томазо Чинелли.

— Это кто?

— Мой жених...

— А! У тебя есть жених?..

— Разве это не естественно в восемнадцать лет?..

— Конечно... И ты любишь его?..

— Гм!..

На минуту омрачившееся лицо Рафаэля снова посветлело.

— Не очень?.. Не правда ли? — спросил он.

Маргарита улыбнулась.

— Нет... не очень, — наивно ответила она.

— Чем занимается твой жених?

— Он пасет стада своего отца — фермера у синьора Чиджи из Альбано.

— Пастух?.. О, ты стоишь не такой участи, Маргарита!.. С этими большими глазами, с этим маленьким ротиком, с этими роскошными волосами ты стоишь любви принца... Например, это ожерелье: подойдет ли оно тебе?

Художник подал молодой девушке великолепное золотое кольцо, купленное им накануне для подарка куртизанке Андреа, которая несколько недель была его любовницей. Увидев это

украшение, сверкающие драгоценные камни, Маргарита смутилась и, хотя была готова надеть его, отступила и сказала:

— К чему примерять его, если оно не мое!..

— Почему знать! — возразил Рафаэль. — Если хочешь, я продам его тебе?

— За сколько?

— За десять поцелуев.

Она поглядела на художника.

Рафаэлю исполнился тридцать один год, черты его, как говорил Шарль Клеман, были нежны и приятны, хотя не имели правильности: его нос был велик и тонок, волосы темны, губы полны, нижняя челюсть выдавалась, но глаза были прекрасны, огромны, нежны, цвет лица смуглый.

Облик художника пришелся Маргарите по вкусу, и она, улыбаясь, воскликнула:

— Хорошо! Берите, но не больше десяти.

Он взял сотню, а хотел бы взять тысячу.

Но хотя и возбужденная этой игрой, молодая девушка имела силу или, скорее, благоразумие окончить оную.

Внезапно вырвавшись из рук художника, она отскочила на порог его мастерской.

— Я заплатила! — сказала она. — Прощайте.

— Нет, не прощайте, а до свидания! Когда ты придешь снова?..

— Спросите у моего отца.

И она убежала.

Почти сразу же Рафаэль побывал у булочника Джемиано, который за пятьдесят золотых экю позволил ему рисовать свою дочь сколько заблагорассудится, обязав его заодно объявить своему будущему зятю о состоявшемся торге, а в случае, если тот будет препятствовать, объяснить ему причину.

Рафаэль не спал целую ночь после этого приключения; страстно пленившись Форнариной, как прозвали Маргариту по профессии ее отца, он считал каждый час до нового с ней свидания.

А думала ли в эту ночь о Рафаэле Форнарина? Да. И вот при каких обстоятельствах.

Дом Джемиано находился на углу одной из лучших улиц Рима, на улицу выходила лавка, позади дома находился сад, примыкавший к дороге, которая прилегала к Тибру.

Если б вместо того чтобы грезить с открытыми глазами в своих покоях в Фарнезино о той минуте, когда он соединится с Маргаритой, Рафаэль с помощью какого-нибудь доброго волшебника перенесся в эту ночь в комнату дочери булочника, то едва лишь зародившаяся любовь если и не рухнула бы окончательно, в любом случае сильно поуменьшилась бы.

В полночь, когда ее отец и его работники занимались печением хлебов, Маргарита находилась с мужчиной в своей комнате. Правда, это был ее будущий муж, Томазо Чинелли, который каждую ночь проезжал тридцать миль, чтобы увидаться с будущей женой.

Что прикажете делать! По различным причинам свадьба Томазо и Маргариты была отсрочена на год, а чтобы хоть как-то успокоить свое нетерпение, обрученные брали задаток у настоящего за счет будущего.

А Форнарина, — о лукавица! — отрицательно покачала головой, когда Рафаэль спросил у нее, любит ли она своего жениха!..

Но, быть может, мы не вправе обвинять ее во лжи?.. Если она любила его, то, возможно, это было в прошлом, или же он не любил ее более?..

Нам легко будет удостовериться в этом, если мы перенесемся на место свидания двух любовников.

Томазо оставлял свою лошадь в соседней гостинице, потом перескакивал через стену в сад, где дожидалась его Форнарина. Оттуда рука об руку они входили на цыпочках по маленькой лестнице в комнату, которую следовало бы назвать брачной. Так бывало каждую ночь в течение целого месяца, так было и в эту ночь...

Итак, они были вместе, в комнате с тщательно запертой дверью, освещаемой дрожащим светом одинокой лампы. Но как бы ни был слаб этот свет, его было достаточно, чтобы заставить блеснуть ожерелье на шее Форнарины, которого жених ее не заметил в сумраке сада.

— Что это значит? — вскричал он. — Ожерелье?

Быть может, молодая девушка предвидела и даже приготовила этот эффект, потому что осталась спокойной.

— Ну да, — ответила она, — ожерелье... И, я полагаю, недурное ожерелье?..

— Прекрасное! — сказал Томазо, рассматривая вблизи драгоценность. — А кто тебе подарил его?..

— Синьор Рафаэль Санти, живописец его святейшества папы, который работает в настоящее время в Трастеверино, во дворце синьора Чиджи.

— А!.. А за что ж он подарил его тебе?

— Чтобы я согласилась служить моделью для его картин.

— И ты согласилась?

— Глупец!.. Я же приняла ожерелье!

— А твой отец позволил?

— Он позволил за пятьдесят золотых экю, которые дал ему синьор Рафаэль.

— Пятьдесят золотых экю твоему отцу?.. Тебе — царское ожерелье?.. Синьор Рафаэль великодушен!.. Он, кажется, находит тебя красивой!..

— Разве он ошибается?

— Нет... но...

— Что но?...

— Но ты моя невеста, моя жена, Маргарита!.. А если я против, чтобы ты служила моделью?..

Голос Томазо мало-помалу изменялся, лицо покрылось смертельной бледностью... Пока только изумленный и обеспокоенный, он, однако, сверкал глазами и угрожал.

Форнарина без смущения снесла эту угрозу и возразила тем же бесстрастным голосом:

— Если ты воспротивишься этому, я опечалюсь, но все-таки настою на своем...

Молодой человек схватил свою любовницу за руку, в страшной ярости прошипел:

— Так я более не жених твой? Ты отрекаешься от меня?

— Кто это говорит? Я выйду за тебя замуж... позже... Теперь мне представляется случай обогатиться, я им воспользуюсь.

— Обогатиться!.. Изменница!.. Сделаешься любовницей синьора Рафаэля, разумеется?.. Этот живописец развратник, вся Италия знает это — он содержит куртизанок. Ты тоже хочешь сделаться куртизанкой?..

— По чистой совести — да! Если как честная женщина я буду вынуждена переносить то, что переносу сейчас... Ты мне раздавишь руку!..

Форнарина произнесла эти слова, не меняясь в лице: кроме почти не приметного сжатия

бровей, ничто в ее чертах не выражало ее страдания, но когда Томазо отпустил ее белую полную ручку, он не мог не заметить на ней синеватых следов своих пальцев.

Он ощутил стыд и сожаление и упал на колени.

— О, прости, прости, Маргарита!.. — пробормотал он с рыданием.

— Я прощаю тебя с условием, — сказала она.

— Каким?

— Пока снова не позову, ты останешься в Альбано.

Бедный юноша в отчаянии заломил руки.

— Ах! Ты... ты, — рыдал он, — хочешь оставить этот дом?

— Я хочу того, чего хочу, но ты должен выбрать одно из двух: или никогда не видеть меня, противясь мне, или увидеться на днях, подчинившись.

— Но то, что ты требуешь, ужасно, Маргарита! Я все-таки твой жених и в качестве жениха имею право...

— Жениться на мне против моей воли?.. Ха! Ха!.. Ха!.. Я тебя не боюсь!.. Да, я не боюсь, что ты насильно поведешь меня к алтарю, хотя ты очень силен...

Форнарина с горькой усмешкой смотрела на свою посиневшую руку.

— А когда ты позовешь меня? — спросил Томазо после некоторого молчания.

— Я ничего не знаю. Быть может, скоро, быть может, нет...

— Но клянешься ли ты, что рано ли, поздно ли — это будет?

— Клянусь.

— И тогда выйдешь за меня замуж?

Усмешка Маргариты стала иронической.

— Если ты захочешь, да! — сказала она.

Томазо встал.

— Хорошо, — сказал он. — Я согласен, но также с условием...

— Каким?

— Ты повторишь мне эту самую клятву в церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

— Охотно. Пойдем.

Молодая девушка направилась к двери.

— О! Еще рано! — возразил Томазо, удерживая ее. — У нас есть еще четыре часа ночи... для последнего раза, Маргарита, которые я проведу с тобой...

Маргарита не возражала, она отдалась ласкам своего любовника, которым вскоре начала отвечать с не меньшей страстностью. В жилах этих двух существ, казалось, текла лава, когда они предавались любовным утехам...

Но Томазо обманулся. Мог ли он подумать, что эта женщина, которая, по-видимому, не могла насытиться его поцелуями, перестала его любить?

Она отдыхала рядом с ним, погруженная в сладострастную истому.

— Маргарита! Моя возлюбленная! — сказал он. — Правда, мы не расстанемся, мы не можем расстаться?.. Не правда ли, все, что ты мне говорила сейчас, — все это шутка?..

Она вздрогнула, открыла глаза, вскочила с постели и быстро оделась.

— Если мы хотим пораньше отправиться в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, то теперь самое время, — сказала она.

Томазо с минуту оставался неподвижен, бледен, суров, и мрачный взгляд его был устремлен в пустоту.

Кто знает, какая злая мысль гнездилась в эту минуту в его мозгу?

Но она приблизилась к нему улыбающаяся...

— Я готова. Идем!..

Он тоже встал, поправил свою одежду и последовал за нею.

Через несколько минут они вошли в церковь, в которой Маргарита принесла своему жениху обет в верности, изменяя ему в то же самое время... Такова ирония судьбы!.. И он, должно быть, в самом деле сильно любил Маргариту, ибо при всем унижении для себя он не убил ее, а принял от нее столь постыдное обещание...

Итак, вы теперь знаете Форнарину, любовницу Рафаэля, которую многие писатели изображали наивным ребенком...

Наивный ребенок был просто-напросто бесстыдной и порочной женщиной...

Прежде чем соединиться с мужчиной из ее среды, судьбе было угодно, чтобы пред ней внезапно открылась перспектива, полная наслаждений и радости, о которых, быть может, она не раз мечтала, но обладать которыми, наверно, никогда не надеялась. Она не колебалась и без жалости, без стыда тотчас же сказала своему жениху: «Я тебя не желаю!..»

И из объятий одного бросилась в объятия другого.

Но таково уж было в то время растление нравов в Риме, как и во Флоренции, в Неаполе, в Венеции, поразившее все классы общества, что поступок Форнарины, весело бросившей мужа, чтобы отдаться любовнику, не имел в себе ничего предосудительного.

Убийство, безумная роскошь, мотовство, распутство были тогда обычными явлениями во всей Италии. Дрались за каждое слово, чтобы затмить соперника, бросали целое состояние, чтобы понравиться куртизанке, жертвовали своей кровью, даже своей честью.

То было время разнузданных страстей, разврата и бесстыдства — время это охватывает собой почти четыре века!

Рафаэль ждал Форнарину у двери в сад, выходящей к Тибру, к которой она обещала прийти в четырнадцать часов, то есть в девять утра по-нашему: она была точна. И уже весьма опытная в любовных делах, как должна была она обрадоваться тому восторгу, который при встрече с ней объял нетерпеливого художника. Совершенно верно, что часто любят сильнее за воображаемые достоинства, чем за действительные. Рафаэль желал, чтобы эта молодая девушка была невинной и сберегла бы для него первого возможность сладостного греха. Она не любила своего жениха, стало быть, не могла еще согрешить... Только из скромности, быть может, с легкой примесью кокетства, она не отвратила своих губок от губ, ее умолявших...

Влюбленные легковерны!.. Рафаэль был влюблен в Форнарину, и сколько раз в пору их любви воспроизводил он восхитительные черты ее лица на полотне. Почти на всех картинах Рафаэля, начиная с 1514 года, встречаются обожаемую им голову его любовницы.

Впервые Форнарина превратилась в Психею на одном из тех великолепных картонов, с которых под руководством учителя учениками писались фрески в Фарнезино, еще до сих пор, по свидетельству Тэна, украшающие этот дворец.

Странная и благородная магия искусства! Во время этих сеансов человек уступал в Рафаэлю художнику. Восхищение предписало молчание для всех. Однако он все же давал задания всем своим ученикам, чтобы одному остаться с молодой девушкой и в течение многих часов со всей страстностью предаваться работе.

— Как ты прекрасна! О! Как прекрасна! — говорил он при каждом ударе кисти. Но это говорил не любовник, а художник... Когда легкой рукой он сбрасывал часть ее одежды, скрывавшую какой-нибудь сладострастный контур наготы, Форнарина зря краснела, ибо его

рука была столь же целомудренна, как и мысль, руководившая ею.

Наконец дошло до того, когда Маргарита вдруг подумала, что ошиблась в чувствах Рафаэля и что для него она всегда будет только моделью.

Она притворилась усталой, она захотела вернуться к отцу. Любовник пришел в себя от этих слов.

— Почему ты спешишь? — спросил он.

— Я голодна, — с улыбкой сказала она.

Бедная малютка! Он забыл, что на земле едят, чтобы жить. Он позвонил, подали завтрак: он захотел сам прислуживать ей...

Искусство было отброшено в сторону, и для Рафаэля осталась только любовь.

В итоге, в совершенстве играя роль невинности, Форнарина довела Рафаэля до безумия страсти...

Когда наступил вечер, Рафаэль был еще со своей любовницей. Между тем раздался стук в дверь мастерской, это был Пандолфо, лакей художника.

Он напомнил господину, что тот зван обедать в Ватикан.

Какая скука!.. Рафаэль охотно послал бы к черту всю свою учтивость по отношению к его святейшеству.

Но Форнарина упростила его исполнить долг.

— Тогда я возвращусь завтра, — сказала она ему.

— Завтра, послезавтра, всегда!.. — шептал он в долгом поцелуе.

Папа Лев X целый день охотился на кабана и посему чувствовал волчий аппетит. На обед вместе с Рафаэлем он пригласил кардинала Бабьену, который непременно желал женить знаменитого художника на одной из своих племянниц.

И хотя узы Гименя мало прельщали Рафаэля, он все же почти дал свое согласие. «Дайте мне еще год или два подумать, — сказал он кардиналу, — и мы закончим это дело».

За столом находился третий собеседник. Это был августинский монах по имени Бартоломео, нечто вроде людоеда, в два приема пожиравший баранью ногу, а чтобы прочистить горло, перед десертом проглатывавший штук сорок яиц одно за другим. Лев X любил шутов. Падре Бартоломео принадлежал к их числу: его святейшество забавляло, как тот обжирался.

Рафаэль опоздал на несколько минут и извинился, сославшись на работу.

— В самом деле, — сказал папа, с тонкой улыбкой глядя на живописца, — вы, должно быть, сегодня много работали, синьор Рафаэль, и кажетесь очень, очень усталым.

— Гм! — сказал Бабьена, подобно его святейшеству не обманувшийся на счет истинной причины усталости художника. — Синьор Рафаэль безрассуден... Он не бережет свое здоровье и поступает неблагоприятно.

— Полноте, полноте, кардинал, — шутливо заметил папа, — синьор Рафаэль пришел поесть и посмеяться с нами, а не затем, чтобы его бранили. Что вы скажете об этом блюде, господа? Это новое изобретение моего повара. Не настоящая ли это обезьяна, готовая на нас броситься?.. Джакопо заказал двенадцать медных форм в виде различных зверей... Сегодня он подал нам обезьяну, завтра подаст лисицу, послезавтра зайца или ворону... Это очень остроумно... Но не беспокойтесь, Бартоломео!.. Блюдо подано на стол не для одного только украшения... его также едят... Я даже полагаю, что мы хорошо поедим, Джакопо говорил мне что-то о рубленой дичи и сморчках с соусом томар, которыми начинена обезьяна.

— О-о-о! — воскликнул монах, заранее раскрывая рот, широкий, как печка.

— Что за обжора этот Бартоломео!.. — весело сказал папа. — Обжорство не принадлежит к вашим недостаткам, синьор Рафаэль?

— С вашего позволения, ваше святейшество, я погожу быть обжорой, пока не поседали мои волосы! — возразил художник.

— Никто не может сказать, достигнет ли старости, — торжественным тоном сказал Бабьена.

— Опять! — заметил Лев Х. — Право, кардинал, вы совсем не хотите, чтобы наш дорогой художник поспешил с женитьбой на вашей племяннице!..

— Марии Бабьене!.. Разве она не молода, не хороша собой, не богата? — воскликнул кардинал. — И вследствие этих качеств разве не достойна брачного союза?

— Я буду очень польщен, если стану когда-нибудь мужем прекрасной и богатой Марии Бабьены!.. — согласился Рафаэль.

— Когда-нибудь, когда-нибудь! — ворчал кардинал. — К чему ждать столько времени, когда лишь от тебя зависит быть счастливым?..

— Счастливым!.. — заметил папа. — Синьор Рафаэль, быть может, не в том видит счастье, кардинал, в чем вы. Он знает, что в благодарность за его работы я готов принять его в число высших сановников церкви. Кардинальская шапка стоит наследницы...

Молчание, предписываемое уважением, последовало за этими словами, которые если и не были неприятны Рафаэлю, не могли понравиться кардиналу.

Но равнодушный к этому разговору падре Бартоломео уже поглотил значительную часть начинки обезьяны.

Наконец папа, также очень уважавший Бабьену, начал, обращаясь к нему и к Рафаэлю:

— Оставим будущее таким, как предназначено быть ему; мы в настоящем и останемся в нем, а чтоб оно было весело, осушим стаканы, дабы снова наполнить их и осушить, и просим вас, кардинал, рассказать нам одну из ваших историй. Если она будет чуточку остра, тем лучше, мы выпьем лишнее, слушая ее.

Бабьена поклонился. Он пользовался славой искусного рассказчика тех повестей и новелл, которыми в Италии особенно прославился Бокаччо, а во Франции Маргарита Валуа, королева Наваррская, — повестей весьма скандального содержания.

— Новелла, — сказал кардинал, — которую я буду иметь честь сегодня поведать вашему святейшеству, называется: «Истинные отцы».

— Тут уж будут истинные отцы, — смеясь, произнес Лев Х. — Кто автор этой новеллы?

— Французский дворянин, граф Антуан де ла Саль.

— Хорошо. У французов кое-что есть, когда они не вмешиваются в наши дела.

Бабьена начал.

Несколько лет назад в Париже жила женщина, бывшая замужем за добрым и простым человеком. Эта женщина, прелестная и грациозная, в молодости по ветрености имела немало любовников и пользовалась их любовью. За то время не столько от мужа, сколько от них, она приобрела тринадцать или четырнадцать детей.

Случилось так, что ее поразила смертельная болезнь, и прежде чем отдать душу Богу, она раскаялась в своих грехах. Возле своего смертного одра она видела толпившихся детей и чувствовала глубокую горечь, покидая их навсегда. Но она полагала, что поступила бы дурно, если б оставила своего мужа с целой кучей детей, из которых большинство были чужими, хотя он ничего не подозревал, считая жену самой честной женщиной в Париже. Посредством одной из ходивших за ней соседок она сделала так, что двое из ее прежних

любовников пришли к ней, когда мужа не было дома.

Когда она увидела этих двух мужчин, она приказала привести всех детей и начала говорить: «Вы, такой-то, вы знаете, что происходило между нами тогда-то и в чем я горько раскаиваюсь. И если Господь не одарит меня своим святым прощением, я дорого заплачу на том свете. Каюсь, я совершила безумство и больше не повторю его... Смотрите, вот эти и эти дети — ваши, а не мужнины. Умоляю, когда я умру, а это будет уж скоро, возьмите их к себе и воспитайте, как надлежит отцу».

С такими же словами она обратилась и к другому любовнику: «Эти вот дети — ваши, клянусь! Умоляю, возьмите их, и если вы пообещаете мне это, я умру спокойно».

В то время, когда она производила этот раздел детей, муж вернулся домой и был встречен одним из сыновей, самым младшим, которому было не больше пяти или шести лет и который прибежал, запыхавшись, крича:

— Папаша! Папаша! Ради Бога, поспешите!..

— Что случилось? — сказал отец. — Твоя мама умерла?..

— Нет, нет! — сказал ребенок. — Только поскорей ступайте наверх, а до ничего не останется... К мамаше пришли два господина... Она раздает им всех моих братьев... Если вы не пойдете, она и последнего отдаст.

Добряк муж, не понимая, что хочет сказать ребенок, пришел туда и, найдя там жену, сиделку, детей и двух посторонних мужчин, потребовал объяснений.

— Сейчас все вам объясню, — ответила жена.

— Хорошо, — заметил он, ничего не подозревая.

Соседи ушли, поручив больную Богу и обещая исполнить ее просьбу, за что она их поблагодарила.

Так как она чувствовала приближение смерти, то обратилась к мужу с просьбой о прощении и рассказала ему все, в чем была она грешна за время замужества, какие дети от кого и как после ее смерти они будут взяты на воспитание, так что он ничем не будет обременен.

Добряку мужу не очень понравилась подобная исповедь, однако он жену простил, вслед за чем она умерла. Он отослал детей к названным лицам, которые и взяли их на воспитание. Таким образом, он освободился и от жены, и от детей, но, говорят, больше сожалел об утрате последних, чем о смерти первой.

Таковы были истории, которые служили десертом Льву X, и не забудьте, что мы выбрали из них самую пресную.

Между тем становилось поздно, и пока лакеи относили в одну из 11 000 комнат Ватикана тело падре Бартоломео, Рафаэль и кардинал Бабьена откланивались со своим высокопоставленным амфитрионом.

Художник и прелат шли каждый к своим носилкам, ожидавшим их у папского дворца. Носилки сопровождали хорошо вооруженные служители, потому что в Риме того времени было неблагоразумно появляться одному поздно вечером на улицах.

Расставаясь, Бабьена сказал Рафаэлю:

— Не забудьте, молодой художник!

— Не забуду, — с улыбкой отвечал Рафаэль.

Через несколько минут, когда Рафаэль в какой-то сладостной полудреме мечтал о своей Форнарине, чья-то тень наклонилась к нему с правой стороны носилок, и знакомый голос проговорил:

— Добрый вечер, учитель!

— Франческо Пенни! — радостно вскричал Рафаэль. — Как и зачем ты здесь?

— Чтобы оберегать вас. Я знал, что вы обедали у его святейшества, и ждал у дверей, чтобы проводить вас в Фарнезино.

— Мой милый Франческо!.. Так вели остановиться носильщикам... Погода, кажется, прекрасная?..

— Великолепная!

— Вместо того чтобы отправляться в Фарнезино, ты проводишь меня?

— Куда?

— Я тебе скажу по дороге.

Слуги были отосланы. Чего бояться опасных встреч!..

Разве у Рафаэля и Франческо Пенни нет у каждого по доброй шпаге?..

Куда же отправлялись они? Но вы уже и так знаете: они спешили к дому Форнарины.

Она не спала. Не так она была глупа, чтобы спать! Она предчувствовала это посещение. Она стояла у окна!.. Милая детка!.. Но как попасть к ней, чтоб не услышал отец?

— Из сада, идите сюда... По виноградным лозам, которые спускаются по стене... Может, вы сумеете забраться...

— Хорошо!.. Хорошо!..

То была та самая дорога, по которой Чинелли каждую ночь пробирался в комнату Маргариты. О! Если б эти лозы, эти камни могли говорить!.. Если б могла говорить эта комната, в которую проник Рафаэль и которая была свидетельницей таких страстных ласк!.. Но все безмолвствовало, и Рафаэль был несказанно счастлив...

Франческо Пенни остался в саду.

На рассвете учитель отыскал его, извиняясь в том, что заставил ждать пять часов.

Пять часов — ни больше ни меньше. И даже возвращаясь в Фарнезино, Рафаэль в мыслях был занят только Маргаритой.

— Я никогда не любил ни одной женщины так, как люблю ее, — говорил он, — и я решил, что она будет совершенно моею... Я дам отцу все, что он потребует... Я хочу свободно видеть ее во всякий час дня и ночи...

Франческо Пенни молчал, но невольно вздохнул, потому что глубоко любил своего учителя и, глядя на него, видел, как глубоко запали его глаза.

Рафаэль услышал этот вздох.

— Что с тобой? — спросил он. — Ах, правда, мой бедный друг! Я заставил тебя провести бессонную ночь. Тебе нужен покой.

— Что вам за дело до моего покоя! — быстро возразил Франческо. — Дело в вас, учитель. Форнарина прелестна, я признаюсь, но если вы верите мне — любите ее нежнее, умереннее...

Рафаэль пожал плечами.

— Ты так же, как папа и кардинал Бабьена, читаешь мне мораль, Франческо! — сказал он. — Ты не подозреваешь, стало быть, что художник тогда только имеет талант, когда он любит и любим. Любовь удваивает гениальность. Ты увидишь, какие картины создам я, когда Маргарита будет моей моделью... Мне ее послало само небо!..

«Увы! — подумал Франческо Пенни, — дай Бог, чтоб она не отправила тебя на небо!»

Во все времена повсюду есть родственники, которых легко убедить золотом, но в то время, особенно в Италии, в низших слоях, почти не было случая, чтобы за порядочную

сумму нельзя было купить отцовской или материнской снисходительности. За пятьдесят экю Джемиано позволил Рафаэлю рисовать с Форнарины, за три тысячи экю он дал ему позволение увезти ее куда захочет.

Правда, в Альбано был некто, сильно пугавший Джемиано. Маргарита прочла это в отцовских глазах и, обнимая папеньку, тихо сказала ему: «Я возьмусь за Томазо». Джемиано оставалось только благодарить богов...

Рафаэль нанял любовнице виллу близ Рима. Он накупил ей нарядов и драгоценностей. У нее были лошади, экипажи, носилки, лакеи. В течение целого года он, как говорят, не оставлял ее ни на минуту.

Обладание не успокоило его страсти, через год он все еще был счастлив только с нею; днем он бродил с нею под тенью садов виллы, а вечером, как новоиспеченный любовник, сидел у ее ног на подушке, полный восторга...

Он никого не видел, никуда не выходил...

Он оставил работы в Ватикане, и папа начал сердиться.

Он также бросил работу в Фарнезино, и Августино Чиджи начал приходить в отчаяние...

— Вы влюблены, синьор Рафаэль, — сказал однажды банкир художнику, — прекрасно!.. Я также бывал влюблен, я мог бы и еще, мне только пятьдесят лет от роду... Но это не причина бросать искусство. Теперь вы не больше раза в неделю показываетесь в вашей мастерской, в моем дворце, из этого выходит, что и ваши ученики ничего не делают. Если вы не в состоянии жить без вашей любовницы, ну, привозите ее в Фарнезино. Она поселится с вами.

Рафаэль просил подумать, предполагая, что Маргариту сильно огорчило бы, если б ей пришлось покинуть гнездо любви, которое он устроил для нее у подошвы горы Пинчио. Но, к крайнему его удивлению, когда он сказал ей о предложении Августино Чиджи, она воскликнула, что его следует принять, что она будет огорчена, если из-за нее Рафаэль будет и дальше отказываться от богатства и славы.

В глубине души художник ничего не желал так, как снова серьезно приняться за кисти. Он возвратился в Фарнезино вместе с Маргаритой, которую Августино Чиджи, верный своему обещанию, принял с почетом. У Маргариты были свои комнаты рядом с любовником; Рафаэль был в восхищении от возможности упиваться и любовью, и искусством.

Между тем, так легко соглашаясь на желание банкира, Форнарина имела на это свою причину. Чинелли, приходя в ярость от нетерпения, не раз писал ей письма, исполненные угроз.

А какого еще защитника против Томазо Чинелли, защитника более могущественного, чем сам его хозяин — синьор Чиджи, могла найти Маргарита? Нужно было только найти средство приобрести покровительство...

Форнарина легко справилась с этим делом.

Хотя и не занимаясь более, со времени печальной разлуки с Белла Империа, любовными похождениями, Августино Чиджи все же имел еще и глаза, и сердце.

Его глаза нашли любовницу Рафаэля действительно прекрасной. Его сердце воспламенилось, когда при третьем или четвертом свидании с ней он начал полагать, что его общество приятно для Форнарины.

Рафаэль со всей страстью отдался работе. В Риме в это время воздвигалось много новых

зданий, и Рафаэль, постоянно занятый этим вне стен своей мастерской, часто оставлял Маргариту во дворце одну, и та заботливость, которой окружал ее Чиджи, нимало не тревожила и не могла тревожить его. Можно ли было предположить, чтобы молоденькая, любимая молодым человеком женщина могла иначе как к другу относиться к старику?

А тот поддерживал иллюзию Рафаэля такими лицемерными речами.

— Я чувствую к милой Маргарите отцовскую привязанность! — повторял он каждую минуту.

Странный отец!.. Вот что произошло на пятнадцатый день между Форнариной и Августино Чиджи.

Рафаэль отправился в Ватикан. Маргарита была одна в своем будуаре, читая очередное письмо от Томазо, принесенное ей накануне ее отцом. В этом письме жених укорял свою неверную невесту в том, что «она солгала ему как при второй, так и при первой клятве», что он более не сомневается в ее намерениях навсегда его покинуть. Поэтому, невзирая ни на какую опасность, которая может подстергать и ее, и его, он решился на скандал: если в течение трех дней она не назначит ему свидания, он, Томазо, все откроет синьору Рафаэлю. «Я знаю, — заканчивал отвергнутый любовник и жених, — что, поступая подобным образом, я иду не той дорогой, которая могла бы привести меня к тебе; что ж, тем хуже! Если уж мне больше не обладать тобою, пусть тот, кто ныне тобой обладает, узнает, чего ты стоишь. Его презрением я буду отомщен за твое!»

Через три дня? Через три дня Томазо все откроет Рафаэлю?.. Колебаться было уже нельзя, она должна во что бы то ни стало освободиться от Томазо Чинелли.

Она сидела одна, с неподвижным взором, с бледным лицом, конвульсивно сжимая пальцами проклятое письмо, когда ей доложили об Августино Чиджи.

Вдруг, подобно солнечному лучу, пробивающемуся сквозь тучи, улыбка осветила лицо Форнарины.

— Просите, — сказала она.

И пока горничная ушла, чтобы пригласить банкира, куртизанка — ибо она и была таковой — быстрым движением сбросила утреннее платье и открыла свои обольстительные пышные плечи... Она была во всеоружии...

Каким бы самолюбием ни обладал старый некрасивый человек, он всегда чувствует некоторый стыд, становясь соперником прекрасного юноши.

Ведь, казалось бы, ясно, что с тех пор, как Форнарина живет у него, она ему строит, как обыкновенно говорится, глазки...

Он уже поздравлял себя...

Но как часто бывал он и жертвой женского кокетства! И он слишком хорошо знал, что в любви можно верить только тому, что держишь в руках, поэтому — как ни сильна была его страсть к Маргарите — он решил быть осторожным.

В этот раз при виде молодой женщины, туалет которой был в слишком прелестном беспорядке, чтобы быть делом случая, банкир понял, что наступает час, когда он должен убедиться, смеются над ним или нет...

Она вызвала его на поединок. Он принял вызов.

Он сел рядом с нею, обнял рукой гибкую талию и коснулся старческими губами белой груди... Она его не оттолкнула...

Это придало ему смелости. Его губы приблизились к полуоткрытым губкам. Она дала ему выпить первый, самый сладкий поцелуй...

Он обезумел от радости.

— О, Маргарита! — прошептал он. — Я...

— Вы меня любите? — перебила она. — Я верю. Докажите вашу любовь — и я ваша.

Это было сказано ясно и прямо. Он отвечал тем же:

— Говорите.

Она начала:

— Прежде чем познакомиться с Рафаэлем Санти, я была невестой одного человека из Альбано. Человек этот сын одного из ваших фермеров.

— Его имя?

— Томазо Чинелли.

— Так. Дальше.

— Этот человек все еще любит меня, хотя я его не люблю...

— Дальше?

Форнарина смотрела прямо в глаза банкиру.

— Дальше? — повторила она с особенным ударением. — Дальше! Я же вам говорю, что есть человек, который меня любит и которого я не люблю... И я только что вам сказала, докажите мне свою любовь, чтобы я принадлежала вам... а вы не догадываетесь, чего я желаю?..

— Так, так! — быстро сообразил Чиджи. — Я догадываюсь, я догадался... Чинелли угрожает тебе. Он тебе мешает, быть может, пугает тебя?.. Нынче вечером, клянусь тебе, ты не станешь более беспокоиться...

— Bravo! — вскричала Форнарина, хлопая в ладоши.

Банкир встал.

— Я немедленно займусь его участью, — заметил он.

Он уходил. Она остановила его.

— Только без крови, — сказала она.

— Нет! Нет!.. К чему убивать?

Он встал на пороге комнаты и обернулся.

— Вы дали мне слово, Маргарита? — сказал он.

Она послала ему поцелуй.

— До завтра, синьор Чиджи!

— До завтра, жизнь моя!

Понятно, что банкиру Августино Чиджи ничего не стоило убрать такого беднягу, как Томазо Чинелли.

Через несколько часов после этого разговора, вечером, когда пастух сидел на мраморной античной гробнице, думая о своей неблагодарной любовнице, четыре человека в масках, вышедшие из маленького леска, бросились на него, связали ему руки и ноги, погрузили на мула и отправились по дороге в Субиано.

У Августино Чиджи был кузен и друг, служивший настоятелем в монастыре в Субиано. Взамен пожертвований в церковь монастыря — небольшие подарки всегда поддерживают дружбу, — достойному падре поручалось содержать некоего Томазо Чинелли в монастырской тюрьме до тех пор, пока не будет сказано: «Довольно!»

На другой день банкир представил Форнарине отчет об исполнении поручения.

В тот же самый день Форнарина изменила любимому человеку с тем, кто избавил ее от нелюбимого.

Но как бы недостойна была эта измена, она имела хотя бы подобие извинения.

Зато в течение шести лет, пока Форнарина была любовницей Рафаэля, она часто обманывала его с другими, чаще всего недостойными соперниками.

Прежде чем закончить эту историю, расскажем еще один случай из жизни Форнарины, замечательный по драматическим частностям.

Это было в 1518 году. Рафаэль трудился в эту пору над мадонной, которой доселе можно восхищаться в Луврском музее.

Рафаэль постоянно имел свою мастерскую в Риме, в Фарнезино, и не проходило месяца без того, чтобы какой-нибудь неаполитанский, болонский, моденский художник или какой-нибудь живописец из Испании, Нидерландов не посетил этой мастерской, чтобы иметь счастье сделаться учеником великого художника.

И к чести всех этих молодых и склонных к удовольствиям людей надо сказать, что, несмотря на всю обольстительность и податливость Форнарины, ни один из них — из уважения к учителю — не старался воспользоваться легкой победой. Они уважали не ее, а его. Это была как бы их религия. Красавец Перино дель Вага, один из наиболее замечательных учеников Рафаэля, говоря о Маргарите с Джулио Романо, заметил: «Если б я нашел ее у себя в постели, то скорее посбрасывал бы все матрасы, чем решил бы иметь ее».

Но в 1518 году один болонец, по имени Карло Тирабоччи, вступил в число учеников Рафаэля. Он был довольно красив; по приезде в Фарнезино Маргарита начала с ним заигрывать, он не замедлил ответить тем же...

Вскоре стало совершенно ясно для всех, кроме одного — наиболее заинтересованного, что он любовник Маргариты.

Тирабоччи, по мнению учеников, совершил дурной поступок, его товарищи выразили ему свое неудовольствие тем, что прервали с ним все отношения. Никто не говорил с ним в мастерской, и когда он обращался к кому-нибудь, тот поворачивался к нему спиной.

Кто не сознает своей вины, не может понять, почему его наказывают. Болонец вообразил, что поведение художников по отношению к нему происходило от зависти к его счастью. Маргарита подкрепила в нем это убеждение. «Они все за мной ухаживали, но я не желала их, — сказала она. — Они сердятся за то, что ты мне нравишься».

Наконец положение Тирабоччи дошло до того, что ему стало невозможно жить в мастерской. Пользуясь однажды утром отсутствием учителя, он осмелился спросить у своих товарищей объяснения их поступков.

— В конце концов, что я такого сделал? — высокомерно сказал он. — Есть среди вас хоть один, кто осмелился бы сказать мне это в лицо? Вы решили изгнать меня отсюда. За что?

— Спроси свою совесть, если она у тебя есть, — сказал Джулио Романо. — Она ответит тебе.

— Моя совесть меня не упрекает.

— Это потому, что она глуха и нема, — сказал Франческо Пенни.

Тирабоччи пожал плечами.

— Хватит! — вскричал он. — Я не такой дурак! Вы играете в добродетельных, а сами только завистники. Вы меня ненавидите за то...

— Ни слова больше, слышишь ты, болонец! — прервал его Перино дель Вага. — Нам нет нужды говорить тебе причину ненависти и нашего презрения к тебе... Мы удовлетворимся, если ты подчинишься и оставишь мастерскую...

Тирабоччи задрожал от ярости.

— Чтоб я подчинился?.. Я?.. Не раньше, как сказав вам всем, что вы не только завистники, но и подлецы.

Оскорбление это было брошено в лицо десятерым.

— Хорошо! Мы завистники, мы подлецы, — сказал Винченцо де Сан-Джемиано, — но мы изгоняем тебя!.. Вон!..

— Да, подлецы, которые не прощают мне того, что я любим Форнариной, которая...

Болонец не кончил. Ученики — все как один — бросились на него, они готовы были растерзать его своими двадцатью руками, сотней своих железных пальцев.

Тем временем Перино дель Вага проговорил за всех:

— Мы тебе предлагали молчать... Произнеся здесь известное имя, ты произнес свой приговор. Ты хочешь знать, за что мы ненавидим тебя? За то, что ты посмел замарать счастье учителя. Теперь выбирай того из нас, который бы сделал тебе честь убить тебя.

— Тебя! Тебя, Перино! — бормотал болонец.

— Хорошо! Идем же!..

Через несколько минут Тирабоччи пал, пораженный смертельным ударом в необычной дуэли с Перино дель Вага.

Свидетелями дуэли были Джулио Романо и Франческо Пенни.

Они-то и рассказали на другой день Рафаэлю, что Перино дель Вага, оскорбленный Тирабоччи в споре из-за игры в кости, убил его.

Рафаэль сурово поругал Перино дель Вага, но поскольку вообще не питал к Тирабоччи особой привязанности, то недолго скорбел об этой потере.

А Форнарина?

Она нашла нового любовника, вот и все.

Смерть Рафаэля большинство писателей объясняют простудой. Но он умер от истощения, вследствие излишеств.

Вот что говорит Вазари в своей книге «Жизнь великих живописцев, скульпторов и архитекторов».

«Однажды Рафаэль возвратился домой в сильной лихорадке. Медики полагали, что он простудился: он скрыл от них настоящую причину своей болезни, а они до крайности ослабили его сильным кровопусканием, вместо того чтобы укрепить его упавшие силы».

Бедный Рафаэль! Медики пускали ему кровь из-за простуды, а его любовница до последнего вздоха безмерно возбуждала его душу, слишком пылкую для столь слабой оболочки. Уж лучше бы он умер!

В свою очередь Октавио Виньон говорил: «Подчиненный своей безумной страсти, еще накануне смерти Рафаэль принял за возврат сил то, что было только лихорадочным возбуждением чувств, — яд сладострастия на груди Форнарины».

Уж лучше бы она дала ему стакан простого яда.

Но когда он ощутил приближение смерти, он почувствовал как бы отвращение и ужас к предмету смертельного безумия.

Франческо Пенни и Джулио Романо, два его любимых ученика, бодрствовали у его постели.

— Не позволяйте ей входить, — сказал он им, — она помешает мне умереть с Богом.

Они повиновались ему. Тщетно Форнарина просила, умоляла. Они были непоколебимы, и она увидела его только тогда, когда он навеки закрыл глаза.

«Рафаэль Санти умер в великую пятницу, 6 апреля 1520 года. Он оставил по завещанию Форнарине средства жить в довольстве, а остальное разделил между Джулио Романо, Франческо Пенни и одним из своих дядей, завещав свой дом, построенный близ Ватикана, кардиналу Бабьене».

Известие о его смерти погрузило весь Рим в великую печаль. Он погребен в Пантеоне, и над гробницей его, по его желанию, поставлена мадонна, высеченная из мрамора Лоренцетто. Друг его, Пьетро Бембо, написал эпитафию.

Рафаэль в могиле, а что же случилось с Форнариной? По правде сказать, об этом мало найдено сведений, но вот один из последних эпизодов из ее жизни, который передает Октавио Виньон.

«По совету Августино Чиджи, боявшегося отмщения ей со стороны учеников Рафаэля, Форнарина через несколько часов после смерти своего знаменитого любовника удалилась в дом отца.

Это было вечером, довольно поздно, и она была одна в маленьком саду. Сидя на скамье, она думала, быть может, о том, кого не стало... Все возможно!..

Вдруг она вздрогнула. Чья-то рука коснулась ее плеча, и слишком хорошо знакомый ей голос произнес:

— Добрый вечер, Маргарита.

Это был голос Томазо Чинелли.

Значит, он бежал из тюрьмы?

— Да! — ответил он, как бы подслушав ее мысль. — Да, я убежал из моей тюрьмы, благодарение Богу!.. Тебя удивляет, Маргарита, что через пять лет я захотел подышать свежим воздухом? Я был в Субиано, в монастыре, — без сомнения, это для тебя не новость, — заперт за двойными дверями в узкой келье. Ах, меня хорошо сторожили!.. Чтобы сделать тебе приятное, тот, кто бросил меня в эту тюрьму, — мой хозяин Августино Чиджи, — дал серьезные приказания. Но нет такой хорошей собаки, которая не перестала бы лаять. Нет такого тюремщика, который не устал бы от надзора. Сегодня вечером, пользуясь тем, что забыли задвинуть засовы, с помощью гвоздя, который я вытащил из моего башмака, я отпер дверь... Потом, с помощью веревки, привязанной к окну, я выбрался в поле... И вот я здесь. Скажи мне, Маргарита, если б ты была женщиной и находилась на моем месте, что бы ты сделала с невестой, с любовницей, которая, постыдно изменив тебе, на пять лет лишила тебя свободы?..

Форнарина встала.

— Убей меня! — сказала она.

— А! Ты согласна?.. Ты это заслуживаешь...

— Я согласна, что ты мужчина, а я — женщина, что ты силен, а я — слаба, что ты меня ненавидишь, а я не люблю тебя больше, что я сделала тебе зло, и ты жаждешь мести... Я предаю душу Богу. Убей меня, если хочешь!..

Луна, пробиваясь сквозь древесную сень, освещала лицо Форнарины. Она была бледна, но не дрожала.

Томазо внимательно и долго наблюдал за ней.

Он был бледнее ее, он очень изменился. Пятилетнее пребывание в четырех стенах состарило его на десять лет.

— А если я не убью тебя? — сказал он после некоторого молчания. — Если б я простил тебя, что бы ты сделала?

— Как, что бы я сделала?

— Синьор Рафаэль Санти, твой любовник, то есть один из твоих любовников, потому что, я уверен, у тебя было несколько, не считая Августино Чиджи, — синьор Рафаэль Санти умер, я узнал это, попав в Рим, и потому-то пришел сюда. Что, если теперь я буду снова просить тебя выйти за меня замуж?

Маргарита склонила голову.

— Я отвечу тебе — нет! — сказала она. — Ведь я сказала, что не люблю тебя!..

— Совсем не любишь? Это решено?..

— Э! Если б я еще любила, разве я оставила бы тебя на пять лет там, где ты был?

— Это правда. Если я еще люблю тебя?

— Тем хуже для тебя.

— Ты скорее согласилась бы умереть, чем выйти за меня замуж?

— Да.

— А любовницей моей? Слушай! Это подло, это низко, но, несмотря на все зло, которое ты мне сделала, и на всю жестокость, с какой ты говоришь, что перестала любить, — я, каюсь, люблю тебя, я все-таки обожаю тебя, Маргарита!.. Убить тебя?.. Полно! Я жажду не крови твоей, я жажду твоих ласк!.. Забудем все!.. Одну ночь... только одну ночь... одну ночь еще будь моей любовницей!.. Моей милой возлюбленной, как прежде... и ты никогда не услышишь обо мне... Никогда!.. Хочешь? Говори! Говори!..

Он притянул ее к себе, она его оттолкнула.

Но он продолжал умолять ее.

— Ты меня более не любишь... Пусть!.. Я не могу насилловать твоего сердца... Но что за дело!.. Что будет стоить для тебя еще несколько часов принадлежать мне?..

И каждое это слово он сопровождал поцелуем ее шеи, глаз, волос. Она вся горела.

— Ну идем же! — задыхаясь, сказала она. — Идем!..

Она увлекла его к дому. Но, к ее глубокому изумлению, на этот раз он оттолкнул ее.

— Что это значит? — спросила она.

— Это значит, — сказал молодой человек, сделавшийся вдруг столь же спокойным, сколь она была взволнована. — Это значит, Форнарина, что я отмщен! О да, отмщен!.. Ты приняла всерьез мои мольбы... Я смеялся над тобою!.. Мне еще любить тебя? Мне желать обладания тобой?.. Ха! Ха! Но отныне, прежде чем соединить на одну минуту твои губы с моими, я предпочту, чтобы они иссохли и рассыпались прахом! Я хотел видеть, будешь ли ты подлой до конца... Я видел это... видел столь подлой, столь низкой, что никто бы не поверил, никто!.. В тот час, когда его друзья, когда весь римский народ еще рыдает на открытой гробнице величайшего живописца мира, — в этот час что хотела сделать Форнарина, его любовница?.. Из жажды наслаждения, одного лишь наслаждения по склонности к распутству, Форнарина была готова отдаться человеку, которого ненавидит, ха, ха!.. Смотри, у меня нет к тебе даже ненависти, Маргарита! Я побоялся бы замарать мой нож, вонзив его тебе в сердце. Все, чего ты стоишь, — вот!

Сказав это, Чинелли бросил в лицо Форнарине ком грязи.

Затем он удалился.

Если неизвестно, что потом стало с Форнариной, то мы знаем, как кончил Чинелли, ее жених и первый любовник.

Он сделался бандитом, начальствовал над шайкой, которая долгое время опустошала римскую Кампанию, особенно часто нападая на собственность синьора Августино Чиджи, и

был убит в 1527 году при осаде Рима, сражаясь в арьергарде коннетабля Бурбонского.

БИАНКА КАПЕЛЛО

Когда Венеция, говорит Жюль Леконт, могущественная как своим флотом, так и дипломатией, сделалась владычицей морей, она захотела ежегодно праздновать свое морское первенство. Тогда-то и был построен Буцентавр, громадный корабль, неудобный для навигации и предназначенный только для того, чтобы в дни особенных торжеств скользить при помощи весел по тихим лагунам.

Самым замечательным, самым великолепным торжеством, справлявшимся Венецией, было обручение дожа с Адриатическим морем. Оно совершалось с особенной пышностью. Все власти Венеции в роскошных костюмах, все иностранные посланники при республике сопровождали дожа на Буцентавре, который подплывал к Пиацетти под звон колоколов, под шум восторженных восклицаний народа. Это было всенародное торжество. Дети и взрослые, богатые и бедные — все обитатели республики скорее согласились бы отдать десять лет своей жизни, чем не присутствовать на этом празднике.

Однако в четверг 6 мая 1563 года, когда Жером Приули, — божией милостью уже четыре года бывший дожем Венеции, — совершал с морем свой мифический союз при восторженном реве толпы, две личности, сидевшие рядом в отдаленной комнате одного из дворцов, оставались равнодушными к этому восторгу.

Для них в той маленькой комнате, где они находились, заключался весь мир.

Кто же были эти две личности и о каком уж таком предмете рассуждали они, что могли оставаться безучастными к торжеству, волновавшему тысячи душ?

Конечно, это были влюбленные! Пусть вокруг землетрясение, но когда оно кончится, спросите у любовников, толкующих о любви, что произошло, они ответят: «Что? Да мы ничего не знаем, ничего не слышали».

Этими любовниками были Пьетро Буонавентури и Бианка Капелло.

Он был флорентиец из честного, но бедного семейства, простой приказчик у банкира Сальвиати в Венеции. Она принадлежала к одной из самых знаменитых патрицианских семей в Венеции. Каким же образом, такие далекие по положению и состоянию, могли они сблизиться?..

Прежде всего, Пьетро Буонавентури был честолюбив. Явившись несколько месяцев тому назад в Венецию — город по преимуществу аристократический, хотя и управлявшийся по республиканскому образцу, город великих имен и больших состояний, — он сказал самому себе: «Если б я мог заставить полюбить себя какую-нибудь знатную даму или девушку».

Наш флорентиец был человек не без сердца!.. Но главное, он был очень хорош собой. Это была сила.

Он имел привычку каждое воскресенье отправляться к обедне в собор св. Марка. В то время в Италии и в Испании, да, пожалуй, и во Франции посещали церкви больше для того, чтобы заниматься любовными делами, чем молитвой!

В одно из воскресений он заметил, стоя на коленях перед капеллой, восхитительную молодую девушку.

Один писатель XVIII столетия так описывает по портрету Бианку Капелло: «Она была гораздо выше среднего роста и имела в то же время свободную и величественную осанку; цвет ее лица, рук и груди был несравненной белизны; пепельно-золотистые волосы падали густыми прядями на белую шею; возвышенный лоб был грациозно округлен, и никогда я не

видывал таких сверкающих прекрасных глаз, — они сияли даже на полотне, — чем же были они у живого существа? Прелесть пурпурных губок была несравненна. Портрет был писан, когда Бианке было уже тридцать лет. Какой же была она в то время, когда в первый раз ее встретил Буонавентури, то есть когда ей было еще только восемнадцать лет?»

Повторяем, она была восхитительна, и Пьетро был того же мнения. Прекрасная, благородная, богатая — она вполне годилась ему в любовницы.

Со своей стороны Бианка тоже заметила, что она привлекает внимание молодого человека, и это внимание было ей не неприятно. Полдороги было пройдено, золото флорентийца сделало остальное. За Бианкой ходила дуэнья по имени Стефания. Пьетро подкупил ее; за несколько золотых монет эта женщина согласилась говорить своей госпоже в его пользу. По воскресеньям влюбленные могли разговаривать по дороге в церковь. Но разговор подобного рода слишком краток и неудобен. Пьетро требовал тайного свидания, но каким образом добиться его? Правда, жилище флорентийца было в нескольких шагах от дворца венецианки, но она не могла осмелиться переступить порог его дома, и принять его у себя было для нее одинаково невозможно!.. Три недели прошло таким образом, что наши влюбленные не могли сказать друг другу: «Я люблю тебя!» Начались приготовления к празднованию обручения дожа с Адриатикой.

В предшествовавшее этому празднику воскресенье во время обедни Пьетро сказал Бианке:

— От вас зависит сделать меня счастливейшим смертным.

— Говорите.

— Вы отправитесь в четверг на празднество?

— Да. Со всем семейством. Наша гондола имеет право на место рядом с Буцентавром.

— Вы можете пожертвовать ради меня удовольствием?

— Что вы этим хотите сказать?

— Сделайтесь больны на завтра, на вторник и среду...

— Я понимаю вас.

— А ваш ответ?..

Бианка пожала руку Пьетро. Это был ответ.

— Благодарю, — прошептал он. — О, как я люблю вас, Бианка!..

— Молчите!.. Такие слова в Божьем доме!..

— А разве Господь оскорбится подобными словами? Моя любовь, Бианка, чиста, чиста, как ваше сердце. Я ищу не одной вашей нежности, я ищу вашей дорогой руки, которую сжимаю в своей и прошу ее навеки. Я люблю вас не только как любовник, но и как супруг.

Бианка тем легче отдалась своей любви к Буонавентури, что она считала его одним из сыновей банкира Сальвиатти, весьма уважаемого семейства во Флоренции, с которым могла соединиться ее фамилия. Разочарованная в этом отношении в день тайного свидания, во время патриотического праздника в Венеции, молодая девушка потеряла всякую надежду выйти замуж за возлюбленного.

— Нам снился сладостный сон, — сказала она, — его следует забыть. Мой отец никогда не согласится отдать меня за вас. Прощайте!

— Прощайте! — печально произнес он. — Вы прогоняете меня!

— Я не гоню вас, друг мой, но к чему продолжать связь, которая обречена заранее. Поверьте, Пьетро, если я отказываюсь видеться с вами, то я никогда не перестану любить вас.

— Жестокая, вы меня любите, но будете женой другого?

— Моя ли вина, если я не принадлежу себе? Моя ли вина, что я должна повиноваться родным?

— О, да будет проклят тот день, в который я узнал вас, если я узнал только для того, чтобы расстаться с вами!.. Что будет со мной, когда я останусь одиноким на свете?..

Он плакал... и его слезы смешивались со слезами молодой девушки, которая нежно склонилась к нему; он страстно сжимал ее в своих объятиях.

— Ты гонишь меня! — повторял он. — Ты гонишь меня!

Упоенная звуком его голоса, сжигаемая его поцелуями, она не имела силы оттолкнуть его...

Но дуэнья Стефания караулила в соседней комнате. Она тоже когда-то была молодой и вспомнила, что влюбленные иногда говорят слишком много, когда не говорят ни слова. И она поспешила к ним, обеспокоенная.

Бианка, вся дрожа, отстранилась от Пьетро.

— Время идет, молодой синьор, — сказала она, — церемония скоро кончится. Вам пора уходить.

— Уже? — воскликнул Пьетро.

— Уже! — прошептала Бианка.

— Уже, — улыбаясь, повторила дуэнья. — Вот уже три часа, как вы вместе! Пойдемте, молодой синьор, вы ведь не захотите причинить печали нашей дорогой барышне. Отец ее, благородный Бартолеми Капелло и синьора Лукреция Гримани, ее мачеха, беспокоились, когда уезжали, об ее здоровье, они, без сомнения, поспешат с возвращением... Что с нами будет, великий Боже, если они здесь вас застанут?!

Рассуждения старухи были справедливы; Пьетро понял это и ушел.

Он был в отчаянии. Не столько от того, что так быстро кончилось свидание, как от мысли, что не смог получить иного. А ведь такая хорошенькая девушка!.. Какая жалость!

Наш честолюбивый герой флорентиец инстинктивно чувствовал в ней не только любовницу, но и целое состояние... Между тем дуэнья сказала правду: праздник обручения дожа с Адриатикой завершался, Буцентавр вошел в город, сопровождаемый целой флотилией лодок и галер.

В этот час все самое знатное и богатое население Венеции усаживалось за столы, которые ломились от изобилия и роскоши.

Вздыхнув, Пьетро Буонавентури направился к расположенной на Пиацетти, возле моста, гостинице, где он обыкновенно съедал свой скромный обед.

Он кончал есть, когда маленький негр, одетый в мавританский костюм, вошел в залу гостиницы и, подойдя прямо к нему, сказал вполголоса:

— Вы кавалер Пьетро Буонавентури?

— Я, — ответил Пьетро.

— Угодно вам пойти со мной?

— Куда?

— Там увидите.

Пьетро колебался. Но в конце концов, чего ему было бояться? Подобного рода лакеи в большинстве случаев принадлежали куртизанкам, так что понятно, что флорентийца ожидало какое-нибудь любовное приключение.

— Хорошо, — сказал он. — Я иду с тобой.

Через несколько минут он вслед за негритенком дошел до герцогского дворца, к тому месту Пиацетти, где останавливались гондолы, и без помощи своего проводника, который любезно предлагал ему руку, соскочил с каменных ступеней в гондолу.

Пьетро Буонавентури рассудил правильно: его приглашала женщина, и когда он вступил в каюту гондолы, где ждала его эта женщина, он не мог сдержать восклицания восторга, такой прекрасной она показалась ему. В ее темных волосах, падавших волнами на плечи, дышала любовь, ее лебединая шея была мраморной белизны и сладострастно кругла, черные глаза метали пламя. Черты ее лица своим изяществом могли бы восхитить художника.

Ее красота дополнялась великолепным костюмом. Весь корсаж ее и головной убор были украшены золотом и драгоценными камнями.

Она сидела на скамье, на которой могли поместиться двое.

— Садитесь рядом со мной, синьор Буонавентури, — сказала она молодому человеку.

Он ей повиновался; негритенок опустил поднятые занавески каюты, и лодка, удаляясь от пристани, заскользила по большому каналу, который тогда, как и теперь, был венецианским Гайд-парком.

Прошло несколько минут молчания.

Восхищенный, ослепленный, обвороженный этой женщиной, Пьетро, хотя скромность и не была его недостатком, не мог начать разговора...

Она смотрела на него с улыбкой и, казалось, наслаждалась его замешательством, приготавливаясь в то же время на свободе к нападению.

Наконец она быстро проговорила:

— Не полагаете ли вы, синьор Буонавентури, что играете в опасную игру, волочась за дочерью одного из первых венецианских патрициев, и что если Бартолеми Капелло обнаружит вашу интригу с синьориной Бианкой, то вы можете в одно прекрасное утро отправиться в Совет десяти?

В самом начале этой речи Пьетро вздрогнул, когда же она была окончена, он вскочил бледный как смерть...

Но она взяла его за руку и принудила снова сесть.

— Полно! — продолжала она голосом, насмешливый тон которого несколько смягчила. — Не бойся, Пьетро, если я открою тебе, что кое-что про тебя — и даже многое — знаю, то вовсе не для того, чтобы угрожать тебе... напротив... Слушай! Я тебя хорошо знаю, а ты меня — нет. Я куртизанка Маргарита, Я люблю тебя. В течение месяца, когда ты вздыхаешь по Бианке, я вздыхаю по тебе. Хочешь мне отдать одну ночь любви? Одну только. А взамен ее, если хочешь, я тебе отдам на всю жизнь твою любовницу.

Пьетро, не проронив ни слова, слушал Маргариту. Но он был не глуп. На его месте в подобном случае двадцать других начали хотя бы формулировать какие-нибудь мысли.

Он поступил лучше.

Обхватив талию куртизанки, он соединил свои губы с ее устами в поцелуе, который длился столько, сколько нужно, чтобы сказать зайке: «Честь имею принести вам всю мою признательность».

Фраза, очень длинная для зайки.

Потом он весело сказал:

— Вот мой ответ!

— В добрый час! — радостно воскликнула Маргарита. — Ты, Пьетро, именно таков, каким я тебя представляла. Ты мужчина! Тебе улыбнулся ангел, и ты не боишься демона...

— А кто побоится демона вроде тебя, Маргарита!

— Лыстец!.. Теперь поговорим. Для тебя безразлично, как мои шпионы уже целый месяц передавали мне о всех твоих поступках. Я могу покрыть площадь св. Марка моим золотом, я хорошо плачу — мне хорошо служат. Но ты, конечно, желаешь узнать, почему я хочу, чтобы Бианка, хотя она моя соперница, принадлежала тебе, и каким образом я дам тебе ее?..

— На самом деле, эти вопросы возбуждают мое любопытство. Но лучше ты объяснишь мне их завтра, на свободе, Маргарита. Нетрудно быть терпеливым, когда счастлив.

Куртизанка отблагодарила флорентийца за этот ответ нежным взглядом.

— Благороднейший дворянин Италии или Франции не выразился бы лучше, — сказала она. — И я радуюсь, Пьетро Буонавентури, потому что я буду сперва твоей любовницей, а потом твоим другом. Ты прав: эта ночь принадлежит мне. И в эту ночь любовница хочет забыть, как забудешь и ты, что твое сердце бьется для другой. Завтра утром с тобой будет говорить друг. Идем.

Гондола остановилась пред дворцом Ангарани, изящным небольшим дворцом, фасад которого весь был покрыт мрамором и украшен легкой, грациозной колоннадой. В этом палаццо, подарке знатного вельможи, жила Маргарита, и в него-то и вошел с ней Пьетро Буонавентури и провел в нем с ней одну из сладостнейших ночей...

Такую сладостную, что он пожалел, почему она должна быть единственной.

Но Маргарита была причудливым созданием: любовь была для нее то средством еще и еще пополнить золотом свои ларцы, то капризом, который угасал тотчас после насыщения.

При первом свете дня, от которого побледнел свет розовых свечей, горевших в канделябрах, Маргарита, освободившись из объятий любовника на одну ночь, соскочила с постели и сказала:

— Теперь, Пьетро Буонавентури, поговорим о той, которую вы любите. Поговорим о Бианке Капелло. Почему я буду счастлива, когда она будет твоею? Очень просто. Потому что она честная девушка, а я куртизанка. Потому что я не имею возможности выйти за тебя замуж, а если она сделается твоей любовницей — она обесчестит свое имя, а обесчещенная — станет вровень со мной... Как я отдам ее? Очень просто. Она ведь любит?

— Я думаю.

— А я уверена. Встань и пиши, что я буду тебе диктовать.

Пьетро повиновался: он встал, быстро оделся и, усевшись за стол, написал письмо, которое было продиктовано ему Маргаритой:

«Дорогая Бианка!

Меня убивает отчаяние, уже три дня, как я лежу в постели, от вас зависит спасти меня. Желаете ли вы этого? Если желаете, то сегодня вечером, в полночь, когда все уснет во дворце вашего отца, выйдите из маленькой двери, выходящей на улицу против моего дома, и войдите в мою комнату. Одной вашей улыбки будет достаточно, чтобы вернуть меня к жизни; если вы покинете меня, я умру».

— И вы полагаете, Маргарита, — сказал Пьетро Буонавентури, — что Бианка Капелло откликнется на этот зов?

— Да, но чтоб подтвердить содержание этого письма, вы должны все эти три дня не выходить из комнаты, не показываться даже у окна. Считая вас при последней крайности, Бианка Капелло не будет противиться тому, что она сочтет своим священным долгом.

Пьетро покачал головой.

— Вы сомневаетесь, — продолжала куртизанка, — и это сомнение ошибочно, мой друг, потому что как хотите, а я лучше вас знаю Бианку Капелло. Она скучает во дворце своего отца, особенно после смерти своей матери. Она тем более скучает, что природа одарила ее пламенным воображением и огненным темпераментом. Я говорю вам, что двадцать ночей она провела у своего окна после первой встречи с вами, пожирая взглядами то узкое пространство, которое отделяет ее от вас; ваше имя постоянно на уме у нее и на губах. Полноте! Вы хотите сделать своей любовницей одну из первых девушек в Венеции, потому что в обладании ею ваши надменные инстинкты предвидят не только богатство, но даже могущество, а когда я открываю вам дорогу для достижения цели — вы отказываетесь!..

— Я не отказываюсь, — возразил Пьетро, — я спрашиваю самого себя, каким образом вы узнали Бианку Капелло лучше, как вы справедливо говорите, меня самого?

Маргарита улыбнулась.

— Это мое дело, — ответила она. — От вас зависит воспользоваться моим знанием и помощью. Подписали вы письмо?

— Да.

— Пометили ли вы его воскресеньем 9 мая?

— Нет.

— Пометьте. Хорошо! Теперь отправляйтесь домой, запирайтесь и, как я вам советовала, до воскресенья не показывайте никаких признаков жизни. В воскресенье, в полночь, Бианка Капелло будет у вас... И вы не будете, как сегодня, сожалеть, что какая-нибудь старая дуэнья помешает вам в самую интересную минуту разговора... И когда кончится этот разговор, ничто не помешает вам начать другой, десять других... сто других, столь же сладостных...

Маргарита сопроводила эти слова взрывом хохота; Буонавентури хотелось узнать, в чем дело, но куртизанка показала ему на дверь, и он только сказал:

— Прощайте же! Благодарю вас.

— О! — небрежно ответила она. — Вы не обязаны мне благодарностью. Я же не скрыла от вас, что в данном случае я тружусь в основном для себя.

— По крайней мере, — проговорил Буонавентури, наклоняясь к ней, — позволено ли мне заплатить мой долг последним поцелуем?..

Она холодно подставила ему губы.

— Прощайте! — повторил он.

Он уходил.

— Ах! — закричала она вслед. — Скажите мне, если б вам пришлось покинуть Венецию, есть ли у вас деньги на дорогу? Скорей всего, нет. Бедный приказчик Сальвиатти вряд ли купается в золоте... Вот, возьмите, здесь сто рупони (около 4000 ливров /прим. автора/). Отдадите, когда разбогатеете. — И она положила ему в руку целый кошелек золота.

«Странная женщина! — подумал Пьетро Буонавентури, возвращаясь в той же гондоле к себе домой. — Какая истинная причина заставляет ее желать, чтобы Бианка принадлежала мне?.. Почему она бросает ее в мои объятия и почему думает, что после первого раза она навсегда останется?..»

Эти три вопроса остались неразрешенными.

Для него было ясно то, что, проведя ночь с самой блистательной куртизанкой Венеции, он, если верить ей, находился почти накануне того дня, когда он сделается счастливым любовником одной из прелестнейших и благороднейших девушек Италии...

Но всего яснее было то, что, благодаря Маргарите, у него было золото, с которым он мог

теперь противостоять любой случайности.

И пусть не думают, что он почувствовал хоть малейший стыд, приобретя золото из подобного источника. В то время в Италии, так же как во Франции и Испании, мужчина не считал зазорным получать подарки от женщины. Один ездил на лошади, подаренной любовницей, другой — носил костюм, подаренный ею же. В конце концов, быть может, Пьетро Буонавентури разделял убеждение того римского императора, который говорил, что «у золота нет запаха».

Как бы то ни было, но начало приключения обещало слишком много, чтобы флорентинец отказался от продолжения. Он заперся на пятницу, субботу и воскресенье в своей комнате, воздерживаясь показываться у окна, а для того чтобы действительно его болезнь не могли подвергнуть сомнению, он каждый раз, как старая служанка Марта приносила ему завтрак или обед, ложился в постель.

Старуха вовсе не удивлялась, что этот больной продолжал есть и пить с самым великолепным аппетитом. Она принадлежала к числу тех людей, встречающихся все реже и реже, которые вполне верят тому, во что заставляют их верить.

— Бедный молодой человек! — шептала она, слушая, как Буонавентури вздыхал на своей постели. — Бедный молодой человек!

В воскресенье вечером Буонавентури, которому было легче сидеть в кресле, попросил Марту привести в порядок его комнату, что она и поспешила исполнить. На постель было положено чистое белье, камин украсился цветами...

— Ба! — сказала она, удаляясь полная гордости. — Теперь можно сказать, что это комната новобрачной...

Ночь. Но как долго тянутся часы, разлучающие его с Бианкой!.. Сколько раз он поглядывал на часы!.. Невозможно!.. Они, верно, испортились!.. Стрелки двигаются назад вместо того, чтобы идти вперед!.. Девять... десять... одиннадцать... Наконец-то!.. А всего шестьдесят минут ожидания... Но странная вещь!.. Теперь ему казалось, что стрелки идут слишком быстро...

Без четверти двенадцать!.. Маргарита посмеялась над ним!.. Бианка не придет к нему!.. Она не получила его письма... «А если получила, придет ли она?..» Он поставил свечку в угол, свет пугает молодых девушек!.. Он стоял на коленях у окна и старался проникнуть взглядом сквозь сумрак ночи, вопрошая маленькую дверь дворца Капелло, ту дверь, в которую она должна была выйти... О, если б она вышла!..

Двенадцать без десяти минут... Нет, она не придет!.. Презренная Маргарита!.. К чему эти обещания, эта ложь?.. Полночь без пяти минут!.. О, дорогая Маргарита, да будешь ты благословенна!..

Бианка!.. Бианка идет... она переходит улицу... всходит на лестницу!.. Пьетро бросился навстречу и прижал свою милую к груди...

— Друг мой! Какое безрассудство!..

Он внес ее к себе...

Да, Маргарита знала хорошо: в жилах Бианки Капелло текла лава. Три дня тому назад извержение было задержано Стефанией, но в эту ночь Стефании не было здесь. К тому же Бианка поверила в письмо Пьетро, она на самом деле полагала застать его больным. Кокетка, даже влюбленная, по крайней мере рассердилась бы, если б заметила, что она обманута. Но Бианка была только влюбленной, поэтому она без гнева сказала любовнику:

— Ты обманул меня!

— Ты желаешь меня?

— Я люблю тебя...

Время быстро прошло для Пьетро. Пробило уже два часа, а он думал, что все еще полночь. Бианка в сотый раз повторяла ему: «Я люблю тебя!» Но пришло время расставания.

— Что подумает Тереза? — сказала молодая девушка.

— Кто это Тереза?

— Моя горничная, которой твоя служанка передала ко мне письмо.

— А!

— Ты как будто не понимаешь?..

— Понимаю, понимаю...

Пьетро понял, что Тереза принадлежала к числу шпионов Маргариты, что от этой женщины куртизанка получала все сведения.

Бианка снова начала:

— Тереза же достала и ключ от маленькой двери, она ждет, чтобы отпереть мне.

— Так если она дожидается, то что значит несколько лишних минут!..

— Нет, умоляю тебя, мой друг, позволь мне уйти! В мае день начинается рано... Подумай только, что будет, если меня увидят, когда я буду уходить от тебя!.. Я возвращусь. Разве ты не уверен, что я возвращусь скоро?.. Тереза привязана ко мне... О, больше, чем Стефания! Тереза, когда я плакала, читая твое письмо, обещала мне помочь увидеть тебя...

«Это так!» — подумал Пьетро.

— Но она меня ждет, — продолжала Бианка. — Два часа, как она меня ждет, а я обещала ей вернуться через двадцать минут. Пожалей ее.

Было около половины третьего, Пьетро не удерживал ее более.

— Я провожу тебя, — сказал он.

— К чему?

— Чтобы видеть тебя с моего порога, пока ты будешь переходить улицу.

Они спустились по лестнице, сжимая друг друга в объятиях, и вышли на улицу через коридор.

— До скорого свидания!

— До скорого...

И, закрыв лицо капюшоном своей мантильи, Бианка подбежала к маленькой двери отцовского дворца, позади которой должна была ждать ее Тереза. Бианка осторожно постучала в дверь три раза — дверь не отворялась. Она повторила сигнал, тоже безмолвие.

— Боже мой! — проговорила она.

Пьетро приблизился, услышав ее жалобный шепот.

— Что такое?

— Она не отпирает.

— Она заснула. — Он искренне поверил этому, не подозревая ни малейшего подвоха, и, в свою очередь, постучал в дверь... Никакого ответа.

— Я погибла! — сказала Бианка. — Устав ждать меня, она легла спать. А заря уже показывается на горизонте. Когда Тереза проснется, будет поздно... двадцать, пятьдесят человек могут увидеть меня... я погибла...

Для довершения ужаса в эту минуту неподалеку послышался шум весла, сопровождаемый песней гондольера... Быть может, это какой-нибудь запоздалый сосед, который знал ее, друг ее отца?.. Машинально схватив Пьетро, она увлекла его в темный

коридор.

Гондольер пел:

Прекрасная и свежая, Как первый цвет весны, Не плачь!.. Дели со мною ты Любви роскошной сны!

— Я погибла! Погибла! Погибла! — повторяла Бианка Капелло.

Пьетро молчал. Он припоминал слова Маргариты: «И когда окончится этот разговор, ничто не помешает вам начать другой, десятый, сотню других... столь же сладостных».

Нет сомнения, оставив свой пост в отсутствие госпожи, Тереза повиновалась Маргарите, обещавшей Буонавентури дать ему Бианку Капелло, и она отдала ее ему.

Бианка скорее согласится бежать с ним, чем возвратиться обещанной в Венецию.

Гондольер, продолжая петь свою канцонетту, остановился близ моста, но никто не вышел из лодки.

«Этот человек для нас», — подумал Пьетро.

Вдруг, выходя из какого-то оцепенения, Бианка воскликнула с упреком, обращаясь к своему любовнику:

— И ты ничего не можешь для меня сделать? Ты молчишь, Пьетро? Через несколько минут солнце осветит мой стыд. Ты любишь меня и не можешь избавить меня от этого стыда!.. Ты меня любишь и не можешь оградить меня от преследования моих родных!.. Но ты не думай, ведь ты сам будешь страдать от гонений моего семейства!.. Эта презренная Тереза, которая изменила мне, заговорит!.. Она назовет тебя.

— Если б дело шло только обо мне, дорогая Бианка, я не побоялся бы, — отвечал Пьетро. — Напротив, если угодно небу, я пролью всю мою кровь, чтобы избавить тебя от страдания.

— Все равно, отец или брат убьют тебя, а меня они навеки запрут в монастырь. Говори же... Невозможно, чтобы ты не придумал, как спасти нас обоих.

— Есть одно средство, но только одно.

— Какое?

— Бежать...

Бианка задрожала.

— Опять позор!

— Зато это жизнь — жизнь с любовью и свободой. У меня есть деньги. Мы уедем на мою родину, во Флоренцию. По дороге, если ты, моя милая Бианка, желаешь, мы попросим пастора обвенчать нас. И кто знает, не простит ли нас твой отец, когда узнает, что мы обвенчаны.

Горькая улыбка, которую Пьетро не мог заметить в сумраке, сжала губы Бианки. Она не разделяла иллюзий Пьетро, она была совершенно уверена в одном, что ее отец, Капелло, никогда не признает своим зятем какого-нибудь Буонавентури. Но этот Пьетро все-таки был прав. Бегство и для него, и для нее было единственным средством против жестокой мести.

— Бежим! — сказала она.

Флорентиец быстро вошел к себе, чтобы взять деньги и кинжал. Через несколько минут он сел вместе с любовницей в гондолу. В данном случае он не ошибся: гондола была для него. Маргарита позаботилась обо всем. На первый же вопрос, заданный им гондольеру, согласен ли он вывезти их из Венеции, тот ответил:

— Хоть на край света, если вам будет угодно, синьор.

Лодка по большому каналу пришла в Чиоджиа, где беглецы взяли карету в Фузину.

Через три дня они были во Флоренции. Сидя рядом со своим любовником, Бианка закрыла лицо руками, и Пьетро видел, как между розовых пальцев молодой девушки текли слезы...

— Ты плачешь? — спросил он. — Ты уже жалеешь?..

Она отняла руки, отерла лицо и, улыбаясь, ответила:

— Теперь кончено, все!..

И в самом деле, слезы перестали капать, по крайней мере с этой минуты Бианка Капелло примирилась со всеми последствиями своей ошибки.

Она согласилась, как он того желал, соединиться с Пьетро перед Богом.

Пастор дал им брачное благословение в Пистойи, в церкви св. Духа.

На другой день муж представлял жену своему отцу. Амброзио Буонавентури был бравый мужчина, принявший свою невестку с открытыми объятиями. Но он был очень беден, так беден, что если б Пьетро не привез с собой денег, то ему было бы очень затруднительно поместить Бианку под отцовской кровлей. И, к несчастью, эти деньги начали истощаться: часть их пошла на издержки путешествия, другая быстро тратилась на покупку мебели и одежды.

Однажды вечером Пьетро обнаружил, что у него осталось всего с десяток золотых монет. Что делать, когда не на что кормить жену?

Вместе с тем известия, доходившие до него из Венеции, были вовсе неспокойны. Похищение Бианки возбудило ярость всех Капелло. Они утверждали, что в их лице было оскорблено все венецианское дворянство, и добились от сената, который даже оценил голову Пьетро, повеления преследовать похитителя.

Эту неутешительную новость принес ему во Флоренцию один болонский живописец, Гальено Линьо, с которым он подружился в Венеции.

— Всех сильнее раздражен против вас брат Бианки, — говорил ему гальено. — Он был любовником венецианской куртизанки Маргариты, которая любила его и которую он вскоре бросил. И, кажется, Маргарита хвастается всем, что, мстя изменнику, она заставила вас похитить его сестру.

Пьетро Буонавентури задрожал при этих словах живописца: ему стало теперь понятно поведение Маргариты.

Гальено Линьо закончил тем, что посоветовал своему приятелю как можно скорее принять меры против ярости Капелло.

— Они могущественны и богаты, — сказал он Пьетро, — и если вы не поспешите избрать себе покровителя, способного защитить вас, вы будете всего бояться. Самая меньшая опасность, угрожающая вам, состоит в том, что вы будете убиты каким-нибудь наемным браво...

— Ваши рассуждения, мой друг, совершенно справедливы, — ответил Пьетро, — и я сегодня же воспользуюсь ими.

Сразу же после этого разговора он отправился во дворец Питти, к великому герцогу Франческо Медичи, сыну и наследнику Козимо, — человеку самого приятного характера. Он благосклонно принял Пьетро Буонавентури, заставил со всеми подробностями рассказать его историю и уверил в своем покровительстве против врага.

— Но, — закончил он, — вы нарисовали передо мной такой обольстительный портрет вашей жены, что не удивляйтесь тому, что я желаю ее видеть.

Пьетро поклонился.

— Подобное желание со стороны вашей светлости слишком лестно, — ответил он, — чтобы я и жена моя не поспешили его исполнить.

— Достаточно, — возразил великий герцог, — среди моих офицеров есть один испанский дворянин, капитан Мандрагоне, который живет с женой близ площади Марии Новелла, где, как вы сказали, живете и вы; завтра утром, если вам будет удобно, синьора Мандрагоне отправится в своей коляске к синьоре Буонавентури и привезет к себе... Туда я явлюсь через несколько минут. Я предоставляю вам, мой милый, полное право присутствовать при этом свидании... О! Мои намерения совершенно чисты!..

— Я не сомневаюсь, государь, — живо ответил Пьетро, — и после того, чем мы обязаны вашей светлости, я счел бы черной неблагодарностью всякий признак недоверия. Полагаю, что я буду завтра утром в отъезде, и пусть ваша светлость не удивится, если я не буду сопровождать завтра мою жену к синьоре Мандрагоне.

Франческо Медичи улыбнулся, подавая Пьетро Буонавентури руку, которую тот поцеловал. Флорентиец уже видел, как из этой царственной руки сыплются на него почести и богатство.

Как? Только что женившись на восхитительной женщине, Пьетро Буонавентури решил принести ее в жертву своему честолюбию?.. Так что же? Роль благосклонного мужа в ту эпоху была в моде. Когда король, принц, герцог желал женщину, муж восклицал: «Чрезвычайно лестно!..» И в то время, как король или принц любезничал с его женой, этот муж прогуливался.

Но Бианка, происходившая из благородной фамилии, согласится ли она играть роль, предназначенную ей в этой галантной комедии?.. Да. И по двум причинам: во-первых, она только о том и думала, как бы избавиться от бедности, в которой она прозябала у своего тестя, а во-вторых, услышав от мужа смысл этой роли, она превратила любовь свою в презрение. А то, что презирают, с тайной радостью стараются уничтожить.

Выйдя из дворца Питти, Пьетро отправился к Бианке.

— Мы спасены! — сказал он ей. — Я только что видел великого герцога. Он удостаивает нас своим покровительством. Но взамен он требует одной милости.

— Милости?

— Да, он хочет видеть тебя.

— Ну ладно, пойдем, когда тебе будет угодно, поблагодарим его.

— О нет! Его светлость хочет не этого. Завтра жена одного из его офицеров, синьора Мандрагоне, явится сюда за тобой... у нее его светлость встретит тебя одну. Что делать, моя милая, есть такие безвыходные положения, когда опасно отказывать. К тому же, разве я не уверен в твоей нежности, в твоей добродетели?

Бианка не смогла сдержать неудовольствия.

— Что это? — продолжал Пьетро. — Эта встреча тебя смущает?.. Полно!.. Великий герцог молод, красив, умен. И если это тебе будет стоить некоторой благосклонности без последствий... какое мне дело, лишь бы твое сердце принадлежало мне!..

— Хорошо! — сказала Бианка. — Я пойду завтра одна к синьоре Мандрагоне, и будьте покойны, его светлость будет доволен моим желанием понравиться ему, как вы того желаете.

Синьора Мандрагоне не в первый раз устраивала нежные свидания для его светлости Франческо Медичи. Когда-то очень красивая, Инесса Мандрагоне, как уверяют, с согласия своего благородного супруга, была первой любовью сына Козимо I. С годами ее прелести

поблекли, и она ограничилась ролью преданного друга молодого герцога. По приглашению последнего, на другой день, в назначенный час, она отправилась к Бианке Капелло, которую привезла с собой в коляске. Через несколько минут испанка и венецианка сидели одна против другой в изящном будуаре.

— Позвольте мне теперь полюбоваться на вас, мое дитя! — воскликнула Инесса. — В этом ужасном домишке вашего тестя я не могла вас разглядеть!.. О, да вы на самом деле прелестны!.. Прелестны, восхитительны! Прекрасные глаза!.. Прекрасные волосы!.. А какая белая и розовая кожа!.. Но вы не заботитесь еще об одном, что прибавило бы вам красоты. Моя прелестная Бианка! Ведь вы ужасно одеты.

— Одеваются как могут.

— Правда, это не ваша вина и даже не вина вашего мужа. Бедняжка! Я знаю, вы не богаты. О! Мне рассказывали вашу историю. Она очень интересна, очень интересна!.. Клянусь вам, я плакала, представив ваше отчаяние, когда вам пришлось выбирать или скандал, или бегство... Ну, как бы то ни было, вы избрали все-таки лучшее. Говорят, ваш муж не дурен собой, вы его любите, он любит вас... А теперь, когда великий герцог интересуется вами обоими... он так добр!.. От вас, моя милая, зависит, чтобы в самом скором времени занять достойное положение во Флоренции. Но дело теперь не в том. Я все болтаю пустяки... Дело вот в чем... Не правда ли, ведь вы немного кокетливы? Если нет, так вы не были бы женщиной, и к тому же в Венеции. Ведь у вашего отца вы не носили платья из такой грубой материи. Герцог придет через час, у нас есть еще время, и если хотите... мы одного роста, и у меня есть совершенно новое бархатное платье, вы наденете его.

— Но...

— Что но? Я мать, я хочу быть и вашей матерью... Разве стыдно принять подарок от матери? Посмотрите, разве это не лучше, а?..

Синьора Мандрагоне вынула из шкафа голубое бархатное платье, отделанное золотом и жемчугом, вид которого заставил Бианку Капелло вспыхнуть от радости.

Эта радость сама по себе была ответом.

— Вы согласны? — начала Мандрагоне. — Bravo! Скорей, скорей, сбрасывайте эту ужасную черную хламиду!.. Хорошо быть прекрасной, мое дитя, но изящество никогда не вредит. Я сама буду вашей горничной. Так, так!.. О, что за великолепная грудь, а какая талия! Как прелестна рука, как тонка кисть! Как кругла эта ляжка! Как узка и мала нога! Синьору Буонавентури нечего жаловаться. Вы лакомый кусочек, честное слово!.. Вы рождены быть королевой, моя милая!..

Сконфуженная этими похвалами, полураздетая Бианка, стоя посреди будуара с опущенными глазами, с руками, сложенными на груди из чувства стыдливости, ожидала, чтобы импровизированная горничная надела на нее платье.

Но та не спешила.

Быть может, вы догадались, что не одна Инесса Мандрагоне присутствовала при этой сцене. При ней присутствовало другое невидимое лицо — Франческо Медичи, скрывавшийся в комнате за стеклянной дверью, выходящей в будуар. Сцена эта была повторением многих других, разыгрывавшихся здесь же при таких же обстоятельствах. Все это делалось потому, что, раздеваясь, женщина часто в чем-то теряет из своих прелестей, и чтобы избавить великого герцога от возможных разочарований, остроумная испанка изобрела только что описанное освидетельствование.

Нужно ли говорить, что, выйдя победительницей из этого осмотра, Бианка Капелло

вскоре увидела вошедшего великого герцога. Он едва дал время Мандрагоне завершить туалет прекрасной венецианки.

Но как бы ни был влюблен в нее Франческо, он не мог обращаться с Капелло как с простой мещанкой.

Расставаясь с Бианкой, великий герцог сказал ей:

— Если вы позволите, синьора, то я буду иметь честь увидеть вас снова у вас, в вашем дворце.

В тот же день Пьетро Буонавентури был приглашен к Франческо, который объявил ему, что принимает его к себе в качестве шталмейстера с жалованьем в сорок тысяч секинов (около 40 000 ливров) в год. И что, кроме того, жене его дарит дворец Кастелини, в трех милях от Флоренции у подножия горы Мурельо.

За три мили от Флоренции! Радость, испытанная Пьетро в начале речи, сильно поубавилась в конце оной. За три мили! Удерживаемый в городе своею службой, он будет не в состоянии видеть Бианку. Но он желал этого. Он продал свою жену. Теперь покупатель был вправе взять у продавца купленную вещь.

Продавцу нечего было рассуждать. И он не рассуждал...

— Государь, вы меня осыпаете милостями! — вскричал Пьетро, падая перед Франческо на колени.

— Вы довольны, мой друг?

— Я в восхищении, государь!

— Следуйте же за Джузеппе, моим первым камердинером, который покажет вам ваши комнаты. С этого вечера вы начнете вашу службу.

Джузеппе вошел, но Пьетро не спешил за ним следовать.

— Это что? — спросил великий герцог новоиспеченного шталмейстера. — Вы хотите мне что-то сказать, Буонавентури?

— Простите меня, ваша светлость, — отвечал тот, — но я полагал... я думал... жена моя ничего не знает...

— Не беспокойтесь, мой друг, жена ваша знает все. В то самое время, как я пригласил вас сюда, синьора Мандрагоне, жена капитана моей гвардии, отправилась к вашему отцу, чтобы объяснить о моих намерениях относительно синьоры Буонавентури. В эту самую минуту ваша жена едет в коляске в свой дворец вместе с этой милой Мандрагоне, которая согласилась сопровождать ее. О, еще раз не беспокойтесь! Дворец меблирован!.. Я подумал обо всем... У синьоры Буонавентури ни в чем не будет недостатка. Ясно, что если для вас слишком трудно быть несколько времени с ней в разлуке, я не воспротивлюсь. Но в таком случае, мой друг, я буду вынужден отменить назначение вас в звании шталмейстера, потому что эта должность заключается в том, чтобы постоянно находиться при мне, а...

— Все, что сделано вашей милостью, сделано хорошо, — воскликнул Пьетро. — С той минуты, как жена моя знает, чем она обязана вашей светлости, я был бы достоин порицания, если б сохранил — а я не сохраняю — излишнюю заботливость о ней. Я увижусь с ней позже, когда мне позволит моя служба.

И Буонавентури последовал за главным камердинером, обязанность которого заключалась не только в том, что бы показать ему его комнаты, но еще и в том, чтобы объяснить ему обязанности шталмейстера — самые важные придворные обязанности, которые тем не менее не были синекурой.

В конце концов Пьетро Буонавентури достиг исполнения своего самого пламенного

желания и находился на пути к богатству и почестям. И чтобы утешиться в тоске от разлуки с женой, он мог говорить, да и говорил, самому себе, что поскольку его должность обязывала его не удаляться от его светлости, то и его светлость не мог удалиться без того, чтобы он не знал об этом.

Между тем неделя, две, три недели прошли, а великий герцог не показывал и тени намерения отправиться в Кастелини.

— Он скрытен, это хорошо! — сказал себе Буонавентури в первую неделю; на исходе второй он начал удивляться столь повышенной скромности великого герцога, а в середине третьей, став за ним шпионить, заподозрил неладное и в скором времени вполне жестоко убедился...

Его светлость был скрытен только с ним; каждую ночь, когда шталмейстер спал во дворце Питти, его светлость отправлялся в Кастелини.

«Какой же я был дурак, — подумал Буонавентури, — если полагал, что великий герцог только ради моей рожки дал мне место в сорок тысяч секинов и дворец Бианке... Все равно. Но он дурно делает, скрывая от меня.»

«Дурно!..» Произнеся это слово, флорентиец печально улыбнулся. Вместо того чтобы упрекать Франческо Медичи за молчание кое о ком, не стоило ли ему просто поблагодарить его?

Но Бианка, которой он писал три раза в течение трех недель, каждый раз отвечала, что она счастлива. Бианка, стало быть, обязана этим счастьем великому герцогу?.. Она уже не любила своего мужа?..

— Я узнаю, я должен все узнать! — сказал он самому себе.

Однажды ночью, удостоверясь, что Франческо занемог и не покидает дворец, он сам отправился в Кастелини.

Роли переменились, на этот раз муж обманывал любовника.

Пьетро Буонавентури знал Флоренцию как свои пять пальцев.

У него была прекрасная лошадь, ему следовало проехать всего три мили, и через полчаса он был против дворца Кастелини. Теперь Пьетро оставалось только незаметно пробраться к жене, ибо если он желал объяснения с ней, то вовсе не хотел терять должности, навлекая на себя гнев великого герцога.

Дворец возвышался посредине обширного сада, окруженного стенами и засаженного большими деревьями; Буонавентури, встав на лошадь, перескочил через стену и направился к дому. В открытом окне первого этажа светился огонь. Не освещал ли он комнаты Бианки? Решась на все, Пьетро не колебался. Громадный дуб возвышался в нескольких шагах от постройки, как бы лаская ее своими ветвями. Припомнив время, когда он воровал галочки гнезда, шталмейстер полез на дерево.

Свет исходил из спальни Бианки; со своей «обсерватории» Пьетро видел, что она читала лежа. Одним прыжком он очутился на балконе, а с балкона в комнате.

Бианка вскрикнула. В первую минуту от страха она не узнала своего мужа.

— Молчи!.. Это я!.. — сказал он, затворяя за собой дверь.

— Вы?

Она сделалась еще бледнее.

Он начал:

— Да, это я. Тебя удивляет видеть меня ночью, пришедшего сюда тайно? Так нужно было, потому что мне запрещен другой час и другой путь. Ах, признаюсь, есть

покровительства, которые дорого стоят!.. И если б начинать снова... Но жребий брошен!.. Между тем я не считаю себя навеки разлученным с тобой, моя Бианка. Я тебя все еще люблю. А ты довольна, что видишь меня? Да говори же! Вот уже три недели, как я не жал тебе руки, а у тебя для меня не находится ни слова!.. Разве я сделал ошибку, что пришел сюда? Так можно предположить, судя по твоей физиономии.

— И не ошиблись бы, думая так, — сказала Бианка мрачным голосом.

Пьетро сдвинул брови.

— А! — с горечью произнес он. — Я совершил ошибку. Это значит, что ты перестала любить меня и любишь Франческо Медичи?

— Если б это и было, чему вы удивились бы? Не все ли вы сделали, чтобы я полюбила великого герцога?

— Бианка!

— Вы бросили меня в объятия Франческо Медичи. Я была вашей женой, вы сделали из меня куртизанку. Мой любовник осыпает вас золотом, вы его первый служитель. Чего же вам еще нужно от меня?

— Несчастливая, я же поступил так низко не только ради себя, но и для тебя!

— Вы лжете. Вы ради одного себя стали подлецом, я была только вашим орудием.

— Но мне нечем было тебя кормить.

— Меня следовало убить, а не продавать.

— А почему ты согласилась на торг?

— Почему вы сделали меня бесчестной через вашу бесчестность? Я женщина. Мне недоставало поддержки... Я пала! Вам нравится ваша грязь, я привыкла к своей.

— Да, это правда, очень привыкли!.. Так привыкли, что вам трудно будет теперь из нее выйти... Ты любишь Франческо Медичи?

— Нет, не люблю, если сравнивать то, что я чувствую к нему, с тем, что я некогда чувствовала к вам. Да, люблю, если класть на весы ту признательность, которую он мне внушает, с той ненавистью, какую я питаю к вам.

— Ненавистью?!

— Я все сказала.

Стоя неподвижно перед женой, с лицом, на котором выражались удивление и гнев, Пьетро Буонавентури безмолвно смотрел на нее.

Она продолжала:

— Вы желали меня видеть, говорить со мной, — вы видели меня, говорили, и я полагаю, что вы не возобновите посещения, неприятного для меня и для вас. Прощайте же! Уходите. Через коридор, позади этой двери, вы достигнете лестницы, по которой вам легче будет выйти, чем по той дороге, по которой вы пришли.

Говоря все это, Бианка рукой показала Пьетро на дверь в глубине комнаты.

И тут рубашка на молодой женщине вдруг слегка опустилась и обнажила ее бело-мраморную грудь...

Она даже и не подумала об этом. Ее муж перестал быть для нее мужчиной, и она полагала, что тоже перестала быть для него женщиной. Она ошиблась, любовь Пьетро Буонавентури была любовь чувственная. Воспламененный при виде этих прелестей, которые ему принадлежали и которые еще принадлежат ему, алчный до наслаждений, которых он был лишен целых три недели, он, вместо того чтобы идти к двери, приблизился к кровати и, обняв рукой тело жены, покрыл его поцелуями.

Новый крик вырвался из груди Бианки, крик более жестокий для Пьетро, чем тот, которым она приветствовала его внезапное появление, — этот крик выражал не страх, а отвращение и ужас...

— Прости меня! — шептал он. — Я люблю тебя. Пожалей: я люблю! Бианка, моя Бианка! Умоляю тебя, не гони меня, я в таком отчаянии!.. Один только поцелуй с твоих дорогих губ... один только... и я уйду.

Она не отвечала, но из-под ее ресниц вылетел взгляд такого подавляющего презрения, что Пьетро отскочил.

— О! — воскликнул он. — Но я твой муж, я имею право!

— Хочешь еще больше испачкать меня? Что ж, пачкай, если тебе так нравится! Но предупреждаю, я все скажу герцогу.

— Несчастливая!.. Ты осмеливаешься угрожать мне?..

— Почему бы нет? Вы же угрожаете мне Своими ласками, хотя я сказала вам, что вас ненавижу.

Буонавентури отер холодный пот, покрывавший его виски, потом, возвращая жене своей взглядом ненависть за ненависть, сказал:

— Бог справедлив! Я жну, что посеял. Прощай же Бианка, прощай навсегда! Я забуду тебя!..

И он скрылся.

Свежий воздух ночи, безмолвие дороги возвратили спокойствие Буонавентури, и он стал оценивать свое положение.

— Я глуп, — говорил он самому себе, — за минуту сладострастия я испортил бы всю свою будущность. Бианка не любит меня — она свободна! Я полюблю другую, десять других!.. Я продал мою жену Франческо Медичи, с его золотом я куплю десяток любовниц. Но скажет ли Бианка о моем посещении своему любовнику? С какой целью? Это не принесет ей ничего. Нет, она не скажет ему!..

Буонавентури ошибался. Когда, совершенно выздоровев, Франческо Медичи явился во дворец, Бианка, в слезах бросившись к нему, рассказала все.

Герцог побледнел.

— Столь необычайная дерзость заслуживает строгого наказания, — сказал он.

Он еще не кончил, а молодая женщина уже жалела о своей откровенности. Она ненавидела Пьетро, но не желала ему смерти.

А чтобы отомстить этому человеку, который осмеливался еще любить свою жену, Франческо Медичи, быть может, велит убить его.

— Нет, — возразила она. — Не наказывайте его, мой друг! Если я вам все сказала, то потому, что сегодня, как и всегда, для вас не должно быть тайн в моей жизни, но не затем, чтобы заставить вас наказать за поступок, который, я уверена, никогда не повторится.

— Хорошо! — ответил Франческо. — На этот раз я прощу негодяю, но только на этот раз.

Герцог сдержал слово: в этот раз он простил Буонавентури.

Но от судьбы не убежишь, а судьба мужа Бианки заключалась в том, чтобы недолго наслаждаться счастьем, купленным недостойной сделкой с совестью.

Решившись, как мы сказали, забыть жену, Буонавентури очертя голову бросился во все тяжкие. Он был молод, красив, хорошо сложен, имел, благодаря герцогу, много золота, а потому мало встречал жестоких. В начале 1566 года он почти серьезно влюбился во вдову

Кассандру Бонджиани.

«Эта вдова, — говорит манускрипт, — была одной из прекраснейших и развратнейших женщин своего времени, ее любовь была уже причиной смерти двух флорентийских дворян хороших фамилий. Страсть, внушенная ею Буонавентури, была так сильна, что он выражал ее совершенно явно перед всеми, не заботясь о родных своей дамы, которая, однако, принадлежала к одной из первых семей в городе и к одной из самых многочисленных, потому что, со своей стороны, Кассандра имела не меньше двенадцати племянников. Один из них, Роберто Риччи, вне себя от гнева из-за разврата тетки, отправился к ней с выговором. На другой день Буонавентури публично объявил этому Риччи, что будет видеться с Кассандрой сколько ему заблагорассудится и что сумеет найти способ прекратить оскорбления, одним словом, что пока она будет находиться под его покровительством, то Риччи поступит благоразумно, оставив ее в совершенном покое».

Роберто Риччи, по словам того же манускрипта, пришел в еще большую ярость и дал клятву отомстить любовнику тетки. Со дня этой ссоры Буонавентури остерегался выходить ночью в одиночку и всегда брал с собой одного из своих друзей, Николо Билокчи, и верхового.

Однажды ночью, возвращаясь от Строщи во дворец Питти, при въезде на мост св. Троицы, он услышал крик на незнакомом языке, которому отвечали с другого берега реки. В то же время он и его спутники были окружены дюжиной личностей. Николо Билокчи тотчас же благоразумно обратился в бегство. Верховой, получив пару ударов по голове и услышав обращенный к нему призыв спастись, последовал этому совету. Буонавентури тоже побежал по дороге, называемой Маджио, но и там были вооруженные люди, заставившие его вернуться назад. Он бросился к портику одного дома, но двое убийц, скрывавшиеся в тени, повергли его на землю ударом ножа. Раненый Буонавентури выстрелил в одного из убийц и убил его. К несчастью, этот выстрел послужил как бы сигналом. Вся шайка бросилась на него с Роберто Риччи во главе, которого Буонавентури узнал и которому перед самой смертью имел удовольствие раскроить череп.

На другой день после смерти Буонавентури Кассандра Бонджиани была убита в постели негодяем по имени Джунтонеди Кафентино, прокравшимся через камин в спальню вдовы.

Участвовал ли Франческо Медичи, хотя бы косвенно, в убийстве своего шталмейстера? Одни говорят — да, другие — нет. Но вопрос этот не может особенно занимать нас. Во всяком случае, откуда бы ни поразила смерть Пьетро Буонавентури, она поразила его в то время, когда честолюбие его было удовлетворено, когда он сделался богат и сравнительно могуществен.

Первый, кто рассказал Бианке подробности убийства Пьетро Буонавентури, была синьора Мандрагоне, ее самая близкая приятельница и поверенная.

Бианка молча выслушала этот рассказ, не выразив ни печали, ни радости. Когда Мандрагоне кончила, она лишь сказала ей:

— Благодарю вас!

Потом встала и пошла в свою молельню, в которой и заперлась.

«Она молится за душу умершего! — подумала испанка. — Это хорошо! Все-таки он был ее мужем...»

И, со своей стороны, добрая душа помолилась за Пьетро Буонавентури. Но молилась ли Бианка Капелло? Нет. Стоя перед зеркалом, она мечтала. Она мечтала о том, как пойдет ей великогерцогская корона.

О короне? Но ведь во Флоренции уже была герцогиня. Анна Австрийская. Она существовала с 1565 года, но о ней мало кто думал...

Франческо Медичи не любил Анну Австрийскую и до женитьбы, было бы странно, если б он полюбил ее после, безумно влюбившись в Бианку Капелло. Так же очень странно, что только после свадьбы великий герцог открыто признал Бианку своей любовницей: до того времени он тщательно скрывал свою связь с ней. Но, соединившись с сестрой Максимилиана II, Франческо перестал скрываться и показывался на прогулках рядом со своей любовницей, проводил у нее во дворце по целой неделе... В оправдание Франческо Медичи мы должны сказать, что Анна Австрийская была самая несносная женщина в мире. Один историк сравнивает ее с кристаллизованной льдиной. Выражение оригинально и, по-видимому, справедливо. При этом же Франческо Медичи в любви был игрок первостатейный; понятно, что он предпочел льдине женщину, обладающую огненной страстностью.

«Чтобы сильнее приковать к себе своего августейшего любовника, — говорит тот же историк, — Бианка Капелло достигла искусными и остроумными изысканиями такого совершенства, что в ней, казалось, было двадцать равно обольстительных женщин. Сегодня томная, завтра живая и радостная, в это утро целомудренная и почти боязливая в сдержанных выражениях нежности, а вечером, подобно вакханке, в опьянении отдающаяся всем восторгам страсти, — как Протей, способная являться во всех формах, — Бианка в одно и то же время действовала и на сердце, и на чувства великого герцога, на его ум и на его душу, восхищая и изумляя его».

В 1568 году она поселилась во Флоренции в великолепном дворце — Строцци. В то время как Анна Австрийская, уединясь в своих суровых покоях палаццо Питти, важно слушала чтение какой-нибудь священной книги, Франческо Медичи, сидя рядом со своей дорогой Бианкой в изящном будуаре или изнеженно лежа у ее ног на траве, упивался с нею любовью.

Наверное, в Строцци за один час расточалось столько же улыбок, сколько в Питти за целый год, а между тем постоянно, когда она проезжала мимо жилища Анны Австрийской, Бианка с трудом удерживала вздох. Почему? Если дворец Питти был мрачен внутри, он был так же сумрачен и снаружи... Прочтите у Тэна в его путешествии в Италию, он там превосходно описывает это мрачное колоссальное здание!..

Это была скорее тюрьма, чем дворец. А Бианка Капелло завидовала участи этой женщины, жилищем которой была эта каменная громада!..

Но та, хотя и покинутая, была первой в Тоскане. Она была великою герцогиней.

Бианка Капелло хотела занять ее место.

Это было в 1577 году; прошло четырнадцать лет, как Бианка стала любовницей великого герцога, — правда, только лишь любовницей, не более.

Анна Австрийская оставалась покинутой Франческо Медичи; к великой досаде Бианки Капелло, Анна Австрийская, умершая для света, продолжала жить в той великой гробнице, которая называлась дворцом Питти.

Надо, однако, полагать, что несмотря на отвращение, питаемое Франческо Медичи к своей жене, он время от времени, с целью продолжить свой род, сближался с нею, поэтому три раза она дарила ему по ребенку. То были плоды чисто политических сношений, но — плоды женского рода, а великий герцог ждал сына.

Кристаллизованная льдина, воистину, ни на что не была годна.

Желание Франческо иметь сына подсказало Бианке план, который позволило

осуществить долгое путешествие герцога.

Согласившись с Инессой Мандрагоне, с годами ставшей еще более преданным другом, Бианка, за три месяца до того, как великий герцог готовился покинуть Флоренцию и отправиться в Вену, начала проявлять все признаки беременности. Вспыльчивость и раздражительность, чрезмерная чувствительность, беспричинная печаль и беспричинная радость — все было пущено в ход, чтобы уверить любовника в его будущем отцовстве.

Легко обманываются тогда, когда чего-то ждут, а Франческо уже давно хотел ребенка от Бианки. Наконец желание его исполнилось, он благословил небо, и когда уезжал, то не было такой нежности, какую он не обратил бы на нее, касаясь дорогой надежды, которую она носила под сердцем.

— Помни, — улыбаясь, сказал он ей, — что у меня нет сына и что, следовательно, когда я вернусь, ты должна дать мне сына.

— Я буду молиться Богу, чтобы вы были удовлетворены, — скромно ответила Бианка. Оставшись одни, Бианка и Мандрагоне разразились хохотом.

— Да, я представлю ему сына, когда он вернется, — сказала Бианка. — Но нужно найти этого сына.

— Мы его найдем! — ответила Мандрагоне. — Когда дают деньги, ни в маленьких детях, ни в больших недостатка не бывает... Только, если вы мне верите, синьора, мы его будем искать не во Флоренции. Здесь слишком много глаз! Напротив, в Кастелини мы будем совершенно свободны. К тому же вокруг вашего дворца есть много хижин бедняков, которые всю свою жизнь занимаются увеличением народонаселения Тосканы... Одним наследником больше или меньше за несколько золотых монет — раз плюнуть для этих мужиков... Нам останется только выбрать.

— Но, — возразила Бианка, — кто поручится нам, что эти мужики сохранят тайну нашего торга?

— Не беспокойтесь, когда мы будем там, мы все устроим.

Через три месяца, под тем предлогом, что городской шум ее утомляет, Бианка отправилась в свой увеселительный дворец у подножия горы Мурелью. Там, несколько дней спустя, в сопровождении своей подруги, она начала не то чтоб настоящие розыски — было еще слишком рано, — но разведку того, что им требовалось.

Инесса Мандрагоне не ошиблась, стоило только побывать в хижинах по соседству с дворцом. В Мурелью, Монтелупо, Фиезоле божественное изречение «Плодитесь и размножайтесь!» приводилось в исполнение с несравненным радением. Эти деревушки были истинными рассадниками ребят.

— Это странно! — говорила Бианка Мандрагоне. — Все эти женщины, большинство которых ничего не может дать своим детям, кроме бедности, — плодовиты, а я, сын которой был бы принцем, — бесплодна!

Мандрагоне не знала, что ответить Бианке; философ ответил бы ей:

— Бог благословляет законные союзы и отвращается от прелюбодейной любви.

Среди других хижин, в которые любила заходить Бианка, мечтая о том сыне, которого она хотела купить, была хижина рыбака из Мурелью, по имени Джиакомо Боргоньи, жена которого была беременна шесть месяцев. Антонии было девятнадцать лет, она обожала своего мужа. Между тем последний обходился с ней холодно.

На вопрос, сделанный однажды Бианкой о характере ее мужа, Антония отвечала:

— Увы, синьора! Мы очень бедны, и с тех пор, как я беременна, Джиакомо с еще

большей грустью видит нашу бедность. Он говорит, что имея только для двоих, нам нечего делать с ребенком... а не имея возможности жаловаться на милосердного Бога, он жалуется на меня... Как будто это моя вина!..

Бианка и Мандрагоне обменялись взглядами. Этот человек, который сожалел, что он отец, годился для них, с ним можно было уладить дело.

— Правда, — сказала Мандрагоне, — ребенок — тяжелая ноша!..

— О! — возразила крестьянка. — Но это также счастье!..

— А! Так вы не разделяете чувств вашего мужа?..

— Я?.. О нет!.. Я говорила Джиакомо, что, когда наш ребенок родится, он не будет нам в тягость, сначала я буду кормить его моим молоком, потом... потом моим хлебом. Я буду есть немного меньше — вот и все.

— Мать будет труднее убедить, чем отца, — сказала по окончании этого разговора Бианка Мандрагоне.

— Ба! — ответила последняя. — Если он прикажет, она послушается. Словом, мы увидим, что нам делать, когда настанет время.

Однажды утром Антония Боргоньи родила сына.

Вечером Мандрагоне явилась к рыбаку.

Мать спала на постели, рядом с ней сын, отец поправлял свои сети при свете костра из виноградных лоз. При виде посетительницы он поспешил оставить свое занятие.

— Мне нужно поговорить с тобой, Джиакомо, — сказала она.

— Я вас слушаю, синьора.

— Не здесь. Пойдем.

Рядом с хижинкой был маленький садик, в него-то и привела синьора крестьянина. Сидя рядом с ним, она без предисловий сказала:

— Хочешь получить тысячу секинов?

Тысячу секинов? Целое состояние! И у него спрашивают, хочет ли он получить?..

Сначала он ответил «Да!», потом спросил: «Нужно убить человека, который вам неприятен? Я готов».

Мандрагоне улыбнулась.

— Нет, — ответила она. — Не то.

— Что же?

— Мне нужен твой сын.

— Мой сын?..

— Да. Одна моя подруга, у которой нет детей, хочет иметь одного. Отдай мне ребенка, я тебе дам тысячу секинов. И будь покоен, он будет счастливее, чем у тебя. Ну?..

Джиакомо молчал. Предложение, хоть и было выгодно, тем не менее произвело на него неприятное впечатление. Он почти ненавидел своего ребенка до того, как он явился на свет, но он полюбил его, когда тот родился.

— Ну же? — повторила Мандрагоне.

— Но жена... жена никогда не согласится... — пробормотал он.

— Разве тебе нужно спрашивать у жены?

— Я вас не понимаю.

— Ты поймешь сейчас. Сегодня ночью, когда жена твоя будет спать, ты возьмешь ребенка и принесешь ко мне. А когда жена твоя проснется, ты скажешь ей...

— Что я скажу ей?

— Не проходят ли здесь цыганские таборы?

— Да, бывает.

— Ну, так какая-нибудь цыганка в твоё отсутствие не могла разве войти в твою хижину и похитить ребенка, пока мать спала? Эти проклятые египтяне все воруют детей, это известно. Теперь твой ответ. Слушай, я не хочу торговаться и даю тысячу пятьсот секинов.

Джиакомо поднял голову. Он начал входить во вкус.

— Две тысячи, — сказал он.

— Гм! А ты жаден, мой друг! — сказала испанка. — Ну хорошо, две тысячи.

— Где я найду вас?

— В полночь у развалин старинного монастыря в Фиезоле.

— В полночь. Ладно.

В полночь Инесса Мандрагоне, в сопровождении хорошо вооруженного лакея, испанца по имени Сильва, преданного ей душой и телом, была на месте назначенного свидания. В четверть первого пришел Джиакомо с ребенком.

— Вот! — сказал он глухим голосом. — Деньги?

— На. Но что случилось? Твоя жена?..

— Не бойтесь, жена моя ничего не скажет. Она умерла.

— Умерла?!

Не дав никакого другого объяснения, рыбак взял мешок с золотом и удалился.

— Умерла! — повторила потрясенная Мандрагоне. — Он убил ее!..

И после некоторого молчания, обернувшись к своему спутнику, проговорила:

— Вот какое дело, Сильва. Я хотела показать тебе этого человека, чтобы, как-нибудь поспорившись с ним на дороге, ты убил его... Но если он сам убил свою жену, то нам нечего хлопотать о нем, потому что, вероятно, он сегодня же покинет страну, чтобы никогда больше в ней не появляться.

Мандрагоне как в воду глядела. Уйдя из Фиезоле, Джиакомо вместо того, чтобы направиться к дому, пошел в другую сторону. И его больше не видели в Мурелью.

Вот что произошло между рыбаком и его женой. Когда, воспользовавшись сном бедной матери, он, следуя совету Мандрагоне, хотел взять ребенка, она проснулась. Тщетно Джиакомо уверял, что он хочет поцеловать своего дорогого малютку, крестьянка, пораженная каким-то мрачным предчувствием, упорно отказывалась хоть на минуту расстаться со своим сокровищем. Время приближалось, его ждали в Фиезоле с двумя тысячами секинов... Кровь бросилась в голову негодяю. Ничего не добившись лаской, он пошел на насилие.

— Это такой же мой ребенок, как и твой! Я требую его себе!

— Для чего? Чтобы убить его?

— Да нет же!.. Он будет очень счастлив... счастливее, чем у нас. Мне поклялись.

— Счастливее, чем у нас? Где, с кем?..

— Я тебе расскажу позже. Отдай мне его!..

— Никогда!.. Джиакомо, из милости, из жалости... оставь мне моего ребенка. Мы уйдем с ним, если ты боишься, что тебе дорого будет стоить прокормить нас!.. Помогите!.. Помогите!.. Боже мой, у меня похищают сына!.. О! Отец похищает сына у матери... Подлец!.. Нет, нет!.. Лучше убей меня!

И он убил ее.

Во время борьбы огонь, освещавший хижину, упал и рассыпался по полу. На помощь

убийству подоспел пожар. Оставив горящую хижину и в ней труп несчастной женщины, Джакомо с ребенком убежал.

Остальное известно.

На другой день Бианка Капелло написала Франческо Медичи:

«Монсеньор!

Бог услышал нас: у нас сын. Назначьте имя, которое он будет носить».

Франческо дал своему подложному и прелюбодейному сыну имя Антонио Медичи и купил для него в Неаполитанском королевстве маркизство, которое давало в год дохода не менее ста тысяч экю.

Богатый и благородный с колыбели, сын рыбака мог похвастаться, что родился увенчанный...

И как будто само небо хотело оказать свое покровительство дурному поступку и преступлению Бианки Капелло: на другой год после того, как она подарила сына своему любовнику, Анна Австрийская умерла, родив четвертую дочь.

Через пять месяцев — 20 сентября 1579 года — Бианка Капелло сделалась великой герцогиней...

Но брак этот произошел не без неприятностей. У Франческо было два брата: Петро Медичи, служивший при испанском дворе, и Фердинанд, живший в Риме, Братья осмелились издали сделать ему несколько замечаний по поводу его намерения жениться на любовнице, на вдове какого-то Пьетро Буонавентури. Эти замечания мало повлияли на великого герцога, но он предвидел противодействие со стороны Испании, от которой зависела Тоскана, и уведомил о своем браке Филиппа II, позаботившись прибавить к письму сумму в пятьсот тысяч экю.

Филипп II дал ему полную свободу жениться на ком он хочет.

Успокоенный с этой стороны, великий герцог дал знать Венецианской республике, что он желает ближе соединиться с ней, женись на дочери св. Марка. И тот же сенат, который публично покрыл бесславием Бианку Капелло и оценил голову ее обольстителя, на этот раз осыпал ее почестями; он отправил во Флоренцию двух посланников и патриарха Аквилея, чтобы присутствовать на брачной церемонии и передать новой великой герцогине диплом, которым она признавалась кипрской королевой.

Один из посланников возложил на голову Бианки королевский венец, после того как она получила от Франческо Медичи обручальное кольцо.

Великая герцогиня и королева!.. Правда, королева несуществующего королевства, потому что в 1579 году остров Кипр уже восемь лет как принадлежал туркам, но что за дело! Бианка все-таки носила корону.

Но отчего во время обедни, торжественно совершавшейся в кафедральном соборе пизским архиепископом Ринуччини, новобрачная — великая герцогиня и королева — побледнела и задрожала, как будто какая-то мрачная мысль затмила ясную лазурь ее счастья?..

Потому что в ту минуту, когда она вошла в церковь, один монах, совершенно скрытый капюшоном, тихо сказал ей: «Ты счастлива, королева? Подумай же о тех, которые страдают, о тех, которые страдали! Помолись за отца и мать твоего сына!..»

Помолись за мать и отца твоего сына! Бианка должна была употребить всю свою энергию, чтобы сдержать крик ужаса, когда услышала эти слова, в смысле и в тоне которых она не могла ошибиться. Монах знал все. Но кто он? Без сомнения, это Джакомо Боргоньи!

Он еще в монастыре догадался, каким образом использовали его ребенка, и оплакивал там несчастную мать, убитую им, а теперь пришел напомнить ложной матери, что радости и слава этого мира — прах и тлен.

Кто бы ни был этот монах, нужно было во что бы то ни стало отыскать его и принудить к молчанию. Бианка не могла жить под его угрозой. А он, открыв ей тайну, явно угрожал ей.

Возвратившись во дворец, в свои апартаменты, где она обычно меняла свои бальные наряды, Бианка послала за Инессой Мандрагоне. Лежавшая в постели из-за болезни, Инесса, к сожалению, не могла присутствовать на свадьбе своего друга. Бианка умоляла ее в записке сделать все, чтобы повидаться.

С каким нетерпением она ожидала результатов своего послания!

Наконец возвестили о прибытии Мандрагоне. Даже и пожираемая лихорадкой, она поспешила на призыв Бианки.

Та в нескольких словах передала ей все.

— Ваша светлость правы, — сказала испанка, — этот монах — Боргоньи... Это он, чтобы избавиться от угрызений совести, надел рясу... И все бы было к лучшему, если б, вступив в монастырь, он ограничился забвением прошлого, но его поступок доказывает, что у него слишком хорошая память и острый ум: он угадал все, и какова бы ни была его цель, человек этот теперь больше чем угроза, это — опасность!.. Этот человек умрет!

Бианка не была жестока по природе, она вздрогнула при мысли, что убьют отца ее сына.

Мандрагоне заметила это и прибавила:

— Ваша светлость, если вы видите другое средство избавиться от этого человека, я готова повиноваться. Но подумайте, если Боргоньи употребил нечто вроде власти, когда его сын был еще в колыбели, то что же будет, когда этот сын явится во всем своем богатстве и могуществе? Гордость иногда бывает сильнее, если выходит из низкого источника...

Бианка кивнула в знак согласия.

— Ты права, — сказала она. — Я не смогла бы жить, если б всегда чувствовала, что этот человек может вдруг встать между мной и Франческо. Делай же то, что сочтешь благоразумней. А как ты собираешься найти его?

— О, Сильва знает Боргоньи! А Сильва столь же ловок, как и храбр. Если нужно будет, он один за другим обыщет все монастыри Тосканы, чтобы отыскать нашего монаха. Положитесь на него.

— А когда он начнет действовать?

— Завтра.

— Почему не сегодня вечером?

— Я послала его в Казаль за медиком, который, как меня уверяли, один в состоянии избавить меня от этой проклятой лихорадки.

— Да!.. Ты страдаешь, моя добрая Инесса!.. Ты очень страдаешь, а я стащила тебя с постели... Ложись скорее опять... Благодарю тебя!.. Завтра днем я увижу тебя. Прощай.

— До свидания, государыня! До свидания, моя королева! — сказала Мандрагоне, прижимая к своим иссохшим губам свежую и белую руку Бианки. — Не беспокойтесь! Будьте счастливы в мире, ваш друг всегда с вами.

Подруга, поверенная, соучастница удалилась, поддерживаемая двумя служанками. Великая герцогиня Тосканская, королева Кипрская, отправилась к своему супругу, которого ее долгое отсутствие начинало уже беспокоить.

Это был великолепный праздник, справлявшийся во дворце Питти в честь

бракосочетания Франческо Медичи и Бианки Капелло...

Не лжет та пословица, которая говорит, что нет светлого дня без черного: следующий день после свадьбы Бианки стал одним из самых печальных в ее жизни.

Пробило два часа, она собиралась отправиться к своей доброй Мандрагоне, когда неожиданно, в страшном смятении, явился великий герцог и сказал ей:

— Мой друг, если вы мне верите, то отложите этот визит на другой раз.

— Почему же? — удивилась Бианка, но, заметив растерянность Франческо, воскликнула: — Ах! Инесса скончалась?

Это была правда. Жертва своей привязанности к Бианке, Мандрагоне умерла ночью, возвратившись от герцогини. И странное стечение обстоятельств! Сильва, которого она послала за доктором, не смог выполнить данного ему поручения, ибо в ту самую минуту, когда он слезал с лошади, его сразил молниеносный апоплексический удар, против которого была бессильна любая медицина.

Бианка рыдала. Одним ударом рок лишил ее преданного друга и единственного человека, способного защитить ее от монаха Боргоньи!

Свидетель горести, первоначальную причину которой он не мог знать, великий герцог тщетно старался успокоить Бианку.

Тщетны были его увещевания, и он пошел за маленьким Антонио, взял его из колыбели и, подавая Бианке, сказал ей:

— Возьми его. Вот кто сумеет лучше меня успокоить тебя. Поцелуй нашего сына.

Их сына!.. Вид ребенка в эту минуту показался Бианке кровавой иронией. Вчерашняя радость сегодня превратилась для Бианки в отчаяние, в тяжелую цепь, которая приковывала ее к господину.

Между тем это крохотное создание — мальчуган двух лет, протягивал к ней свои ручки и бормотал: «Мама, мама!» Ах! Что бы там ни было, не должна ли была Бианка в будущем стать истинной матерью для Антонио?.. И, быть может, тронутый привязанностью к его сыну, Джакомо Боргоньи не осмелится смутить эту любовь, еще раз выйдя из своего мрака, чтобы пробуждать в ней память о прошлом и ужас будущего.

Бианка обманывалась. На следующий год, в день празднования ее свадьбы, при выходе из собора, в котором служилась обедня, когда она медленно проезжала по площади, монах — тот же самый — она узнала его голос! — пробравшись сквозь толпу, приблизился к дверцам ее коляски и повторил слова, которые были сказаны ей в минувший год: «Ты счастлива, королева? Подумай о тех, которые страдали, которые страдают. Помолись за отца и за мать твоего сына!»

И так из года в год, в тот же самый день, повторялись и это явление, и эти вещие слова.

Что побудило Джакомо Боргоньи действовать таким образом? То была его тайна! Но все более и более устрояясь этим дамокловым мечом, висевшим над ее головой, Бианка оставила как слишком опасный, первоначальный план возвести на трон своего мнимого сына и выразила желание примириться с ближайшим наследником своего мужа, кардиналом Фердинандом Медичи.

Великий герцог при первых же словах Бианки восстал против этого примирения. Фамилия Медичи, подобно Борджиа, пользовалась странной репутацией. Когда Медичи не убивали посторонних, они отравляли друг друга. Но Бианка настаивала: кардинал, убеждала она, прелестный синьор. Франческо уступил и написал брату письмо, на которое тот ответил, что как только завершит свои дела в Риме, то сразу же поспешит с приездом, и слал

курьера за курьером.

Для него приготовили великолепное помещение во дворце Питти, состоявшее из двадцати комнат. В день его приезда вся Флоренция осветилась огнями. Франческо и Бианка в нарядных костюмах встретили кардинала на пороге палатки. Великий герцог подал ему руку, но прежде чем насладиться сладостью братской дружбы, кардинал, целуя руку великой герцогине, сказал ей:

— Франческо в своем письме уверил меня, что вы были главной причиной его великодушного решения: искренне каюсь, я сомневался в этом, но теперь, когда я вас вижу, я больше не сомневаюсь. Если вы так прекрасны, то должны быть и добры.

Начало было недурно, и в течение восьми дней поведение Фердинанда не давало повода ни к малейшему подозрению в его искренности.

Это было время охоты: охоту Фердинанд любил до страсти. Чтобы доставить ему удовольствие, Франческо отправился с ним охотиться в леса Кайано, в нескольких милях от Флоренции. Естественно, что Бианка была вместе с ними. Они затравили оленя и кабана, затем отправились ужинать и ночевать в Поджио, прелестный увеселительный дворец, принадлежавший великому герцогу. На другое утро, как будто удивясь тому, что не нашел Франческо в его комнатах, кардинал спросил у его конюшего, где тот мог быть, и получил ответ, что его светлость в своей лаборатории.

— В лаборатории? — повторил Фердинанд. — В какой лаборатории?

— Разве вашей эминенции неизвестно, что его светлость занимается химией?

— Правда? Я вспоминаю теперь, что, будучи еще очень молодым, он выказывал чрезвычайную любовь к этой науке. Прошу вас, проведите меня в лабораторию его светлости, мне очень любопытно застать его там.

Конюший повиновался. Он провел его эминенцию до самого павильона, в котором Франческо, несмотря на вчерашнюю усталость, занимался своей любимой работой.

При виде своего брата он улыбнулся, льстя его любопытству, и любезно отвечал на все его вопросы.

— Это что? Это что? Это что?.. — не переставал расспрашивать Фердинанд. Указывая пальцем на каждую склянку, на каждую баночку, он интересовался названием заключавшегося в ней вещества, его употреблением и свойствами.

Он держал голубоватую склянку, герметически закупоренную хрустальной пробкой.

— А, это! — сказал Франческо. — Это яд, который я добываю, угадай — из чего? Из вишневых косточек. Случайно раскусив косточку, я был поражен горьким запахом ее ядра. Я произвел многочисленные опыты и достиг удивительных результатов. Только двух капель этой жидкости, влитых на слизистую оболочку глаза собаки или введенных в вены, достаточно, чтобы убить ее.

— А! Так это яд?

— Да. Не открывай. Запах может повредить тебе.

Фердинанд с выражением глубокого отвращения поставил склянку на прежнее место.

Между тем через несколько минут, когда было доложено, что ее светлость, герцогиня, ждет их завтракать, и оба брата оставили лабораторию, склянки на прежнем месте уже не было.

Кардинал в этот день, 19 октября 1587 года, был даже любезнее обыкновенного. Отправились на прогулку в гондоле по Арно, и все время Фердинанд не устал рассказывать пикантные вещи о римском дворе, давая тонкие и остроумные описания лиц,

его составляющих. Благодаря ему, день прошел так быстро, что Бианка шутливо упрекнула его.

— С вами время летит слишком быстро, ваша эминенция, — сказала она ему. — Живешь вдвое быстрее.

— Отныне, — отвечал кардинал, — я буду стараться говорить меньше.

— Нет! — возразила Бианка. — Тогда мы много потеряем!

Обедать возвратились в Поджио.

За десертом лакеи удалились, господа на свежем воздухе уничтожали пирожные, запивая их великолепным кипрским вином еще того времени, когда Кипр принадлежал венецианцам. Разговор продолжался, головы разгорячились, чему помогла веселость кардинала и доброе вино. Негритенок Ахмет принес в кувшине четвертую бутылку муската.

— За ваше здоровье, братец, и за ваше, сестрица! — сказал кардинал, чокаясь своим бокалом, до краев наполненным пурпурной жидкостью, с бокалами Бианки и Франческо.

— За ваше, братец! — весело ответили они.

И они все трое выпили...

Нет, не все. Выпили только великий герцог и герцогиня. Кардинал только сделал вид, что пьет.

Не успели они проглотить и глотка из этой четвертой бутылки, как, выронив из рук бокалы, Франческо и Бианка замятво упали на пол. Пораженный увиденным, негритенок с ужасом отбросил кувшин, содержимое которого смешалось с остатками бокалов, из которых пили их светлости.

— Хорошо, — шепнул негритенку Фердинанд Медичи и направился к двери. Там он закричал: — На помощь! На помощь! Их светлостям дурно!..

Перенесенные на постели, Франческо Медичи и Бианка Капелло скончались, не вымолвив ни слова.

«Кто был виновником этого ужасного злодеяния, — говорит историк XVI века, — это пока историческая загадка, которую остается разгадать».

Нам же ясно, что брата и его жену отравил Фердинанд Медичи.

Ценой этого преступления для Фердинанда Медичи стала тосканская корона, ибо тотчас же, отказавшись от своих священнических обязанностей, он вступил на трон.

«Под его правлением, — говорит тот же историк, — искусства и науки во Флоренции засияли полным блеском. Он был достойным преемником в фамилии Медичи!..»

Фердинанд был великий государь! Тем лучше! Значит, отравление его брата и невестки что-нибудь да значило.

Франческо Медичи был с большой пышностью погребен в склепе главной флорентийской церкви. Что же касается Бианки Капелло, то после смерти она в глазах Фердинанда снова стала куртизанкой, брак с которой был позором для его семейства, и он отправил ее для погребения подальше...

21 октября 1587 года, утром, лодка, управляемая двумя монахами, везла на пизское кладбище останки великой герцогини Тосканской.

Один крестьянин на руле, две служанки и лакей — таков был погребальный кортеж Бианки.

Рассказывают, что когда гроб с останками был опущен в могилу, какой-то монах, почти касаясь губами земли, прошептал, как будто мертвая могла его услышать:

— Покойся с миром, Бианка Капелло, я буду молиться за твоего сына и за тебя...

А что же стало с Антонио Медичи, сыном Франческо и Бианки? История об этом не говорит ничего, но скорей всего он не дожил до старости. Если Фердинанд Медичи не отравил его, то велел задушить, утопить или зарезать кинжалом.

В 1744 году жил в Риме князь, человек лет сорока, ужасно скучавший, хотя и обладавший всем, что может доставить удовольствие, то есть великолепным состоянием, приятной наружностью, умом, малой чувствительностью и отличным желудком.

Но все-таки князь Габриэли — богатый и красивый, не старый, не глупый, не злой и совершенно здоровый — скучал. Тщетно его многочисленные друзья приезжали каждый день в его великолепный дворец на Новой площади развлекать его, тщетно его прелестная любовница, актриса из театра делла Валле, синьора Фаустина, твердила ему с утра до вечера, что она его обожает, что она никогда не любила так, как любит его... князь с утра до вечера продолжал скучать.

Это был просто сплин. Ему начали досаждать и любовница, и друзья. Однажды вечером, возвращаясь в коляске с прогулки на Корсо, князь Габриэли, входя в свой дворец, был удивлен, услышав чей-то голос, звучащий из каморки рядом с кухнями и певший одну из ариеток Галуппи.

Голос был свеж и чист, хотя еще и не силен.

— Что это значит, Михаэль? — спросил князь, обращаясь к сопровождающему его лакею. — Кто это поет?

Лакей сконфуженно поклонился, заподозрив в этом вопросе упрек.

— Это дочь Гарбарино, нашего кухмистра, ваше сиятельство, Катарина, — отвечал он. — Маленькая такая девочка!.. Я уже запрещал ей петь.

Но князь жестом заставил его замолчать.

— Она поет недурно! — заметил он после небольшого молчания. — Сколько ей лет?

— Лет четырнадцать, ваше сиятельство.

— Недурно! Право недурно! Кто ее учил петь?

— Полагаю, ваше сиятельство, что она сама выучилась...

— Сама?.. Да ведь нужно же было, чтоб она где-то услышала эту арию! Ступай за этой девочкой, Михаэль...

— Сию минуту, ваше сиятельство.

— И приведи ее ко мне в залу.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Князь Габриэли страстно любил музыку. Да и кто из итальянцев не любит ее?!.. Он сидел у себя в комнате, нетерпеливо ожидая ту маленькую Катарину, которая так сильно пленила его своим голосом.

Отворилась дверь, и князь вскрикнул от изумления...

Вместо одной девочки вошли две, одних лет, одного роста и удивительно похожие одна на другую, с той только разницей, что одна была брюнетка, а другая блондинка.

Брюнетка, не дав князю заговорить, подошла к нему и сказала:

— Ваше сиятельство, я Катарина. Михаэль мне сказал, что вы желаете поговорить со мной. Но так как сестра моя Анита ни на минуту не расстается со мной, я привела ее с собой. Вы на это не сердитесь?..

Князь улыбнулся.

— А за что же я рассержусь?

Катарина вздернула голову и весело погрозила пальцем лакею.

— А! — вскричала она. — Ты говорил, что монсеньору нужна только одна, а двух будет много!

— Сколько тебе лет, Катарина? — спросил князь.

— Четырнадцать, а сестре Аните тринадцать.

— Ты дочь Гарбарино, моего повара?

— Точно так. Нас зовут кухаренками.

— А у тебя, знаешь ли, славный голос!

— Вы очень милостивы. Я пою так себе, для развлечения. Михаэль говорит, что я виновата, потому что других мое пение не забавляет.

— Михаэль — дурак! Кто тебя учил петь?

— Никто, монсеньор.

— Где же ты слышала то, что повторяешь?

— В театре «Аргентине и Алиберти», я хожу туда по крайней мере два раза в неделю вместе с Анитой и тетушкой, она такая добрая и о нас очень заботится, потому что папеньке некогда: он все для вас...

— А сестра твоя тоже поет?

Брюнетка расхохоталась, тогда как блондинка опустила глаза, как будто чего-то стыдясь.

— Анита поет?.. Да она в жизни не умела взять ни одной нотки! Она так фальшивит, что и сказать невозможно! Конечно, это смешно, потому что я... все говорят, умею петь... Но она все-таки меня любит... Она не ревнива!.. И я тоже люблю ее от всего сердца. Не правда ли, Анита, что мы любим друг друга и никогда не расстанемся?..

Произнеся эти слова, Катарина нежно обняла свою младшую сестру.

— Скажи, чтобы Гарбарино пришел! — приказал князь своему лакею.

Катарина и Анита сделали гримасу.

— А, ваше сиятельство! — сказал первая. — Вы хотите бранить папеньку за то, что я слишком много пою?..

— Напротив.

— Как напротив?

— Ты погоди.

Гарбарино вошел.

— За твоими дочерьми смотрит твоя сестра? — спросил князь, обращаясь к повару.

— Точно так, ваше сиятельство.

— Хорошая женщина?

— Добрячка, ваше сиятельство.

— Она ни для чего, кроме этого, не нужна тебе здесь?

— Никак нет.

— Как ее зовут?

— Барбаца.

— Ну так скажешь синьоре Барбаце, чтобы она приготовилась завтра же отправиться в Неаполь с Катариной и Анитой.

— В Неаполь? Но...

— Дай мне сказать. У твоей старшей дочери Катарины большие музыкальные способности. Я понимаю кое-что в этом. Я хочу, чтобы она извлекла из них и славу, и состояние. В Неаполе она поступит в школу пения Порпоры, к которому я дам

рекомендательное письмо. За все издержки учения буду платить я и на себя же беру дорогу и все содержание ее там. — Тебе не хочется, чтобы я сделал из твоей дочери актрису?

— О, ваше сиятельство!..

Гарбарино бросился на колени перед князем.

Что касается Катарины, она скакала по залу и кричала:

— Какое счастье! Какое счастье! Я буду учиться петь! Я сделаюсь великой певицей, примадонной, какая есть в «Аргентине и Алиберти». Я буду получать много, много секинов и отдам их тебе, папа... и тетушке Барбаце... мне станут аплодировать... у меня будут прекрасные платья... наряды... и у тебя Анита тоже, слышишь?

Свидетель восторга будущей примадонны, князь хохотал от всего сердца.

Но Гарбарино схватил Катарину за руку и заставил ее остановиться.

— Негодная! — ворчал он. — Так-то ты благодаришь его сиятельство за его милость?..

Девочка сделалась серьезной и, в свою очередь, преклонила колена перед князем.

— О! — воскликнула она. — Я вам очень благодарна, ваше сиятельство, очень благодарна! И вы увидите, вы не будете жалеть... я стану трудиться... Но чего я никогда не забуду, так того, что вы не разлучаете меня с Анитой, хотя она вовсе не умеет петь.

— А! — воскликнул князь. — Ну, а если б я разлучил вас, если б я отправил тебя в Неаполь одну, без сестры?..

Катарина наклонила голову.

— Я не поехала бы, — ответила она.

— Это что же такое!.. — воскликнул Гарбарино.

Но князь поцеловал девочку в лоб.

— Ты права, — заметил он. — Талант, слава — еще не все в жизни: для артиста также полезно иметь около себя верного и искреннего друга. Береги же, сколько можешь, свою Аниту для себя. До свидания!

На другой день, как было сказано, Катарина и Анита вместе с теткой отправились в Неаполь.

Не все люди, случайно открыв в ребенке, покровительствуемом ими, будущую женщину, требуют впоследствии более или менее тяжелую плату за свои благодеяния.

Князь Габриэли единственно из любви к искусству и потому еще, что ему понравились веселость и грациозность Катарины, решил сделаться ее покровителем.

Единственная награда, о которой, быть может, он мечтал, заключалась в том, что он надеялся увидеть ее настоящей артисткой. А в ожидании того времени, когда он будет наслаждаться этой наградой, небо послало ему совершенно неожиданно другую.

Это приключение развлекло его.

Через неделю князь получил письмо от Порпоры, который в пылких выражениях благодарил его за то, что он прислал к нему Катарину. По словам великого музыканта, которого итальянцы прозвали патриархом мелодии, эта девочка должна была сделаться самой замечательной его ученицей. Природа удивительно одарила ее, наука должна будет развить этот дар. «Через три года, — писал в заключение Порпора, — вся Италия будет говорить о дочери вашего повара».

Приближалось назначенное Порпорой время, когда Италия прославится новой певицей. В один из вторников июля месяца 1747 года князь Габриэли получил письмо, в котором Порпора уведомлял его, что в следующую субботу, вечером, он приедет в Рим вместе с Катариной.

По этому поводу князь давал ночной праздник на своей вилле близ ворот дель Пополо — праздник, достойный королевы, возвращающейся в свой дворец. Под наблюдением княжеского управляющего парк виллы Габриэли превратился в истинные сады Армиды, где искусство спорило с природой. На озере венецианские гондолы, на каждом дереве, на каждой ветке светоносные плоды... и цветы... цветы повсюду...

Нигде ноги прогуливающихся не касались песка, потому что по песку был раскинут душистый ковер из розовых лепестков.

Горничные ожидали Катарину во дворце на площади Навоне, где, не будучи предупреждены, она, Порпора, Анита и тетушка Барбаца вышли из экипажа. Меньше чем через полчаса обе молодые девушки переменили свои скромные дорожные костюмы на изящные бальные платья.

Вслед за тем зеркальная карета перенесла их и маэстро к воротам дель Пополо. Только тетушка Барбаца осталась в городе.

Катарине и Аните казалось, что они грезят, когда катили в великолепной карете вместе с Порпорой. Он улыбался, предвидя, что князь сделает для своей протезе какой-нибудь любезный сюрприз.

Меж тем они подъехали к крыльцу виллы, на котором князь и его друзья ожидали прибытия путешественников.

Скажем в похвалу Катарине, что первым ее словом — после общих приветствий — был вопрос об отце. И Гарбарино, видно, очень ждал этого. Отец прятался не в тени, ибо в эту волшебную ночь на вилле князя тени не было, а стоя за какой-то статуей, дрожа от гордости и счастья, присутствовал при встрече его дочерей; хотя он стоял поодаль и не мог услышать вопроса: «А где же наш папенька?», он вдруг почувствовал, что они сказали именно это, и бросился к ним, восклицая:

— Здесь я, здесь, мои малютки!

Поскольку князь находил вполне естественной радость отца, встретившего своих детей после трех лет разлуки, то он не видел ничего смешного в том, что толстый повар в затрапезном фартуке поочередно обнимал двух молодых девушек в шелках и кружевах. Да и никто вокруг не смеялся.

Напротив, каждый находил умильной эту картину.

Нас даже уверяли, что синьора Фаустина, любовница князя, а вместе с ней несколько дам вытерли слезу. Но это была, между нами, просто комедия, которую играла комедиантка Фаустина. Хотя она давно уже царствовала над князем и по любви, и по привычке, но мужчины ведь так капризны!..

А малютка была прелестна, даже очень. Она была высока ростом, грациозна и изящна. У нее был только один маленький недостаток, заметный особенно тогда, когда она смотрела на вас прямо: Катарина была несколько косоглаза, правда, очень немного, но все-таки косоглаза, этого невозможно было отрицать.

— Какая жалость! — прошептала Фаустина на ухо своему любовнику в то время, когда Порпора подавал руку своей ученице, чтобы ввести ее в виллу.

— О чем вы?

— Разве вы не заметили? Бедняжка Катарина! Без этого она была бы совершенством. Она же косоглазит.

— Вы полагаете?

— Уверена. Ясно, что это никак не повредит ей, если у нее есть талант, но все равно

досадно!.. Ах, это очень досадно!..

Фаустина просто схитрила, найдя изъян в красоте Катарини, чтобы унижить ее в глазах князя, хотя князь не имел ни малейшего желания вкусить незрелого плода, и та заботливость, которой в этот раз он окружил Катарину, была чисто отцовская.

Вполне понятно, что, как только Катарина немножко отдохнула, ее попросили спеть. Она не заставила повторять просьбу. Она пела под аккомпанемент своего наставника. Голос ее был действительно великолепен, в нем была такая сила и энергия, что каждая интонация разливалась подобно чистому и полному удару колокола; к тому же, обладая контральтовым тембром, она легко брала самые высокие сопранные ноты.

Это был восторженный успех. Все женщины желали обнять певицу. Все мужчины ничего больше не желали, как подражать женщинам. Порпора сиял.

— С вашего позволения, князь, — сказал он покровителю своей ученицы, — Катарина через месяц будет дебютировать в Луккском театре.

— Правда? Я рад.

— Директор — мой приятель, он ждет ее с живейшим нетерпением. Он прислал уже и ангажемент.

— Очень хорошо! — сказал князь. — Я буду на ее дебюте.

— Мы все будем! — хором повторили присутствующие.

— Но, — заметила Фаустина, которая, узнав, что молодая девушка ангажирована в Луккский театр, стала находить, что она косит гораздо меньше, — этой прелестной малютке нужно было бы имя. Она не может благопристойно появиться на театральных подмостках под именем Катарини Гарбарино! Фи! Это имя не годится для певицы! Какой дурной эффект на афише: синьора Катарина Гарбарино!.. Поищем для нее имя...

— Да, да! — закричали сто голосов. — Поищем для нее имя!

— Но к чему искать? — весело заметил один из близких друзей князя, маркиз Спазиано. — Имя, мне кажется, найдено, и я держу пари, что Габриэли будет со мной согласен. Он открыл эту птичку, которую до сих пор называли кухарочкой Габриэли. Так пусть же птичка носит имя своего ловца! После того что я здесь услышал, я спокоен: это будет слава и для него, и для нее!..

Громкое «браво» заглушило дальнейшую речь маркиза.

Князь подошел к Катарине и поклонился ей.

— Спазиано прав, мое дитя! — сказал он. — Вы так достойно носите мою фамилию, что я был бы не прав, если б лишил ее вас. Сохраните же ее. И желаю вам доброго успеха, милая Габриэли.

Окончив свою речь, князь любезно поцеловал руку молодой девушки.

Вот каким образом Катарина Гарбарино стала Габриэли...

* * *

А теперь мы вступаем в тот период жизни Габриэли — период, продолжавшийся тридцать три года, — который дал нам право поместить ее среди героинь этого сочинения.

И если какая-нибудь женщина заслужила название куртизанки за то, что имела много любовников, то, конечно, это она!

Однажды летней ночью, разговаривая у окна с Джинтой, соперницей Габриэли по

сцене, кто-то спросил у нее, сколько было любовников у последней.

— Сочтете ли вы звезды?.. — немедленно ответила Джинта.

Габриэли была странного сорта куртизанка. Нет, когда мы говорим «странного», мы ошибаемся. Были, есть и будут всегда подобные женщины. Потому что они хоть и составили себе ремесло из подобного занятия, нельзя быть уверенным, что это ремесло им приятно.

Выражаясь по возможности ясно о Габриэли, так как предмет несколько скабрёзен, скажем, что она никогда не любила, но не потому, что у нее не было души, а потому, что ей не доставало чувства.

Она была создана из мрамора и оставалась мраморной всю жизнь. Тщетно множество Пигмалионов молили богов оживить ее... боги были глухи! Они не посылали огня этой совершенной Галатее...

Первым ее любовником был Гаэтано Гваданьи, первый тенор Луккского театра. Гваданьи был красив, молод, умен и любезен, все женщины спорили об обладании им. Габриэли лестно было бы видеть его у своих ног. И самолюбие, и любопытство советовали ей. Она сдалась...

Но едва она стала ему принадлежать, как почувствовала сожаление. Разве в этом заключалось счастье, которое так восхвалял ей Гваданьи, обещая, что она будет вкушать сладости. Гваданьи солгал ей! Увлекая ее, он советовался только со своим эгоизмом!..

Глухое отвращение заменило у Габриэли симпатию, которую вначале внушал ей Гваданьи. Между тем он обожал ее и окружал нежным вниманием. Напрасный труд! Чем больше он оказывал ей нежности и привязанности, тем грубее она обращалась с ним.

Из-за одного слова, одного жеста она поворачивалась к нему спиной и запиралась на замок в своей комнате, крича ему: «Подите вон! Я вас ненавижу!»

В такие минуты на помощь Гваданьи приходила Анита. Естественно, что Габриэли привезла в Лукку свою младшую сестру. Одна только Анита одевала ее в театре. Анита выбирала материи для ее костюмов, покупала духи для ее туалетов, Анита же занималась хозяйством и так далее.

И та же Анита мирила Гваданьи и Катарину, когда они ссорились.

Может показаться странным, что Анита исполняла подобную обязанность, но перенеситесь в ту эпоху, уясните себе театральные нравы Италии, и вы увидите, что все это было очень обыкновенно. Габриэли сделала свою младшую сестру своей доверенной, наперстницей, и ей казалось совершенно естественным посвящать ее в тайны алькова.

Ей первой сказала она в тот день, когда решилась уступить желаниям Гваданьи:

— Гаэтано любит меня... Думаю, что и я люблю его. Сегодня вечером он будет ужинать с нами...

С нами? Да, Анита присутствовала на этом ужине, на котором прекрасный жених ради возможного успеха должен был употребить все средства обольщения.

И после того как она была свидетельницей любовного сговора, она же была облечена миссией помешать или, по крайней мере, замедлить похороны любви.

Она отдалась этой миссии с необыкновенным рвением. Когда Гваданьи, весь бледный, прибежал к ней и говорил: «Нита! Катарина бранит меня! Она меня гонит! Нита! У меня только одна надежда на тебя!» — она, печально глядя на бедного любовника, вздыхая, нежно отвечала ему: «Хорошо. Не отчаивайтесь. Я поговорю с Катариной. Приходите позже».

И когда Гваданьи возвращался, он находил свою любовницу если не более любящей, то более ласковой. Какие аргументы находила Анита, чтобы совершать это превращение, чтобы

убедить Габриэли, что с ее стороны жестоко гнать искренне любящего человека, мы не знаем, но, судя по характеру певицы, полагаем, что, как будто повинувшись любви, она уступала дружбе, и Гваданьи нечего было особо радоваться этим скоропроходящим триумфам.

Но все проходит, даже власть любимого существа, даже терпение верного любовника.

По возвращении с репетиции между Габриэли и Гаэтано произошел спор по самому ничтожному поводу — по поводу отмены зеленого платья, которое Габриэли предполагала надеть на следующее представление и которое, по словам Гваданьи, вовсе не шло ей.

Ничтожный по своему источнику, этот спор превратился в ссору. Против своего обыкновения, Гаэтано не уступал, основываясь на том, что он защищал свое убеждение в интересах любовницы.

— В моем ли интересе или нет — мне все равно! — резко вскричала Габриэли. — Я надену это платье, потому что оно мне нравится.

— Вы не наденете его!

— Кто помешает мне в этом?

— Я.

— Вы? Каким образом?

— Разорвав его.

— Разорвав?.. Ха! Ха! Вы собираетесь разрывать мое платье?.. Вы?..

— Да. Скорее уж разорву, чем позволю вам быть дурной!..

— Дурной?.. Э! Если вы находите меня, милостивый государь, дурной, то к чему вид, будто вы меня обожаете, меня, которая вас не любит, которая никогда не любила вас, которой скучно с вами, которой вы надоедаете вашими несносными нежностями!

— Катарина!

— Молчите! Это продолжается уже пятнадцать месяцев. Пятнадцать месяцев вы делаете меня несчастной...

— Ах!

— Да, несчастной!.. Объявляю вам, если вы не перестанете меня мучить, если вы не прекратите ваших посещений... В Италии есть законы, я обращусь к ним, чтобы освободиться от вас.

Гваданьи побледнел. Ему угрожали полицией, как вору. Его гордость, гордость артиста, возмутилась.

— Вы не будете иметь нужды в сбирах, чтобы избавиться от меня, — сказал он. — Прощайте! Даю вам слово, что сегодня в последний раз я переступил порог вашего дома.

— Тем лучше. Прощайте!..

Гваданьи удалился. И хоть он страдал, но свято сохранил свое обещание: он не возвращался к Габриэли.

А опечалил ли ее этот разрыв?

Нет. Она развеселилась.

Но ее младшая сестра Анита горько плакала. О чем плакала она? Кто это знает!

Вторым любовником Габриэли был Метастазий, создатель современного итальянского романса. Сын простого солдата, этот поэт, истинное имя которого было Трапасси, начал еще ребенком, вскормленным чтением Тассо, сочинять стихи и импровизировать. Знаменитый юрисконсульт Гравита, услышав о нем, занялся его образованием и по смерти отказал ему все свое состояние.

Богатство и талант!.. Метастазий мог совершенно расправить свои крылья!.. И эти крылья перенесли его в 1729 году ко двору Карла VI, императора австрийского, который сделал его придворным поэтом с жалованьем в четыре тысячи флоринов.

С этого времени Метастазий только изредка покидал Вену, чтобы подышать родным воздухом. В одно из редких посещений отечества в 1750 году Метастазий познакомился с Габриэли в Неаполе, где она пела в опере, для которой он написал слова. Метастазий был немолод, ему было пятьдесят два года, но у него были такие великолепные манеры, он обладал истинным изяществом.

К тому же у поэтов вообще особенная манера любить, существенно отличная от любви простых смертных. Это понятно: когда витают в облаках, можно ли опуститься до грубых желаний нашей несчастной земли? Поэты любят прежде всего головой, с этой методой они живут до ста лет.

И Габриэли охотно согласилась с этой методой.

Метастазий предложил ей поехать с ним в Вену, где он гарантировал великолепный ангажемент в придворном театре. Она согласилась. В 1751 году она переехала с Анитой в столицу Австрии и через несколько недель, по обещанию поэта, дебютировала и была приглашена в императорский театр, где ее успех равнялся успехам в Риме, Лукке и Неаполе, и она двенадцать лет оставалась примадонной в Вене.

Вполне понятно, что в этот долгий промежуток времени целая толпа конкурентов поочередно оспаривала у нее роль Метастазия. Ибо, как ни был любезен поэт, она оставила его. Она покинула его как любовника, но сохранила как друга. И Метастазий не очень страдал от новой роли.

Не станем перечислять здесь всех обожателей, которых Габриэли отметила во время своего пребывания в Вене. Этому надо было бы посвятить несколько страниц. Достаточно сказать, что за двенадцать лет она разорила двадцать знатных вельмож, без различия лет и национальностей.

Никого нет опаснее женщин, для которых не существует любви. У этих женщин любовь становится профессией, в которой они упражняются с тем большей легкостью, что ни на минуту не забываются...

Габриэли мало заботилась о том, что внушала нежные желанья. Самый страстный говор сердца был для нее пустой тарабарщиной, но она любила роскошь, и тот, кто был богат и великодушен, имел право на ее благосклонность. И часто она не дожидалась, пока один истратит для нее все состояние — единственное доказательство страсти, к которому она была чувствительна, чтобы опустошить кассу другого.

Это часто ставило ее в неприятное положение.

Так, в 1760 году, когда за ней ухаживали одновременно поверенный при французском посольстве в Вене, граф Мондрагонэ, и маркиз д'Алмейда, португальский дипломатический агент, певица... нет, куртизанка наша остроумным, — вероятно, из боязни подвергнуть слишком долгому испытанию терпение одного за счет благосклонности к другому, — сделать их обоих счастливыми...

Но граф Мондрагонэ, заплативший за преимущество стать любовником Габриэли, по крайней мере, получил фору в несколько месяцев, пока у него не стали оспаривать это преимущество. Одно словечко, сказанное в его присутствии кем-то из друзей, заронило подозрение в верности Катарины, и, чтобы все выяснить, он применил средство, старое как мир, но всегда имеющее успех.

Однажды вечером, на Пратере, увидев шатающегося около коляски Габриэли человека, на которого ему указали как на соперника, Мондрагонэ почувствовал внезапную мигрень и просил позволения удалиться. Позволение это немедленно было дано ему. Но вместо того чтобы возвратиться в свой отель, граф отправился к Габриэли, где, благодаря своему знанию местности, он прошел никем не замеченный до самой спальни своей любовницы.

Едва он спрятался в шкаф с платьем, как вошла Габриэли в сопровождении маркиза д'Алмейды.

Что видел и слышал бедный влюбленный из своего тайника? Ничего для себя приятного, конечно. Но он был дворянин и француз... две причины, чтобы не показаться смешным... А что могло быть смешнее, чем он в подобных обстоятельствах? Граф мужественно ожидал, пока португалец кончит свой разговор с итальянкой и уйдет, чтобы появиться самому на сцене.

Первой реакцией Габриэли на появление графа был ужас.

Он был бледнее смерти.

Но внезапно страх певички перешел в веселость.

Спеша выйти из шкафа после ухода соперника, граф не заметил, что вытащил за собой на пуговице женскую юбку, под которой он скрывался не один час.

Вид этой-то юбки, составлявшей самую смешную принадлежность молодого синьора, и заставил смеяться Габриэли, смеяться до слез! Она опрокинулась от смеха на диван.

Граф оторвал юбку вместе с пуговицей и, послушный только гневу, раздраженный изменой и этим хохотом, воскликнул:

— А! Вы насмехаетесь надо мной?!

И со шпагой в руке он бросился на изменницу.

Счастье для нее, что в этот вечер на ней было надето платье с высоким лифом из плотной материи! Иначе она была бы убита.

Удар, нанесенный ей графом, пробил корсаж и счастливо прошел под мышкой.

Габриэли перестала смеяться.

— На помощь! Спасите! — закричала она срывающимся голосом.

Но граф уже был на коленях перед своей любовницей и с глазами, полными слез, умолял ее простить его. Конечно, и она сама заслуживала каких-то упреков, поэтому Габриэли простила графа, но с условием, чтобы на память об этой драматической сцене он отдал ей свою шпагу.

И она сохранила ее, приказав сделать на клинке следующую надпись:

«Шпага графа де Мондрагонэ, осмелившегося ударить ею Габриэли, 18 сентября 1760 года».

Из Вены, которую она оставила около конца 1762 года, но не потому, что она имела меньший успех как актриса, а, быть может, потому, что у нее стало меньше поклонников, Габриэли отправилась в Палермо, столицу обеих Сицилии, где с первого же раза стала любовницей вице-короля. У нее был свой отель на улице Кассаро, прекраснейшей из улиц города, шесть карет, двадцать лакеев, две тысячи унций золота (около 25 000 франков) в месяц и за все это платил вице-король, герцог Аркоский.

Но его светлость ошибался, думая иметь ее за свои эку.

Однажды, когда он давал большой обед, на который пригласил свою любовницу, она не явилась; вице-король послал своего первого камердинера потребовать объяснения этого отсутствия.

Габриэли читала лежа.

— Вы скажете нашему господину, — ответила она лакею, — что я не иду к нему сегодня обедать по двум причинам: во-первых, я не голодна, потому что поздно завтракала, во-вторых, как бы ни был остроумен его разговор и разговор его друзей, он не может сравниться с той книгой, которую я читаю сию минуту.

Эта книга была «Хромой бес», переведенная на итальянский язык.

Его светлость, уязвленный ответом Габриэли, снова послал лакея со следующим письмом: «Так как вам не угодно, то мы обойдемся и без вашего общества, но мы рассчитываем, что вам будет угодно побеспокоиться сегодня вечером как певице».

Это послание, возможно, заставило Габриэли поморщиться: что верно, то верно, она должна была вечером петь в придворном театре. Отказаться было нельзя.

И она повиновалась. Но с особенностями. Ей приказывали превзойти самое себя. Она же пела небрежно, слабо, невыразительно, бесстрастно, одним словом, хуже обыкновенного.

Все больше и больше раздражаясь, герцог в один из антрактов вошел в ложу певицы.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной! — сказал он.

Она отвечала улыбкой, которая говорила: «Вам только кажется? Но, мой милый, ведь ясно, что я над вами издеваюсь!»

— Берегитесь! — воскликнул герцог. — Я господин в Палермо. Я заставлю вас хорошо петь, хотите вы или нет!

На этот раз Габриэли разразилась искренним смехом.

— А, вот как? — отвечала она. — Видите ли, просто мне нравилось петь дурно, а теперь мне угодно не петь вовсе!

Вице-король вспыхнул от гнева.

— Вы отказываетесь петь?

— Да.

— Я вас отправлю в тюрьму.

— Отправляйте! Быть может, там мне будет веселее, чем с вами!..

Отступить было некуда. Вице-король, хотя и влюбленный, не может позволить, чтобы его так безнаказанно презирали. Герцог отдал приказание. Через час Габриэли находилась в государственной тюрьме.

С ней там обращались, однако, со всем уважением, которого достойна любовница, всеми любимая, хотя и делающая все, чтобы ее не любили. Вместо холодной и мрачной каморки ей дали целое отделение начальника тюрьмы. Аните дозволено было видаться с ней. Наконец, ее друзьям и подругам позволили делать такие долгие и частые визиты, как они того пожелают. Это была уже не тюрьма, а увеселительный дом.

У несчастной пленницы за столом каждый день бывало до двадцати персон: вечером танцевали и пели с ней вместе. Она никогда не пела так хорошо, как в то время, когда сидела под замком.

И что за упрямство! Каждое утро в течение целой недели от имени герцога являлся нарочный и почтительно предлагал ей один и тот же вопрос:

— Согласны ли вы сегодня вечером, синьора, петь при дворе?

— Нет! — отвечала она. — Нет, нет и нет!

Вице-король уступил. Лучше он ничего не мог сделать. Габриэли была способна провести в тюрьме всю жизнь.

Когда ей объявили, что она свободна, «Хорошо!» — ответила она без всякой

благодарности. А начальнику тюрьмы, который предложил ей свою руку, чтобы проводить до канцелярии, она сказала:

— Прошу прощения, но прежде чем покинуть вас, я должна извиниться за те неудобства, которые вам доставила, лишив вас вашего служебного помещения. — Она подала ему кошелек с тысячью унций. — Пока я здесь веселилась, тут были люди, которые страдали, не правда ли? И которым, без сомнения, еще долго придется страдать. Итак, в память о моем пребывании здесь, рядом с ними, разделите это золото среди них. И скажите им, что я принимаю искреннее участие в их несчастьях и желаю им скорого освобождения!..

Коляска, ожидавшая Габриэли у дверей тюрьмы, принадлежала герцогу Аркоскому, ко дворцу которого кучер направил лошадей.

— Неблагодарная женщина! Упрямица! — ворчал герцог, когда она вошла.

— А! — воскликнула она, без сомнения, пародируя ответ сиракузцев тирану Дионисию, которому они не хотели покориться. — Пусть отведут меня в тюрьму.

Вице-король воздержался от этого, и разговора на эту тему больше не было. Но Габриэли ничего не забыла. Однажды утром, через неделю, под предлогом путешествия в носилках ко гробу св. Розалии в Монте-Реллеграно, она уехала из Палермо вместе с Анитой, увозя с собой только золото и драгоценности, и направилась в Парму.

Но к цели своего путешествия она приехала чуть было не с пустыми руками: на них напали разбойники, и беглянка уже приготовилась отдать все, что у нее было. Но один из бандитов узнал ее.

— Вы не Габриэли? — спросил он.

— Да.

— Та самая, которую вице-король посадил в тюрьму и которая вышла и оставила большую сумму для раздачи арестантам?

— Да.

Рыцарь больших дорог обернулся к своим товарищам.

— Это Габриэли, — сказал он им. — Великая певица! Хорошая девушка! Отпустим ее, бедняжку?

— Отпустим! Отпустим! — отвечали разбойники. — Счастье и долгая жизнь доброй Габриэли!..

— Смотри! — улыбаясь, сказала куртизанка своей сестре, когда их носилки отправились дальше. — Там у меня появилась шальная мысль раздать арестантам тысячу унций, а здесь это спасло мне пятьдесят тысяч...

По мирному договору с Австрией герцогство Парма принадлежало Филиппу, инфанту испанскому.

Филипп был мужчина лет пятидесяти, маленький, дурной, горбатенький, но это, однако, не мешало ему быть самым горячим поклонником хорошеньких женщин.

Инфант после вице-короля?.. Понижение? Ничуть. И Габриэли приняла домогания Филиппа.

В ту пору она была во всем блеске красоты, в расцвете таланта.

Инфант осыпал ее золотом в благодарность за то, что она согласилась принадлежать ему. Но и этот Крез, обладавший неисчислимым богатством и обожавший Габриэли, через некоторое время был обманут ею. При недостатке настоящих любовных стремлений, она любила их частую смену.

Кто знает, может быть, чередуя каприз с капризом, фантазию с фантазией, она

надеялась найти какого-нибудь достойного смертного, чтобы он чудом посвятил ее в те радости, которые оставались для нее тайной?

Филипп не замедлил обнаружить, что она изменяет ему часто и много. Филипп был ревнив. Дурной, горбатый и — ревнивый! Живая антитеза. Филипп ругался.

Габриэли лишь смеялась.

Однажды в припадке гнева он ее оскорбил. Безусловно, она того заслуживала по сути, но он оскорбил ее как женщину, а этого делать не стоило.

— Вы надоели мне с вашими глупостями! — закричала она. — Взгляните на себя! На кого вы похожи?.. С такой фигурой, как ваша, нельзя требовать того, что можно Антиною!

Инфант побледнел.

— Издеваетесь надо мной?

— А что? Вам можно, мне нет?

— Да вы... вы просто распутница! Слышите?

— А вы проклятый горбун!

— Опять?.. Я вас запру в цитадель!..

— В тюрьму? Вы хотите посадить меня в тюрьму, как и вице-король в Палермо? Попробуйте! В тот день, когда я выйду из цитадели, — а рано или поздно я из нее выйду! — я изжарю вас живого в вашем дворце.

В 1764 году Габриэли провела восемь дней в тюрьме в Парме, ровно столько же, как и в Палермо.

Инфант Филипп, подобно герцогу Аркоскому, был не в силах лишить свободы перелетную птичку на более долгое время.

Это случилось через два дня после ее переезда в свой особняк, построенный вне города, напротив дворца Джиардино, — восхитительного летнего жилища инфанта. Габриэли была одна со своей дорогой Анитой, когда ей доложили о лорде Эстоне и синьоре Даниэло Четтини.

Лорд Эстон был очень близкий друг кантатрисы — певицы, — слишком даже близкий, по убеждению Филиппа, но имя синьора Даниэло Четтини Габриэли слышала только в первый раз.

— Какой-нибудь мальчуган, которого лорд Эстон хочет мне представить! — сказала она Аните.

Та встала.

— Я оставлю тебя.

— Нет, — возразила старшая сестра, — я просила лорда Эстона помочь мне уехать из Пармы так, чтобы инфант и не подозревал об этом, потому что он мне тут сказал: «Я вам не герцог Аркоский, которого оставляют в любое время». Не уходи, быть может, представление этого синьора один только предлог.

Лакей получил приказание пригласить лорда Эстона и синьора Даниэло Четтини.

Габриэли бросила быстрый взгляд в зеркало. Анита машинально повторила это движение. Она не была кокеткой, но зачем же все-таки казаться дурной, когда красива?

А Анита была действительно прекрасна. Она была прелестна. Ее красота была совершенно иная, чем красота сестры, хотя в их чертах было много общего. По крайней мере, внешне. Катарина была вся огонь, вся пламень, что и обольщало в ней, Анита же с виду была холодна и спокойна.

Только один наблюдатель не ошибся. С первого же взгляда он разгадал, в жилах какой

из этих женщин течет лава. И если доселе никто не обращал внимания на Аниту, то лишь потому, что каждый обращал слишком много внимания на ее сестру. Искусственный свет мешал видеть звездочку.

— Позвольте, мадам, представить вам синьора Даниэло Четтини, сына одного из лучших моих друзей, — проговорил лорд Эстон.

Катарина и Анита стояли еще у зеркала, поправляя прически. Повернувшись одновременно, обе вскрикнули от изумления.

Этот Даниэло Четтини, отражавшийся в зеркале, был живой копией Гаэтано Гваданьи — молодого и прекрасного, каким он был пятнадцать лет тому назад. Та же фигура, тот же рост, та же осанка!

— Что с вами? — с удивлением спросил лорд Эстон.

Анита не отвечала; пораженная, она держалась за спинку кресла. А Катарина была довольно спокойна: ее мало поразило появление двойника Гаэтано Гваданьи.

— Извините нас, господа, — сказала она, кланяясь Эстону и его товарищу, — но сходство необыкновенно.

— Сходство?

— Да! — И Габриэли движением головы показала на Четтини. — Синьор напомнил мне и моей сестре одного человека, которого некогда мы очень хорошо знали.

— Если тот господин имел счастье быть вашим другом, я поздравляю себя с этим сходством, — ответил, поклонившись, Даниэло Четтини.

— И тот же голос! Тот же голос! — воскликнула певица. — Не правда ли, Нита?

Но Анита, жертва смущения, с которым она тщетно пыталась справиться, продолжала сохранять молчание.

— Что с тобой? — воскликнула Катарина, подбегая к своей сестре.

— На самом деле, — заметил лорд Эстон. — Она совсем бледна.

— Да, — пробормотала Анита. — Я... позвольте мне удалиться.

— Что с тобой? — вполголоса повторила Габриэли. — Неужели это сходство?..

— Нет... внезапная дурнота. Это пройдет... не беспокойся... Я вернусь. — Анита исчезла.

— Милая сестра! — сказала Катарина, садясь рядом со своими гостями. — Она так привязана ко мне, что все, что меня интересует хоть немного, ее очень живо трогает.

— Но, — возразил Даниэло Четтини, устремляя беспокойный взгляд на молодую женщину, — вы не удостоили меня ответить на вопрос. Воспоминание, которое я пробудил в вас, приятно или тягостно? Скажите, заклинаю вас! Потому что в последнем случае мне останется только одно: не беспокоить вас моим присутствием!..

— Вовсе нет! Вовсе нет! — смеясь, ответила Габриэли. — Ваше присутствие, синьор, ни в коем случае не тягостно для меня... Боже мой! Если угодно, я могу рассказать вам, кто тот господин, на которого вы походите до такой степени, что, увидев вас, я и моя сестра не смогли сдержать своего полного изумления.

— Я весь внимание, — произнес лорд Эстон.

Даниэло Четтини пристально смотрел на Габриэли.

— Итак, — продолжала Катарина, — этот господин был моим первым любовником. Это неаполитанский тенор Гаэтано Гваданьи.

— Который и теперь еще поет в Риме или во Флоренции, — сказал лорд Эстон. — Кто же не знает Гаэтано Гваданьи! Великолепный голос, теперь уже постаревший. Честное

слово, вы удивительным образом походите на Гаэтано Гваданьи!..

— С той только разницей, что у меня нет его прекрасного голоса, — возразил Четтини.

— Да, но зато вы моложе его лет на пятнадцать. И если наша Катарина испытывает хотя бы самое малое желание развеяться и совершить небольшую прогулку в прошлое, то мне не остается ничего лучшего, как оставить вас вдвоем, мой друг!

— Как? Что вы хотите этим сказать, милорд? — притворно изумилась Габриэли. — Что общего между синьором и моим прошлым?

— Все очень просто! — возразил лорд Эстон. — Синьор похож на Гваданьи, которого вы любили пятнадцать лет назад. Вот и полюбите его теперь, синьора, как будто вы любите того самого Гваданьи. И все будут довольны. Даже сам Гваданьи, если узнает об этом и поймет, что вам очень дороги воспоминания о нем...

— Вы сумасшедший, милорд? Только сумасшедший мог серьезно рассказать такую детскую сказку. Что подумает обо мне синьор, слушая вас?

— Он подумает, что в память об одном счастливце от вас зависит сделать счастливым другого! — сказал Четтини.

— А! И вы тоже? Да это сговор!

С полчаса разговор продолжался в том же духе, Габриэли в шутку принимала намерение синьора полностью заменить ей Гваданьи. Но, в сущности, Даниэло Четтини даже нравился куртизанке: мысль вернуться хоть на два-три дня к своей юности ее пленяла.

Отведя в сторону лорда Эстона, когда он намеревался уйти с синьором, Габриэли поинтересовалась, кто он таков.

Даниэло Четтини был сын нотариуса из Пармы. Он учился во Флоренции, состояние его было посредственно, но...

— Меня несколько не волнует, есть или нет у него состояние! — прервала Катарина лорда Эстона.

— Я согласен, — ответил английский джентльмен. — Когда пробуждается сердце — интерес спит.

Даниэло Четтини было дозволено вернуться к Габриэли так скоро, как он того пожелает. И как задаток будущего, сказав ему: «До вечера!» — куртизанка дозволила покрыть ее руки поцелуями.

Оставшись в зале одна, она погрузилась в мечты. Легкий шум вывел ее из задумчивости. То был шум шагов Аниты.

— А, дорогая Анита! — вскричала Габриэли, направляясь к своей сестре. — Ты еще ничего не знаешь... Мне кажется, что я влюбилась в первый раз в моей жизни.

— В кого же?

— В Даниэло Четтини. Да! Я не могу объяснить, что я чувствую к нему, ведь я никогда не любила, но теперь, что довольно странно — из-за сходства с Гаэтано, я полюбила этого юношу. Во всяком случае, я люблю его и уверена, что буду любить долго.

— И ты уверена, что долго будешь любить его?..

Анита произнесла эти слова с таким выражением, которое сокрушило Катарину, — в них слышалась полная безнадежность.

Старшая сестра смотрела на младшую. Не только сам голос Аниты, но и лицо ее, орошенное слезами, выражало глубокое страдание.

— Боже мой! — воскликнула Габриэли. — Ты все еще страдаешь, Анита? Где таится твоя боль?

— Здесь! — показала Анита на сердце.

— Нужно послать за доктором.

— Он не поможет мне.

— Кто же поможет?

— Ты.

— Я?

— Да, ты, Катарина! Хочешь быть доброй, хочешь спасти меня от смерти?..

— О!

— Не встречайся больше, прошу тебя, не встречайся с Даниэло Четтини!

— Почему?

— Потому... я должна признаться... потому, что этот Гаэтано Гваданы, которого ты никогда не любила — ты сейчас сама сказала мне это, был любим мной... Да! Я любила его всей душой... И я была бы очень несчастна, — о да! — очень несчастна, ты же понимаешь, если бы, зная, как ты играла с тем, за кого я готова отдать всю свою кровь, я увидела, что ты играешь с его живой копией! Пойми, если бы ты хоть немного любила Даниэло Четтини, у меня не хватило бы духу смотреть теперь на ваши ласки, но я...

— Молчи!.. Довольно!.. Молчи!

Габриэли прижала к груди Аниту, которая упала перед ней на колени и поцелуями стирала слезы с ее лица.

Наступило молчание. Потом тихо, как бы говоря сама с собой, Катарина начала:

— Бедняжка! Бедняжка!.. Она любила Гаэтано!.. И поскольку она любила меня, она делала все, чтобы я... — И вдруг обратилась прямо к сестре. — Но почему же ты не сказала мне тогда? Ведь я не любила его, я бы...

Она замолкла не только потому, что воспротивилась Анита, но и потому, что сама устыдилась того, о чем хотела сказать.

— Правда, — прошептала она. — Ты не захотела бы моих объедков... Но сегодня ты имела право сказать... О нет! Я не возьму Даниэло Четтини и в любовники!.. И вот о чем я думаю! Почему мне показалось, что я люблю этого молодого человека? Разве я знаю, что такое любовь?.. Нет, хватит с меня. Даниэло Четтини не будет моим любовником. Но так как он нравится тебе, напоминая другого, надо, чтобы он стал не твоим любовником... ты не должна иметь любовников, Анита... а чтобы он стал твоим мужем.

Анита тихо склонила голову.

— Почему нет? — продолжала Катарина.

— Во-первых, потому что я старше его.

— Старше его? Который год этому мальчику? Двадцать шесть?

— А мне тридцать два.

— Что за беда, если на вид тебе двадцать пять. К тому же он желал меня, а я старше тебя...

— Предположим, что я ему понравлюсь, но его семейство тут же воспротивится...

— А на каком основании семейство воспротивится его женитьбе на такой прелестной и честной девушке, как ты? Был бы это потомок князя или какого-нибудь знатного вельможи, а то ведь сын нотариуса. Какое бы он имел право презирать сестру Габриэли?

— Но если его семейство не из благородных, оно, может быть, богато.

— Выходя замуж, ты также будешь богата... Будь спокойна, у меня достаточно денег, чтобы дать тебе большое приданое. — И она тотчас же прибавила: — А если у меня нет,

инфант подарит.

— Наконец, — возразила она, — человеку нельзя внушить любовь подобно тому, как внушают ненависть!.. Даниэло Четтини влюблен в тебя.

— Полно, ты шутишь! Он влюблен в мою репутацию, влюблен из гордости, из моды. Ему хочется иметь право говорить повсюду: «Я был любовником Габриэли». Ты меня не убедишь, будто за полчаса я так пленила синьора Четтини, что теперь он видит одну только женщину в мире — меня. Будь спокойна, если я действительно нравлюсь Даниэло Четтини, то берись его от этого вылечить.

— А что ты сделаешь?

— Это уж мое дело. Он должен прийти сегодня вечером, и я буду или очень несговорчива, или все устрою по твоему желанию.

— А он должен прийти сегодня вечером? И ты примешь его наедине?

— Конечно. Тебя это беспокоит? Или ты мне не доверяешь?

— О!

Анита поцеловала Катарину.

— Слушай, — сказала старшая сестра, — чтобы совсем успокоиться, хочешь стать невидимым свидетелем этого свидания?

— Нет, нет!

— А я говорю: да! Я хочу играть с тобой начистоту, так как ты боишься обмана. — И, не позволив сестре ответить, она, в свою очередь, нежно обняла ее. — И притом, — закончила Габриэли, — чем раньше ты увидишь его, тем скорее будешь счастлива. Ты и так уж довольно долго ждешь счастья, чтоб тебе продавать его.

Вечером, получив любезное приглашение, синьор Четтини, сгорая от нетерпения, явился к Габриэли. Лакей попросил его подождать.

— Госпожа еще не принимает.

Минута длилась час. Сидя в передней, Даниэло Четтини мог на свободе придумывать фразы, если имел в том надобность. Наконец лакей возвратился, синьор был впущен в будуар богини.

Но что сделалось с этой богиней, о Боже?.. Лежа на диване, с ногами, обутыми в теплые туфли, с головой, покрытой ночным чепчиком, она едва повернулась, когда лакей доложил о синьоре Даниэло Четтини.

Даниэло Четтини был изумлен, он ждал совсем не этого.

— Вы больны? — скромно спросил он.

— Да, — прошептала Габриэли.

— Но недавно вы были совершенно здоровы!

— Так только казалось... чисто внешне... К тому же мне не хотелось бы перед лордом Эстоном... Согласитесь, есть люди, с которыми надо быть сдержанным... Лорд Эстон страшно богат и великодушен.

Даниэло Четтини сразу прикусил язык.

— И если б, — продолжала кантатриса, — я не обещала принять вас сегодня вечером...

— Я тем более обязан вам за вашу доброту. Но что с вами? Быть может, внезапная мигрень?

— Нет, я страдаю желудком... Желчь беспокоит также... Скажите, какой у вас стул?

— Какой... Что у меня?!

— Я вас спрашиваю об этом потому, что при случае охотно предложу вам превосходное

лекарство, которое я получила от знаменитого французского доктора. Посмотрите рецепт, он на камине. Это смесь из ипекакуаны, треть грана, гран ртути, два грана алоэ, четыре ревеню и пять цитварного семени. Это принимается в печеном яблоке. Очень успокаивает.

— А!.. Это!.. И вы принимали сегодня?

— Печеное яблоко? Да. Через несколько минут после вашего ухода. Но я говорю с вами о вещах, которые, может быть, вас совсем не занимают?

— Помилуйте! Но...

— Вы же знаете, что забота о здоровье прежде всего...

— Конечно.

— Нам, певицам, здоровьем шутить никак нельзя.

— Но и другим тоже...

— Вы из Флоренции?

— Я имел честь говорить вам давеча.

— Ваш родитель богат?..

— Не совсем, но он имеет некоторое состояние...

— Ах да! Состояние! Я понимаю... Несколько тыщенок секинов дохода, чтобы только свести концы с концами... Интересно, по какому такому случаю лорд Эстон, обладатель громадного состояния, так дружен с вашим отцом?

— Потому что есть люди, особенно в Англии, которые свое уважение основывают не на большем или меньшем богатстве...

— Да, — отвечала Габриэли, скрывая под чепчиком нестерпимое желание расхохотаться, — я знаю, что англичане вообще любят пооригинальничать. Много ли детей у вашего папаши?

— Трое. Два сына и дочь.

— Трое? Но ваше воспитание должно разорить его!

— Однако прошу вас поверить, никто еще не пострадал от этого разорения.

— Тем лучше, тем лучше!.. Ах, извините меня! Разговор с вами, без сомнения, приятен, но...

— Я удаляюсь.

— Нет! Не уходите совсем! Перейдите в маленькую залу, я приду через несколько минут. Сюда... сюда... дверь в конце коридора.

Даниэло Четтини медленно шел по коридору. Зачем Габриэли удерживала его? Чтоб поговорить?.. Гм!.. Он достаточно поговорил с ней! Даже слишком... Брр!.. Женщина, которая принимает слабительное, а потом идет на судно и уведомляет вас об этом, любезно объясняя состав лекарства, употребляемого ею для этого. Не очень-то поэтично!.. И это не считая грубостей, которые она наговорила ему об его семействе, да еще печеное яблоко, с алоэ, ипекакуаной. Нет, печеного яблока Даниэло Четтини никак не мог переварить.

Но вежливость требовала, чтобы он повиновался. Он отворил указанную ему дверь и вошел в маленькую залу.

Анита находилась уже там, сидя за работой. Любовь ли, надежда ли украшала ее, но в этот вечер она была прекраснее, чем обычно.

При виде ее Даниэло Четтини ощутил почти то же впечатление, которое испытывают, выйдя из мрака на свет: он был ослеплен.

— Извините, — приблизясь к ней, сказал он, — вы не...

— Сестра Катарини?.. Да, синьор.

— Синьора Анита?

— Да, синьор.

Сестра Катарина была восхитительна! В сто раз лучше старшей. Он сел рядом с нею.

— Вы позволите?

— С удовольствием.

— Ваша сестра почувствовала себя немного нездоровой, кажется, с недавнего времени, синьора?

Анита покраснела, она не умела лгать.

— Кажется, синьор.

— Она предложила мне подождать ее здесь несколько минут... и если это вас не беспокоит...

— О, несколько!..

Она творила, продолжая шить и не подымая глаз.

— Вы вышиваете, как фея!..

— Нужно же работать, синьор.

— Вы живете с вашей сестрой?

— Я всегда жила с нею.

— Но... у вас нет, как у нее, страсти к театру?..

— Нет.

— Вы не поете?

— О нет!.. Но я тоже немного музыкантша...

— А!.. Вы играете на фортепиано?..

— Немного.

— О, я с ума схожу от музыки!.. Поэтому-то...

Даниэло хотел было сказать: «Я желал сделаться любовником Габриэли», но вовремя остановился и добавил:

— Поэтому-то я считал за честь быть представленным одной из наших величайших певиц. — И продолжал, указывая на фортепиано: — Синьора, если вы удостоите, в ожидании вашей сестры...

Не заставляя просить себя, Анита села за инструмент.

Странное дело, эта девочка, которая не могла спеть самой простой арии, обладала, как музыкантша, истинным талантом. Она выучилась сама, одна, и тайком на нотной грамоте училась играть на фортепиано; она не была ученой пианисткой, но у нее был слух, ее исполнение не изумляло, а восхищало. Она сыграла сонату Себастьяна Баха, потом неаполитанскую тарантеллу, которую заучила, слышав ее раза два или три, и положила ноты.

Даниэло Четтини пел довольно приятно, он знал два или три романса и спел их под аккомпанемент Аниты.

Пробило полночь, а они все еще сидели за инструментом. Нужно было расставаться. Но где же Катарина?

— Она, верно, уснула в своем будуаре, — весело сказал Четтини.

— Ведь она же хотела с вами поговорить, синьор... Угодно вам?

— Нет, нет! Ради Бога, не беспокойте ее! Я приду завтра, вот и все.

— Хорошо, приходите завтра.

Даниэло вернулся на другой день, на третий и так продолжалось целую неделю кряду;

Габриэли при этом никогда не показывалась. Но каждый вечер он видел Аниту.

Что же делали они в эти вечера? Занимались музыкой?.. Как бы не так! Если б мы и сказали это, никто бы не поверил. Анита любила Даниэло до того, как узнала его, из-за сходства с Гваданьи; она полюбила его сильнее, когда познакомилась с ним. Со своей стороны, Даниэло полюбил Аниту за ее чисто женственную прелесть, скромность, нежность и целомудрие. Он полюбил ее безумно и готов был решиться на все, чтоб обладать ею.

Зная от сестры об ее успехах, однажды вечером Габриэли, посчитав минуту благоприятной, вдруг явилась перед любовниками. Даниэло стоял на коленях перед Анитой. Он быстро встал.

— К чему беспокоиться, синьор? — сказала, улыбаясь, Габриэли. — Присутствие сестры не должно прерывать нежности мужа и жены.

— Мужа? — повторил Даниэло.

— Конечно же! — ответила Габриэли. — Вы любите Аниту, мою дорогую, добрую сестру. Я отдаю ее за вас с пятнадцатью тысячами унций золотом. Вы отказываетесь?

— Нет!.. О нет! Я принимаю с радостью!

Пятнадцать тысяч золотом! Это около двухсот тысяч франков! Подобного рода приданое не часто приходилось получать в 1764 году сыновьям нотариусов. Теперь же все изменилось...

Свадьбу справили в особняке Габриэли, но молодые супруги сняли себе небольшой домик в городе, в котором они должны были жить, пока певица будет оставаться в Парме.

Затем они уехали во Флоренцию.

После бала Габриэли хотела сама проводить свою сестру в нанятый дом.

Они остались в брачной комнате.

— Довольна ли ты мной, Анита? — спросила Катарина.

— Ты все, что есть доброго на земле!

Катарина улыбнулась.

— Правда, — ответила она, — надо мной могут посмеяться, но мое поведение было просто героизмом... Подурнеть, чтобы разонравиться человеку — это бы еще ничего, но добровольно внушить ему отвращение — это жестоко! Наконец-то Даниэло твой!..

И, наклонясь к Аните, потому что вошел Даниэло, она прошептала:

— Завтра утром ты скажешь мне, действительно ли приятно выйти замуж за человека, которого любишь...

На другое утро Габриэли не имела надобности расспрашивать сестру: нежная томность, разлитая по ее лицу, страстная благодарность, с какой она смотрела на мужа, говорили больше, чем могли бы сказать все громкие фразы. Габриэли вздохнула.

«Действительно, — подумала она, — существует рай и в этом мире, но я никогда не узнаю его. Ну, если я не могу быть ангелом, буду продолжать жизнь демона... Рай не для меня... да здравствует ад!..»

В благодарность за великодушие Филиппа, потому что это он дал приданое Аните, Габриэли еще пятнадцать месяцев оставалась в Парме.

Потом она отправилась в Рим обнять отца, спокойно жившего небольшим домом, подаренным ему Катариной, и пожать руку старому Габриэли.

Она давала представления во многих городах Италии и Германии.

Наконец в 1768 году она отправилась в Петербург, куда уже давно приглашала ее Екатерина II.

Это путешествие через всю Европу показалось ей очень долгим и скучным. Думая о своей дорогой Аните, сколько раз в течение этого путешествия Габриэли сожалела о разлуке с сестрой.

— Я была тогда глупа! — говорила она сама себе. — Анита была моей единственной привязанностью: я не должна была жертвовать ею ради удовольствия синьора Даниэло.

Но Анита любила его... И, утирая слезу, Габриэли продолжала:

— Нет, я не сделала ошибки, выдав ее замуж, потому что она счастлива. Я не имею права жаловаться...

На другой день по приезде в Петербург Габриэли была представлена царице.

— Сколько вы желаете получать? — спросила Екатерина у Габриэли.

— Десять тысяч рублей.

— Десять тысяч! Но я не плачу таких денег моим фельдмаршалам.

— Прикажите же, ваше величество, и им петь.

Екатерина нахмурила брови, но тотчас улыбнулась и сказала.

— Хорошо. Я вам дам десять тысяч рублей.

В 1768 году в Петербурге было уже три театра, но так как Екатерина вызвала Габриэли для себя, то певица дебютировала в придворном театре в Эрмитаже, который был соединен арками с Зимним дворцом.

В Петербурге, как и в Вене, в течение почти двенадцати лет Габриэли, певица и куртизанка, не имела недостатка ни в овациях, ни в любовниках; между тем она была уже немолода. Но годы, начинавшие омрачать ее красоту, щадили ее голос. Кроме того, она была хорошо принята при дворе. Царица сразу выразила к ней свою благосклонность, которая никогда не изменялась. Не было праздника в Эрмитаже и в Царском Селе без Габриэли, и когда случайно — случай еще часто представлялся — певица была не в духе, чтобы присутствовать на каком-либо из этих торжеств, когда ей случалось отвечать отказом на любезное приглашение императрицы, эта последняя вместо того чтобы сердиться, подобно герцогу Аркоскому, весело покачивая головой, говорила:

— А! Понимаю! Габриэли сегодня не в духе. Оставим ее.

И тем все кончалось.

Один только случай из жизни Габриэли за те двенадцать лет, которые она провела в России, стоит рассказать, потому что он рисует нравы двора Екатерины II.

Князь Репнин, возвратясь после долгого пребывания в Варшаве, появился при Петербургском дворе. То был человек лет сорока, сохранивший в своем характере черты своего татарского, по матери, происхождения. Он не был неисправимо зол, не был глуп, но выказывал полнейшее презрение ко всему, что носило на себе печать честности, благопристойности, нравственности. Так, например, он хвастался, что во Франции, где он пробыл несколько времени, он жил в Париже за счет актрис, которых он проедал, как он сам выражался.

Однажды в Царском Селе, среди залы, в присутствии Екатерины II, перед несколькими женщинами, в числе которых была и Габриэли, князь Репнин развешивал картину своих успехов, которыми он пользовался у парижских актрис, танцовщиц и певиц.

— Ну, — сказала Габриэли, — если парижские актрисы, танцовщицы и певицы содержат своих любовников, то они очень глупы, и я утверждаю, в похвалу моим соотечественницам, что, по крайней мере, в этом случае они не похожи на парижанок.

Репнин пожал плечами.

— Полноте! — возразил он. — Женщины повсюду одинаковы, когда они любят.

— Когда любят, пожалуй! — ответила Габриэли. — Но что касается меня, я ручаюсь вам, что не полюблю человека, который будет больше лелеять мой кошелек, чем мое сердце.

— Э! Ловкий мужчина берет сначала, что бы там ни было, сердце, а уж потом добирается и до кошелька!

— Право? Мне было бы очень любопытно узнать такого ловкого человека, который сыграл бы подобную игру со мной...

— Вы отрицаете его существование?

— Да, отрицаю...

— Ваше величество и вы, мадам, будьте свидетельницами, что между нашей великой артисткой и мною объявлена война.

— Неужели вы сами, князь, — смеялась Екатерина, — рассчитываете вести ее?

— О нет! — возразил Репнин тем же тоном. — Я открыл мои батареи. Между мной и ею война была бы теперь не на равных. Но у генерала есть офицеры, и я надеюсь найти достойного меня.

— Вам это будет нетрудно! — презрительно ответила Габриэли.

Князь не возразил: как вежливый противник, он оставил последнее слово за Габриэли.

Тем не менее, не мешкая, Репнин занялся приготовлениями к битве. На самом деле ему стоило только сделать выбор. Все русские и иностранные вельможи, составлявшие двор, были ему друзьями.

Князь жил так весело и таким оригинальным образом, что с ним невозможно было соскучиться.

Но независимо от ума и дерзости, которые должны были быть употреблены в данном случае, было необходимо, чтобы избранник обладал красивой наружностью.

Ясно, что дурной и старый не получил бы и улыбки в виде милостыни от врага.

Репнин полагал, что нашел нужного ему человека в лице виконта де Верака, гасконского дворянина, недель уже шесть находившегося при русском дворе.

Верак был молод, довольно красив, он во что бы то ни стало добивался состояния, стало быть, он не будет слишком разборчив в средствах, если ему представится случай.

— Милый мой! — сказал ему князь. — Дело идет о том, чтоб заставить говорить о себе.

— Дурно или хорошо?

— Хорошо, если вы смышлены.

— Я буду.

— В добрый час! Сумейте это, и тогда... Знаете, даже императрице приятно видеть у ног своих человека, о котором все говорят...

— Но что же это, наконец?

— Я объясню вам.

Через два дня, посреди ночи, Габриэли была разбужена шумом, который произвел человек, влезший в окно ее спальни.

Это было летом, очень жарким летом. Габриэли имела оплошность оставить на ночь открытым свое окно.

Быстро пробудившись от сна, Габриэли выскочила из постели, чтобы схватить сонетку, стоящую на ночном столике, около лампы, и позвонить.

Но остановив ее движением руки, молодой человек холодно сказал:

— О, к чему звать! Клянусь вам, я скорее убью двадцать лакеев, чем уйду отсюда. Разве

уходят от вас в подобный час?..

Габриэли не раз встречалась с виконтом, но никогда не говорила с ним. Придя в себя от первого испуга, она его, однако, узнала и все поняла.

— А, хорошо! — сказала она. — Вы...

— Виконт де Верак, ваш почтительнейший обожатель.

— Мой обожатель по приказанию князя Репнина?..

— Вы ошибаетесь... я...

— Стыдитесь лгать, виконт! Вас послал сюда князь Репнин. Что вам от меня нужно?..

— Я вас люблю!

— Вы меня любите? То есть князь сказал вам: «Габриэли посмеялась надо мной, отомсти за меня». Честное слово, странное поведение! Если Репнин называет это победой над сердцем женщины...

— Уверяю вас!

— Допустим, злоупотребив моим одиночеством, вы силой возьмете то, чего желаете, — что вам это даст? И что даст князю?.. Да, вы разделяете его принципы в любви, я это вижу, вы сами доказываете это своим поведением, но не настолько же вы обольщаетесь, чтобы думать, что если я против своей воли буду принадлежать вам, то сочту себя такой ошастливленной, что завтра же отдам вам и свое богатство?

— О Боже мой! Повторяю вам, что князь Репнин ничего не знает об этом моем поступке, признаюсь, несколько смелом, но который извиняется моей страстью. Прекрасная и обожаемая, мог ли бедный дворянин надеяться на вашу благосклонность?

— И, не имея возможности надеяться, вы решили ее похитить? Я оскорблена, но не вас я хотела бы наказать, вы не заслуживаете моего гнева. Вы только правая рука князя Репнина, а он голова, но... О, что такое? Вы незаметно приближаетесь к моей постели? Готовитесь на меня броситься? Стойте же! Если вы сделаете еще шаг, я клянусь — и это так же верно, как то, что есть Бог и что князь Репнин подлец, — я раскрою вам череп!

Габриэли всего ждала со стороны такого противника, как князь Репнин, и потому уже две ночи подряд клала на свою постель пару пистолетов, которые схватила во время разговора с ночным посетителем и в эту минуту навела на него. Де Верак поморщился, не сумев скрыть испуга при неожиданном появлении пистолетов. Но честь его была задета: ведь он обещал достичь успеха.

— О! О! — насмешливо сказал он. — Мне говорили, что итальянки употребляют иногда стилеты, но не пистолеты. Берегитесь, этот инструмент производит шум... и ночью, в императорском дворце, будить всех из-за шутки — какой смешной скандал...

— Смешное касается вас и князя, а не меня... Наконец, только от вас зависит избежать этого: уйдите — вот и все.

— Не раньше, как получив от вас поцелуй!

И, презирая опасность, виконт приблизился, но тотчас же был вынужден остановиться. Габриэли сдержала слово. Только она раздробила ему не голову, а руку.

Он вскрикнул, но, усилием воли сдержав боль, весело сказал:

— Мы побеждены! Будьте так добры, проводите меня до двери, потому что вы лишили меня возможности отправиться по той дороге, по которой я пришел.

Как и предвидел Верак, шум выстрела разбудил во дворце всех. Со всех сторон бежали к певице лакеи от имени императрицы.

— Скажите ее величеству, что это пустяки, — сказала Габриэли. — Это ночная птица,

которую князь Репнин, чтобы позабавиться, впустил в мои покои и от которой я избавилась.

На другой день, кланяясь Габриэли, князь Репнин повторил ей фразу несчастного виконта: «Мы побеждены!»

Императрица вслух поздравила Габриэли с победой, но тихо сказала ей:

— Вы очень жестоки, моя милая! Раздробить руку хорошенькому мальчику для того только, чтобы не позволить ему взять у вас поцелуй!

— Извините меня, ваше величество, — сухо ответила Габриэли, — но я не позволяю брать у меня поцелуи.

— Это правда, — повернулась спиной к певице Екатерина, — если позволять брать, то ничего не осталось бы для продажи...

В любом случае продажа прошла успешно, так как, уезжая из Петербурга в 1777 году, Габриэли увозила с собой из России около шестисот тысяч франков. И она оставила русскую столицу так же внезапно, как и Вену, вдруг, не предупредив никого о своем отъезде.

Но шестисот тысяч франков! Обладая подобным состоянием, Габриэли могла и почивать на лаврах. То же ей советовали Анита и Даниэло, с которыми она переписывалась во время своего пребывания в России и которых она первых обняла по возвращении на свою родину.

Но для артиста покой — та же смерть.

Катарина не согласилась с доводами своей сестры и зятя. Она снова хотела петь в театре. И публика рассчитывала на это. В свои сорок восемь лет Катарина обладала достаточно сильным голосом, чтобы не бояться соперниц.

Но если слава осталась ей верна, то любовь — изменила.

Певица имела поклонников; у женщины не было больше любовников. Раздраженная этим, она стала тратиться на безумную роскошь и за два года растранила все золото, которое привезла из России.

Чтобы существовать, она должна была петь и с этой целью заключила контракт с импресарио, который возил ее по главным городам Италии.

Она была в Болонье, когда однажды вечером ей передали карточку, на которой было написано:

«Габриэли, ученице Порпоры, — Фаринелли, ученик Порпоры».

Через пять минут Катарина оделась, и, справившись, где он живет, отправилась к нему.

Фаринелли родился в 1705 году и с детства выказал удивительные музыкальные способности, он удивлял не только Италию, но и Англию, Германию, Испанию, в которой он был королевским певцом при Филиппе V и Фердинанде VI, в течение двадцати пяти лет пользуясь благосклонностью этих монархов.

Катарина видела Фаринелли двадцать лет назад в Парме, и тогда царь певцов, как его называли, еще обладал остатками голоса и той женственной красотой (он был кастрат), из-за которой он часто играл женские роли. Но какая ужасная перемена свершилась с ним в эти двадцать лет! Габриэли, увидев его, почувствовала дрожь.

Его голос походил на тот шум, какой производит камень, падающий в колодец, однако этот же голос зазвучал вполне приятно, когда певец заговорил с Габриэли.

— Вы очень любезны, моя дорогая, что пришли повидаться со мной. Теперь дайте вашу руку, я покажу вам моих детей.

Фаринелли называл детьми пианино и клавишины, которыми был полон его дворец. Самое любимое пианино называлось Рафаэль Урбино, за ним следовал Корреджо и как

представитель Испании — Тициан.

Показав Габриэли все свои сокровища, он снова провел ее в ту комнату, в которой находился Рафаэль Урбино, помеченный 1730 годом.

— А теперь, моя дорогая, — сказал Фаринелли, — я надеюсь, вы споете мне что-нибудь? Каватину Жомели. Это не ново, но и я не молод.

Габриэли повиновалась желанию хозяина, она спела. Она спела голосом гибким, свежим, молодым... как будто ей было двадцать лет.

Фаринелли ей аккомпанировал, сам помолодевший от удовольствия.

Когда она кончила петь, старик подошел к ней и, подавая ей великолепный перстень, который он смял с пальца, сказал:

— Моя дорогая, вы меня одали последней радостью, примите этот перстень на память обо мне.

Этот артистический успех был последним успехом Катарины. Через несколько месяцев, признавшись себе, что голос ее с каждым днем теряет силу, она расторгла контракт со своим импресарио.

Обосновавшись в Альбано, близ Рима, она жила на скромные деньги, получаемые от продажи ее драгоценностей.

В свое время Катарина гордо отказалась поселиться во Флоренции вместе с Анитой и Даниэло: тогда она была богата. Теперь же, став бедной, она не могла заставить себя обратиться к их дружбе.

Ее единственное развлечение состояло в том, что каждую неделю она ходила молиться на могилу своего отца. Больше она никуда не выходила, проводя целые дни в беседке, находившейся в маленьком садике, принадлежавшем хозяину того дома, в котором она снимала квартиру.

Однажды утром она заплакала: у нее для продажи осталась последняя драгоценность — перстень, подаренный ей Фаринелли. Вдруг в нескольких шагах от себя она услышала смех. И почти тотчас же хорошенькая маленькая девочка залезла к ней на колени, крича:

— Здравствуйте, тетенька!

А вслед за этой девочкой показались Анита и Даниэло.

Они узнали о печальном положении их сестры и явились сказать ей:

— Тебе мы обязаны нашим счастьем, подели его с нами.

Габриэли обняла Даниэло, Аниту и племянницу.

И последовала за ними во Флоренцию.

Она умерла, любимая и счастливая, 15 апреля 1796 года.

КАЛЬДЕРОНЕ

Всего три любовника — поэт, герцог и король, да еще, по воле рока, с полдюжины красивых монахов в монастыре, куда ее заперли после высшего света, — вот и весь любовный итог Кальдероне, испанской актрисы и куртизанки.

Не много, как видите.

И история ее будет недолга.

Однако при недостатке в ней великих событий вы найдете довольно любопытные черты испанского двора XVII века. И именно поэтому мы хотим рассказать вам эту историю.

По нашему мнению, короли, где бы и когда они ни жили, всегда достойны изучения хотя бы потому, что, считая себя королями, они на глазах у всех говорят и совершают такие глупости, от каких залился бы краской самый последний из их подданных.

Король, о котором пойдет речь, и один из трех любовников Кальдероне, был Филипп IV. Это был печальный государь, внук Карла V, двойник блаженной памяти Людовика XIII. Но у Людовика министром был Ришелье, который вместо него правил твердой рукой, тогда как Филипп IV доверил управление страной Оливаресу, человеку без способностей, натуре мелкой, честолюбивой и необычайно скаредной: для него на первом месте всегда было лишь золото.

И Испания, некогда столь великая и прекрасная, в его царствование находилась прямо-таки в опасности.

Французы начали с того, что разбили испанцев при Авене и Казале, Каталония была передана Франции, Португалия сбросила с себя иго рабства: все, что оставалось от Бразилии и не было отнято голландцами, перешло к Португалии. Азорские и Мозамбикские острова, Гоа и Макао освободились из-под испанского владычества.

В Мадриде вывесили громадный портрет Филиппа, под которым сделали такую ироническую надпись: «Чем больше у него отнимают, тем больше он отдает!»

По горло занятый своими любимыми развлечениями — театром и женщинами, Филипп даже не понял, что, желая возвеличить, его так унизили.

Давид Гэн, сын простого рыбака, достигнувший звания вице-адмирала, получил приказание от Генеральных Штатов Голландии захватить флот галиотов, перевозивший в Испанию богатства Перу. Произошла жестокая битва в водах Гаваны, и победители-голландцы привезли своим соотечественникам более двадцати миллионов.

Но Филипп IV у ног своей прелестной любовницы, герцогини Альбукерк, не лишился из-за этого ни одного поцелуя.

Оливарес, подойдя к Филиппу, сказал ему торжественно:

— Государь, у меня есть для вашего величества чудесная новость! Мы конфискуем на четырнадцать миллионов имущество герцога Браганцского, бедный герцог совсем потерял голову: его ведь провозгласили королем Португалии.

— А, ладно, — ответил Филипп IV и возвратился в свой кабинет дописывать сцену для комедии.

Между тем если Филипп IV как король не обладал никакими достоинствами, то как человек он их имел: он был гуманен, приветлив, великодушен, благороден.

Мы только что сравнивали его с Людовиком XIII, но Филипп IV был лучше его. Людовик XIII не морщась смотрел, как вступал на эшафот, воздвигнутый Ришелье, тот,

которого он называл своим другом, — великий конюший Сен-Мар. Точно так же он выслушал известие о том, что пали головы вельмож, правда, виновных в мятеже, но в жилах которых текла кровь знаменитейших фамилий Франции — Марильи и Монморанси.

Он запер на четырнадцать лет в Бастилии герцога Ангулемского, последнего Валуа, и Бассомпьера, старинного друга его отца, Генриха IV.

Ни в чем подобном нельзя упрекнуть Филиппа IV.

Правда, это был король-ленивец, но разве публицист не сказал: «Из всех королей, которыми должны особенно дорожить народы, ленивцы заслуживают предпочтения: если уж они не имеют смелости делать добро, то они и не берут на себя труда делать зло».

Но пора заняться Кальдероне.

Как пролог к истории любви короля к комедиантке мы вам расскажем о любви того же короля к одной знатной даме. Крайности сходятся.

Это было в 1627 году. Рожденному в 1605, наследнику трона Филиппу IV в 1627 году было двадцать два года. И в перечне его любовниц было уже столько имен, сколько ему было лет. Однако Филипп был женат на Елизавете Французской, дочери Генриха IV и сестре Людовика XIII. Что, впрочем, не помешало последнему, в лице его министра Ришелье, объявить себя смертельным врагом Филиппа.

Но хотя и женатый, Филипп вел себя так, как будто был холост, и у него было на этот случай вполне логическое извинение: в свои двадцать два года он уже имел двенадцать лет супружеской жизни, то есть не собственно супружеской, потому что, женившись одиннадцати лет на Елизавете Французской, которой было всего семь, будущий король совершил только политический брак. Только через семь лет ему дозволено было рассматривать жену с менее грандиозной точки зрения, но зато, без сомнения, с более приятной.

Как бы то ни было, и даже сокращая на восемь лет должные сношения, Филипп все-таки давно уже, очень давно, знал свою жену.

Вот почему, продолжая сохранять к ней дружбу, он не испытывал к ней ни малейшей любви. Вот почему, вместо того чтобы заниматься ею, он занимался другими.

«Другой» в 1627 году, в сентябре месяце, была герцогиня Альбукерк, жена Эдуарда Альбукерка-Коэло, маркиза де Босто, графа Фернанбука в Бразилии, кавалера ордена Христа в Португалии и камер-юнкера короля. Последнее звание он получил четыре месяца назад... Он выказал весьма посредственную радость при известии о своем новом назначении.

Но король был так ловок...

А Оливарес был таким смышленным советником!

Ибо Оливарес не ограничивался тем, что держал бразды правления, он заодно прислуживал Филиппу IV в его любовных похождениях.

Он отправлял сразу несколько должностей.

И средство, изобретенное Оливаресом, — средство, которым воспользовался Филипп, чтобы сблизиться с герцогиней Альбукерк, которую ревнивый муж старался удалить от двора, было очень остроумно.

Однажды вечером, в Эскуриале, в прекрасном расположении духа играя в карты, король вдруг вспомнил, что оставил неоконченным на своем бюро в кабинете необыкновенно важное письмо. Партия была дорогая: его величество играл в ней на большую сумму!

Но письмо!.. Письмо было необходимо закончить.

Долг превыше удовольствия.

— Герцог, — сказал он Альбукерку, который участвовал в партии, — прошу вас, поиграйте за меня... Я вернусь через несколько минут.

Герцог поклонился и взял карты.

Между тем король, войдя в свой кабинет, быстро накинул на себя плащ и в сопровождении своего верного Оливареса отправился из дворца по потаенной лестнице и достиг отеля, где он был уверен, что найдет прекрасную Элеонору, герцогиню Альбукерк, — одну.

Но на вежливого хитреца всегда найдется недоверчивый муж. После часа ожидания герцог заподозрил неладное; рассудив, что такой игрок, как его величество, не мог бросить карты ради какого-то письма, Альбукерк пришел к выводу, что его обманули.

И так как сделанный им вывод покрыл его лоб холодным потом, он воспользовался этим, чтобы всем показать, как ему стало вдруг нехорошо физически, и сказал игрокам:

— Извините меня, сеньоры, но я вынужден удалиться, я дурно себя чувствую, у меня колики и дрожь во всем теле... Когда король вернется, будьте так добры, скажите ему...

— Конечно! Ступайте же! Ступайте, герцог!..

Король был с герцогиней в будуаре, когда Оливарес, стороживший на улице, пришел предупредить любовников о приближении герцога.

Что делать? Оливарес всего на несколько секунд опередил герцога Альбукерка! Бежать невозможно!

Герцогиня чуть не упала в обморок от ужаса. Сам Филипп забеспокоился. Бывают такие ситуации, когда теряются даже короли.

— Подождите, подождите! — говорил Оливарес. — Не все еще потеряно. Быть может, какая-нибудь случайная причина, а не подозрение ведет сюда герцога Альбукерка!.. Нам нужно спрятаться. Когда он простится с герцогиней, то отправится в свои апартаменты, а мы — мы свободно удалимся.

— Спрятаться... Но где? — пробормотала прекрасная Элеонора.

— Разве рядом нет какой-нибудь комнаты?.. Да вот!..

Оливарес дотронулся до двери в глубине будуара.

— О! — возразила герцогиня, краснея, несмотря на свою бледность. — Это моя уборная! Я недавно приняла там ванну... Королю там будет ужасно дурно.

На лестнице послышались шаги герцога.

— А! — воскликнул Оливарес. — На войне как на войне!

Он отворил дверь уборной, втолкнул туда короля, которому надо было в этом помочь, и исчез с ним в сумраке комнаты. В ту же минуту герцог с палкой в руке ворвался, как бомба, в будуар.

— О Боже! Герцог, вы меня испугали! — воскликнула герцогиня, привскочив на своем кресле.

Альбукерк на минуту замер, удивленный тем, что нашел жену свою одну. Уж не ошибся ли он? Король, быть может, не оставлял Эскуриала?

Бух!.. В уборной повалился стул.

Герцогиня изо всех сил кашлянула. Поздно!.. Герцог все понял. Короля не было в Эскуриале, он был там.

— А! Я испугал вас, сеньора! — в свою очередь и вовремя возразил герцог. — Но вместо того чтобы испугаться моего прихода, вы должны бы порадоваться.

— Порадоваться?.. Почему?..

— Потому что я избавлю вас от большой опасности.

— От большой опасности?.. От какой?..

— Сюда проник вор, быть может, даже убийца, от ножа которого вы должны были погибнуть.

— Вор? Убийца?

— Да! Но, к сожалению, слуги мои спали и не предупредили меня, зато теперь этот негодяй падет от моих рук! Он там, в этом кабинете. Он не выйдет оттуда живой!

Произнеся эти слова, Альбукерк бросился к уборной. Герцогиня хотела его удержать, но было поздно! Герцог уже находился в секретном приюте, где, размахивая направо-налево своей тростью, кричал:

— А, разбойник! Ты не ожидал, что тебя найдут! Вот тебе, грабитель!.. Вот тебе, злодей!.. А! Ты хотел убить мою жену!..

— Остановитесь, герцог! — вскричал Оливарес, бросаясь к Альбукерку, трость которого он с трудом смог удержать. — Остановитесь, или вы ответите за оскорбление его величества! Здесь нет воров, здесь король и его первый министр — Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес!..

Альбукерк не ответил ничего, но направился к будуару.

Филипп IV вышел из уборной, сопровождаемый Оливаресом. Король был бледен, но той бледностью, которая вовсе не выражала ярости мщения. В глубине души он извинял поведение обманутого мужа. Король искоса взглянул на этого человека: такой же бледный, с поникшей головой, с опущенными долу глазами. Герцогиня, закрыв лицо руками, плакала в углу.

Потом, не сказав ни слова, король взял под руку своего фаворита и ушел.

На другой день утром герцог Альбукерк получил предписание немедленно выехать в Бразилию. Его жена включалась в свиту ее величества императрицы, и герцог должен был ехать один.

В то время когда мы начинаем свой рассказ, то есть 20 сентября 1628 года, герцог Альбукерк уже четыре месяца познавал Бразилию.

И ровно четыре месяца, вопреки своему обычному непостоянству, Филипп IV познавал любовь с прекрасной герцогиней Элеонорой в Испании.

Однако вот уже три или четыре недели, как пламень любовников, по-видимому, потух, герцогиня стала мечтательной, рассеянной возле короля, король стал менее нежен с герцогиней.

Любовь умерла...

Кто же сожалел о ее кончине? Не тот, о ком вы думаете.

20 сентября, вечером, от скуки в Эскуриале Филиппу пришла фантазия провести часок с женой в Прадо — королевской резиденции, в двух лье от столицы, где королева жила летом.

В то же время это был для него случай поцеловать руку герцогини Альбукерк, которую он не видел уже четыре дня. В сопровождении одного пажа он поехал верхом.

Достигнув решетки Прадо — вечер был великолепный, — король соскочил с лошади, решив дойти пешком до дворца через парк.

Лакей отвел лошадей в конюшню, за королем следовал только паж.

Причиной этого каприза было вот что.

Филипп IV, как мы сказали, страстно любил театр, он сам сочинял комедии. Еще со вчерашнего вечера он почувствовал литературные позывы: он сочинял план нового

произведения, названного «Умереть за свою даму», над которым он трудился, изоощряя все свои поэтические способности.

И если ему захотелось пройти пешком через парк Прадо, то не для того, чтобы поупражняться в ходьбе, а чтобы придать своей музе, — оживляемой вечерним воздухом и ароматом цветов, — некое парение, которым она, конечно, поспешила бы воспользоваться.

Паж, ребенок лет четырнадцати по имени Мариано, который, как умный мальчик, угадал намерения своего короля, шел позади него на цыпочках.

И Филипп не мог пожаловаться на свое уединение. «Умереть за свою даму» вполне развешивалась в его воображении. Еще одна или две сцены — и комедия будет готова. Но зато если поэт был доволен, то король мог оказаться недовольным в самом скором времени.

Увлекая короля, поэт вел его по прелестным маленьким дорожкам, которые все более и более удаляли его от дворца.

Если б это продолжилось, поэт достиг бы своей цели, но король, заблудившись в парке, должен был бы отказаться на этот вечер от удовольствия видеть свою супругу.

Именно в эту минуту его величество приближался к вязовой и дубовой роще, довольно обширной.

«Если мы войдем в нее, мы погибли, — подумал Мариано. — Нам не выйти!»

Но вдруг паж и король одновременно остановились, услышав чей-то шепот, доносившийся из беседки дикого винограда. Шепот этот принадлежал двум голосам. Мужскому и женскому...

Поэт уступил любопытству короля, пожелавшего узнать, кто таким образом изъяснялся в любви — ночью, в саду одной из его резиденций?

Знаком он приказал пажу молчать и проник в беседку, но стоило ему лишь заглянуть туда, как крик ярости вырвался из его груди. Это герцогиня Альбукерк, его любовница, была там с одним из первых его сеньоров, с герцогом Медина де ла Торресом.

При крике короля, при его внезапном появлении виновные бросились в глубину беседки. Филипп выхватил кинжал. Но при известных обстоятельствах, в самые трудные минуты, он реже всего бывал злым.

Ему говорили: «Герцогиня вам изменяет», — он смеялся. Он уже не любил ее. Но быть обманутым ею?! Нет, он убьет ее.

— Государь!.. Государь!.. Помилосердствуйте!

Эти слова произнес маленький паж, обнимая колени своего короля.

Герцогиня Альбукерк всегда была милостива к нему, он не хотел, чтобы ее убивали.

Филипп вложил свой кинжал в ножны и, обращаясь к герцогу и герцогине, сказал:

— По крайней мере, сеньор и сеньора, такие вещи делаются у себя дома, а не у королевы!

Тем все и кончилось; он повернулся спиной к чете, слишком счастливой, что отделалась так дешево.

Но направляясь вправо, ко дворцу, Филипп не без некоторой горечи процедил сквозь зубы:

— И это в тот момент, когда я стараюсь доказать, как хорошо умереть за свою даму! Нет! Ради этой умирать не стоит!..

Так у Филиппа не стало любовницы. Понятно, что только от него зависело заменить неблагодарную Элеонору. При его дворе не было недостатка в желающих иметь счастье принадлежать королю.

Но опять знатная дама? У короля было много знатных дам. До сих пор он имел только знатных дам. Неверность одной из них внушила ему желание сделаться, в свою очередь неверным им всем.

Он размышлял об этом важном деле в своем рабочем кабинете, когда ему доложили о сеньоре Морето-и-Каванна.

Морето-и-Каванна и Кальдерон де ла Барка, два наиболее знаменитых драматических поэта Испании, еще очень молодые в ту пору, а следовательно, не получившие еще всей своей известности, имели неизъяснимую честь быть друзьями Филиппа IV, который спрашивал у них советов насчет своих литературных произведений.

Морето особенно пользовался симпатией Филиппа IV, не потому, что у него было больше ума и таланта, чем у Кальдерона, а потому, что он был большим льстецом: когда король удостоивал чести что-нибудь прочесть ему, он лучше и чаще, чем Кальдерон, восторгался. Представляя из себя артиста, король все-таки остается королем, ему нужны не товарищи, но куртизаны.

Филипп позвал Морето, чтобы посоветоваться с ним насчет плана комедии, и поэт, услышав одно лишь название, тут же чуть не помер от смеха:

— Умереть за свою даму?.. Только его величество мог придумать подобное заглавие!

Затем целый час они толковали о пьесе: Филипп думал то, Филипп думал это, такое-то лицо будет иметь такой-то характер, в такой-то сцене встретится такая-то перипетия...

Морето постоянно восклицал:

— Прелестно!.. Прелестно!.. Восхитительно!..

К счастью, пьеса была в одном только акте, будь она в двух, Морето вынужден был бы остановиться, он истошил весь словарь восторга.

В итоге это свидание так расположило Филиппа к Морето, что, излившись перед ним как автор, он ощутил потребность открыться ему как человек.

Преподнося букет своего искусного восхищения, Морето говорил королю, что он должен гордиться тем, что уже увенчан всеми лаврами.

— Не считая, — закончил он с улыбкой умиления, — лавров любви!

Филипп вовсе не гнушался тем, что людей занимают его любовные похождения.

Однако при этих словах поэта лицо его несколько омрачилось.

— Ах, Морето, ты думаешь, — сказал он, — что любовь меня балует... Ты ошибаешься, друг мой! Женщины смеются надо мной, как над последним нищим в моем государстве.

Морето всплеснул руками.

— Ваше величество шутит!

— Нисколько, и ты будешь очень удивлен, если я расскажу тебе мое последнее несчастье. И я решил отныне искать любовных развлечений не в том мире, от которого имел обыкновение их требовать. Обман за обман! По крайней мере, буду утешаться тем, что теперь мне станут изменять женщины, которых любят так, по глупости... всякие мещанки... актрисы... И я думаю, что... — Король пристально посмотрел на Морето и продолжал: — Ты мог бы руководить мной на этой новой дороге. Вот уже четыре месяца, как я не был в театре. Видел ли ты там, за кулисами, какую-нибудь девушку, способную занять меня на недельку? Ты меня понимаешь?.. Но я не хотел бы и посрамления... Словом, если уж выбирать былиночку, то пусть не слишком увядшую... Итак?

Морето молчал. Он мысленно разбирал эту новую дорогу.

Вдруг он вздрогнул, как человек, который борется с дурной мыслью. Нечто вроде

колебания отразилось в его лице.

— Итак?

— Итак, — сказал поэт, — я могу исполнить ваше желание, государь.

— Можешь?

— То есть я знаю, на кого обратить внимание вашего величества.

— А!.. А!.. Актриса?

— Актриса.

— Молодая?

— Шестнадцати лет.

— Хорошенькая?

— Как игрушечка.

— А имя этой игрушечки?

— Мария Кальдероне.

— Кальдероне?.. погоди! Это не родственница?..

— Кальдерона? Нисколько... Уж такая не родственница, что...

— Что?

— Кальдерон до сумасшествия влюблен в нее.

— Черт возьми! Уже и соперник!

— О! Соперник не опасный. Она не любит Кальдерона.

— Кого же она любит?

— Никого.

— Никого? В шестнадцать лет?.. Актриса?..

— О! Кальдероне, несмотря на свои шестнадцать лет, вовсе не похожа на других актрис.

Театр для нее лишь ступенька...

— Чтоб достигнуть?

— Состояния.

— А-а!.. Но если она хороша собой и благоразумна... ей будет это легко. Состояние, о каком мечтает девушка шестнадцати лет... актриса... Это же не сокровища Индии!..

— Пусть ваше величество не верит ей. Кальдероне будет требовательна.

— Но ты хорошо знаешь эту малютку, Морето?

— Очень! Я люблю ее!

— Ты любишь ее?

— И оставляю ее вам? Так что же делать, если она меня ненавидит?

— Вот как?.. Бедный друг, это ты так с досады... Но известно ли тебе, что женщина из низших слоев, ставшая любовницей испанского короля, не имеет права, когда король ее оставит, оставаться в обществе и обязана...

— Уйти в монастырь. Извините, государь, я вполне знаю этот закон. Но это не мешает мне желать, чтобы Кальдероне принадлежала вам. Только вам одному.

— Да. Это справедливо... Я ошибся, Морето. Тобой сейчас движет не ненависть, а чувство мести, хотя я не вменяю это тебе в вину... Итак, благодарю тебя, мой друг. Скажи, Кальдероне сегодня вечером играет?..

— Да, государь, играет в «Жизнь есть сок».

— Кальдерона? Хорошо. Я пойду посмотреть ее. Прощай.

Его величество отпускал поэта, но поэт не уходил.

— Ты хочешь еще что-нибудь сказать мне? — спросил Филипп.

— Последнее слово, государь. Я друг Кальдерона... И хотя она, Кальдероне, так же не любит его, как и меня...

— Тебе было бы неприятно, если б он узнал обо всем? И что ему вообще больше не на что надеяться — благодаря тебе?.. Я буду молчать. Ступай.

На сей раз Морето ушел.

Оставшись один, Филипп с отвращением проговорил:

— Тьфу! Эти поэты не лучше вельмож!.. Бедный Кальдерон, быть может, еще поплачет о том, что своими комедиями заставлял смеяться своего друга... А вдруг эта малютка не любит его?

Театр дель-Принчипе был полон.

В этот вечер играла Кальдероне.

У нее, стало быть, был талант, если она так привлекала толпу? Нет, не талант, а чрезвычайная прелесть.

Родившись в Мадриде 15 августа 1611 года, от бедняка, по ремеслу носильщика, и кончиты (странствующей плясуньи), Мария Кальдероне, сирота в семь лет, была воспитана актрисой, Марией де Кордова, — более известной под именем Амаралисы, — которая выучила ее читать по одной из своих ролей.

В двенадцать лет Кальдероне знала наизусть четвертую часть пьес Лопе де Вега, а Лопе написал их две тысячи двести. Тринадцати лет она поступила на сцену в Кадиксе. Пятнадцати она приобрела репутацию в Севилье в ролях ангелов, в представлениях, называвшихся во Франции в XVI веке мистериями. Наконец, шестнадцати лет, в Мадриде, где она была уже три месяца, ее заметили в пьесах плаща и шпаги, что в то время обозначало высокую комедию.

И особенно она была обязана страсти, внушенной ею Кальдерону, автору одной из пьес, в которой она играла, за те рукоплескания, какими ее осыпали каждый вечер, Ибо он заставлял ее повторять роли с первого до последнего действия.

И в благодарность за такие заботы вправду ли Кальдероне не любила своего наставника?

Морето солгал королю. Кальдероне любила Кальдерона.

Но... войдем в гримерную актрисы, готовящейся одеваться. Перед «Жизнь есть сон» играли другую комедию, в которой она не участвовала, а потому она не спешила одеваться, находясь в обществе поэта и камеристки.

Подслушаем их разговор...

Но прежде всего мы должны сказать, что в одном случае Морето был прав: Кальдероне была прелестна, более чем прелестна — восхитительна. Она была среднего роста, ее волосы, падавшие локонами на лоб, а сзади заплетенные в косы, были черны как смоль, ее белая матовая кожа была облита теплыми и оживленными тонами, глаза, осененные длинными ресницами, бросали пламя и искры страсти, ротик, пунцовый и свежий, как цветок граната, просил поцелуев.

И при этом вопреки моде, царившей в то время в Испании, — смешной и глупой моде, требовавшей, чтобы женщина, достойная названия красавицы, была худа как щепка, Кальдероне, не будучи жирной, обладала той крепостью и округлостью форм, которые так привлекают взгляды.

Кальдерону в 1627 году было двадцать шесть лет. Высокий и худой, черноволосый, с прямым носом, с мясистыми губами, густыми бровями — он походил на Мольера. И

действительно, если Филипп IV не был Людовиком XIII, то Кальдерон был Мольером его века.

Кальдероне, когда мы вошли к ней в примерную, бранила Кальдерона. Он был печален. Тщетно старалась она в продолжение четверти часа заставить его смеяться, рассказывая ему театральные истории, — морщины на лице его не разглаживались. Сидя перед зеркалом, перед которым она причесывалась с помощью своей камеристки Инессы, Кальдероне могла судить о безуспешности своих усилий.

Наконец она рассердилась и покраснела. Бросив гребенки и щетки и быстро обернувшись к Кальдерону, она вскричала:

— И для чего вы здесь, если все, что я говорю вам, надоедает! Ступайте вон!

Он встал и пошел к двери.

— Педро!

Так звали Кальдерона. Он остановился. Ласковая рука и нежный голос задержали его.

— Оставь нас на минуту, Инесса, — приказала Кальдероне.

Камеристка вышла.

— Посмотрим, что с вами! — начала актриса. — Почему вы печальны? Что сделала я вам сегодня вечером?..

— Увы! — вздохнул он. — Ничего особенного. Ничего ни доброго, ни злого.

Она закусила губы.

— А! — прошептала она. — Упреки! Всегда упреки! Я сказала вам, что люблю вас. Я доказала вам это... Отчего же вы такой мрачный?

— Оттого, что все ваши доказательства чувства, которые, как вы сказали, вы испытываете ко мне, вовсе и не доказательства.

Актриса с досады забавно топнула ногой.

— Святой Боже! Это уж слишком! — воскликнула она.

И, быстрым движением схватив обеими руками голову поэта, она два раза поцеловала его глаза.

— Ну, а это, милостивый государь, не доказательство?.. Чего же вам еще нужно?

— Чего мне нужно!..

Возбужденный действиями молодой девушки, Кальдерон, в свою очередь, обнял ее, его пламенные губы приблизились к ней, чтобы возратить поцелуй самому источнику этих поцелуев. Но она оттолкнула его и, серьезная, строгая, проговорила:

— Нет! Не так!

— Ах, вы сами видите, что не любите меня! — сказал он. — И все ваши уверения ничего не значат. Я... я никогда не буду для вас ничем иным, как другом...

— Никогда? Почему вы знаете?

Он наклонил голову с видом сомнения.

— Послушайте, Педро, — начала она, — хотите поговорить пять минут, как я никогда не говорила с вами, со всей откровенностью?..

— Со всей откровенностью? Но я, со своей стороны, никогда не говорил вам ни одного слова, которое было бы неискренне... Я обожаю вас и...

— Женитесь вы на мне, если я попрошу вас?

Вопрос был настолько прям, что Кальдерон не мог скрыть сильного смущения.

— Полно! — улыбаясь, продолжала актриса. — Вы мне не отвечаете, Педро?

— Извини, дорогая Мария... я...

— Тсс! Тсс! Без лишних слов!.. Вы меня обожают, но не настолько, чтоб жениться на мне... Успокойтесь, если вы считаете, что я не могу быть вашей женой, я тоже, со своей стороны не имею желания иметь вас мужем! Несмотря на подобие наших имен, сеньор Педро Кальдерон де ла Барка — Кальдерон-поэт, призванный быть в будущем славой Испании, не может быть мужем Кальдероне, дочери Мигуэля Кальдероне, носильщика, и Елены, бродячей плясуньи... Он будет ее любовником, и довольно.

— Это все? — вскричал Кальдерон, физиономия которого расцвела.

— Все! — весело повторила молодая девушка. — Это подлежит разбору, но не станем разбирать! Мы согласны: вы любите меня, я люблю вас, и буду ваша. Я этого хочу, я в этом клянусь!..

— Милая Мария! Но в таком случае, почему...

— Я не ваша сейчас же? Я вам объясню это со всей откровенностью, мой друг. И именно потому, что я уважаю причины, по которым вы не можете соединиться со мной брачными узами, которые отяготят вас, я надеюсь, что вы не станете укорять меня за осторожность, с какой я не спешу сделать вас счастливым. Сделать нас счастливыми!.. Вы не упрекнете меня в кокетстве?..

Упоенный радостью, Кальдерон упал к ее ногам.

— А причина этой осторожности? — спросил он.

В ложе актрисы, на ее туалете была роза, она взяла ее и подала возлюбленному.

— Не правда ли, эта роза прекрасна? — сказала она.

— Да. Кто вам дал ее?

— Приятельница моя, Балтазара. Да, эта роза прекрасна, и я была в восхищении, когда она мне подарила ее. Но не полагаете ли вы, что мне было бы приятнее самой сорвать ее с ветки, чем иметь из других рук? Иметь ее, когда никто еще не вдыхал ее аромата?..

— Без сомнения.

— Итак, мой друг, я похожа на эту розу. Мне шестнадцать лет. Я недурна, но одно из моих достоинств, самое привлекательное, особенно в глазах тех, кто может за мной ухаживать, — то, что я еще на стебле. Пусть завтра узнают, что у меня есть любовник, и я потеряю три четверти моей цены. Итак, не имея возможности быть женой человека, которого я люблю, и имея от нет одно только его сердце, потому что вы ничего не можете дать мне, Педро, вы не богаты, я решила, что получу состояние от человека, которого я не люблю. Но чтоб этот человек согласился дать мне то, чего я желаю, необходимо, чтобы он не только думал, что он мне нравится, но еще и то, что он нравится мне первый. Понимаете?..

Кальдерон горько улыбнулся.

— Я понимаю очень хорошо, — ответил он, — и поздравляю вас, моя дорогая Мария. Для шестнадцатилетней девушки вы отлично умеете рассчитывать.

— Это вас возмущает?

Поэт встал, взял свою шляпу и снова направился к двери. Кальдероне снова остановила его, сказав:

— Так вы меня больше не любите? Из-за того, что я открыла вам, что настоящее для меня еще не все, что я также думаю о будущем, вы гнушаетесь мною? Вы не хотите, чтоб я была вашей женой... Как любовницу вы не можете меня обеспечить, а я хочу золота, оно мне нужно! Я боюсь бедности!.. И вы находите дурным, что я говорю вам: «Взамен моего сердца, которое будет твое, скоро, завтра, сегодня вечером, быть может, оставь мне право и власть

приобрести богатство»?

Кальдерон продолжал молчать.

— А! Берегитесь, Педро, — с угрозой произнесла молодая девушка. — Я люблю тебя, это правда, но презрение убивает любовь!.. Если ты выйдешь сегодня отсюда, не сказав: «Всегда твой», — я никогда не буду твоей.

Бедный поэт не размышлял более. Обернувшись к Кальдероне, с бледным лицом, по которому катились слезы, он пробормотал:

— Ах, ты хорошо знаешь, мой демон, что я всегда буду твой, что бы ты ни делала и чего бы ни желала!..

— В добрый час! — воскликнула она, торжествуя, и, бросившись к нему на шею, подарила ему третий, на этот раз настоящий, поцелуй.

— На... Вот тебе, чтоб придать смелости для ожидания.

Кальдерон ушел. Кальдероне, вздохнув глубже, чем то могут высказать слова, позвала свою камеристку.

Та вбежала радостная.

— Ах, сеньорита!

— Что?

— Король в театре! Он вошел в свою ложу. Он будет смотреть вашу игру.

Актриса покачала головой.

— Меня и других, — сказала она. — Балтазара и Вака тоже играют в пьесе «Жизнь есть сон».

— О! Но Вака стара, а Балтазара дурна... А вы молоды и хороши.

— О льстивая!

— Скажите, сеньорита, что, если б король влюбился в вас?

— Поди! Ты с ума сошла!.. Одень меня!

Это была правда. Как он и обещал поутру Морето, Филипп IV явился в этот вечер в театр удостовериться, действительно ли Кальдероне была достойна того, чтобы заставить его забыть герцогиню Альбукерк.

Но удивительно, что в тот же вечер, по той же самой причине и с той же целью, что и король, в театре был и герцог Медина де ла Торрес. Подобно королю, Медина впервые увидел Кальдероне и нашел ее прелестной, точно так же, как король. И опять же подобно королю, после спектакля, узнав, где живет молодая актриса, герцог решил не мешкая отправиться к ней, чтобы высказать ей свои любовные предложения.

Но тогда как Медина направился по самой краткой дороге к жилищу Кальдероне, Филипп, руководимый Оливаресом, избрал самую длинную. И когда около полуночи его величество постучал в дверь актрисы, герцог Медина уже с полчаса был у нее.

На что же Медина потратил эти полчаса? Объясним, но начнем наш рассказ чуть раньше.

Когда Кальдероне играла, Кальдерон имел обыкновение ожидать ее у театрального входа, чтобы проводить домой.

Но в этот вечер, одновременно счастливый и несчастный после откровенного разговора, даже более несчастный, чем счастливый, поэт удалился, а вернее — просто убежал как сумасшедший, хотя со всех сторон ему кричали: «Король в театре!»

Однако перед уходом Кальдерон попросил одну из подруг артистки, Барбару Коранель, исполнить в этот раз его роль, роль провожатого. И Кальдероне безмолвно приняла эту

перемену.

Прежде всего она была уверена, что Кальдерон будет на нее какое-то время зол за ее откровенность. Потом, как артистка, она была слишком восхищена этим вечером, чтоб позволить властвовать над собой как над любовницей из-за его плохого настроения.

По словам Инессы, король весь спектакль, казалось, не сводил с нее глаз и слушал ее одну... А что, если это сбудется? Если король... А почему бы нет?.. Но монастырь, куда она должна будет запереться после того, как король перестанет ее любить! Э, пусть он только ее полюбит! Она чувствовала в себе силу удержать его в своих руках, так что до монастыря еще далеко.

Это была, как видите, девушка с характером. Но она была воспитана в прекрасных правилах ее приемной матерью, Марией де Кордова, которая уже около месяца жила в Севилье, удерживаемая своими семейными делами, Кальдероне оставалась одна со своей горничной в самом скромном обиталище, в нижнем этаже одного из домов по улице св. Иеронима.

Прошло минут двенадцать, как она вернулась домой, куда ее привела старая Барбара Коранель. Она занималась в своей спальне ночным туалетом, а в соседней комнате камеристка готовила ужин.

— Если вам угодно, сеньорита, — закричала Инесса, — все готово!

— Вот и я! — ответила Кальдероне.

И она уселась за стол напротив своей камеристки. О, это был отнюдь не пир! Кисть винограда и по две-три фиги каждой, ну и хлеб с водой для обеих — вот и все. После такого ужина плохие сны не снятся.

Кальдероне уничтожала свою порцию, Инесса — свою, когда постучались в дверь, выходящую на улицу.

— Стой! — прошептала служанка и добавила громко: — Кто там?

— Герцог Медина де ла Торрес, — отвечал голос за дверью.

— Герцог Медина де ла Торрес, — тихо, со вздохом повторила Кальдероне. Однако она встала и подошла к двери.

— Что вам угодно, сеньор?

— Поговорить с Кальдероне... Поговорить с вами, потому что я узнал ваш голос.

— Но я вас не знаю... Я никогда вас не видела...

— Отоприте, вы увидите и узнаете меня.

Мария глазами советовалась с Инессой, в то же время внутренне советуясь сама с собой. Герцог не король... но это почти такое же блюдо... Во всяком случае, можно посмотреть!

Инесса движением головы сказала ей: «Отоприте!» В одно время с ней и Кальдероне сказала самой себе: «Отпереть!»

Она открыла.

И ее первым впечатлением при виде посетителя было вовсе не сожаление — напротив! Герцог был молод и красив, моложе всех вельмож двора Филиппа IV. Двадцати трех лет, он обладал стройной талией, благородными и нежными чертами лица.

Он поклонился актрисе и поцеловал у нее руку.

— И притом, — сказал он голосом, в котором слышался легкий оттенок надменности, — и притом, сеньорита, разве теперь, когда вы меня знаете, поздно уделить мне несколько минут вашего внимания?

Он подчеркнул это слово «поздно». Кальдероне покраснела, чем доказывалось, что она

отлично поняла смысл.

— Нет, — ответила она, — нет, сеньор, не слишком поздно.

— Благословен Бог! Поговорим прямо сейчас же! — весело вскричал Медина. Он сел.

— Прошу вас сюда, сеньор! — сказала актриса. Около стола, еще уставленного простыми кушаньями, ей не нравилось беседовать с блистательным вельможей.

— Как вам угодно! — ответил он.

Между спальнями Кальдероне и ее приемной матери была маленькая комната, которая при случае могла сойти за залу (мы говорим «при случае» потому, что она ничем не отличалась по своей обстановке от прочих комнат). В нее-то Кальдероне во главе с Инессой со светильником ввела герцога.

И этот человек, от которого не ускользнула чрезмерная простота убранства, вывел из этого благоприятное для себя заключение, что цитадель, нуждаясь почти в самом необходимом, не долго выдержит осаду.

Камеристка вышла.

— Мое милое дитя, — приступил Медина, — я не буду несправедлив, сомневаясь в вашем уме. Вы знаете, зачем я у вас сию минуту. Вы прекрасны, я — богат. Я хорошо понял ваш ответ: у вас нет любовника. У меня нет любовницы. Хотите быть моею? Не правда ли, да? Подпишем контракт.

Проговорив эти слова, герцог обнял Кальдероне за талию, но она вырвалась, и, вся еще пунцовая, но, однако, улыбающаяся, сказала:

— Вы очень спешите, сеньор.

Он рассматривал ее с изумлением.

— А это вам не нравится? — возразил он. — Вы предпочли бы, чтоб близ вас я оставался холодным и бесчувственным?..

— Но мне в первый раз говорят так, как вы. Я скромна...

— Тем лучше, ради Бога! Условия нашего взаимного договора будут для вас выгодны...

Молода, прелестна, скромна... Посмотрим: за молодость — дом на площади Алькада! Довольно?

— О сеньор!

— За красоту — тысячу дублонов в месяц. Достаточно?..

— Сеньор!

— А за скромность... О! Я уж и не знаю что... скромность неоценима!.. Ну, за скромность — две тысячи дублонов в месяц и целый дождь поцелуев каждый день... Достаточно? Хочешь больше? Приказывай! Но... подпишем, подпишем...

Он снова сжал ее в объятиях.

Он был красив, очень красив!

И при том, казалось, деньги ему так мало стоили... Грезы Кальдероне осуществлялись, у нее будут полные руки золота!

Она подписала.

Тук-тук! Во второй раз постучались в наружную дверь актрисы; стук дошел до слуха любовников, сидевших в зале.

— Это что? — спросил герцог, уже сожалея о том, что он прибавил за скромность. — Ждете кого-нибудь?

— Нет! Клянусь вам!

Она сказала это так искренне, что он устыдился своего сомнения.

Тук-тук-тук! Стучал кто-то, по-видимому, нетерпеливо.

Прибежала Инесса.

— Сеньорита, слышите? Это двое мужчин. Я их видела из залы. Двое мужчин, закутанных в плащи.

Медина вынул свою шпагу.

— Если б их было четверо, десятеро, целая сотня, — гордо сказал он, — там, где герцог Медина, другим нет места!

Он хотел броситься вперед.

— Умоляю вас, сеньор! — сказала Кальдероне, думая о Кальдероне. — Повторяю вам, я никого не жду... Но вас я тоже не ждала, а вы между тем пришли... Быть может, это друг, может быть, театральная подруга, которая имеет во мне нужду, — позвольте же мне...

Тук! Тук! Тук!.. Тук! Тук!.. Ясно, что совсем теряли терпение.

— Хорошо, ступайте! — сказал Медина.

Но он стоял на пороге залы, между тем как актриса и служанка подошли к двери, выходящей на улицу.

— Кто там? — спросила Кальдероне.

— Король! — ответил Оливарес. — Отпирайте скорее...

— Король!

Бледный, как мертвец, Медина на цыпочках подскочил к Кальдероне и задыхающимся голосом прошептал:

— Отоприте! Но если вы не хотите моей гибели, ни слова его величеству, что я здесь.

Герцог вернулся в залу.

— Отоприте, Инесса, — сказала Кальдероне.

Король и Оливарес, когда наконец дверь открылась, скорее проскользнули, чем вошли сюда. И первые слова, с которыми они обратились к ней, выражали дурное расположение духа.

— Право, моя милая! — сказал король. — Вы очень долго не отвечаете.

— Что вы делали? Полагаю, вы еще не ложились? — спросил министр.

Стоя около Инессы, с опущенными глазами, Кальдероне, казалось, была жертвой такого сильного смущения, что оно отняло у нее дар речи.

— Скажите, милое дитя, — начал более нежно Филипп, — почему вы не отпирали?..

— Боже мой, государь, потому что... вовсе не полагая, что это ваше величество удостоивает чести свою преданную служанку, стучась в ее дверь, я не спешила отпереть... я не имею обыкновения принимать в это время посетителей... потом... потому что я была занята... вместе с камеристкой в моей спальне чтением письма, которое я получила от моей доброй и любимой приемной матушки, сеньоры Марии де Кордова... Взгляните, государь!..

Актриса подала королю бумагу, которую она вынула из кармана. Филипп взял ее и, бросив беглый взгляд, возвратил назад Кальдероне.

— Хорошо! Хорошо! — сказал он. — Во всяком случае, не вам извиняться, милое дитя, я должен просить у вас извинения за то, что так внезапно явился к вам.

— О государь, я так счастлива!..

— Право! Вы не желаете от меня извинения? Увидев вашу игру сегодня вечером, я пожелал высказать вам лично, тотчас же, весь интерес, какой вы мне внушили. И если б я был расположен выразить вам этот интерес самым нежным образом, вы не оттолкнули бы меня?..

Король прижал к губам руку Кальдероне. Наступило молчание, министр и служанка деликатно отвернулись. В это время губы короля переместились. О! Филипп был очень тороплив в любви!.. Впрочем, не торопливее герцога Медины.

— Ты никого не любишь? — вполголоса спросил Филипп Кальдероне.

— Никого, — не колеблясь, отвечала она.

— Ни Морето... ни Кальдерона?..

Она взглянула на короля.

— К чему мне любить их?

— Просто спросил! Я не знаю, от кого я слышал, что оба поэта ухаживают за тобой.

Она наклонила голову, чтобы поразмыслить. «Это Морето говорил обо мне королю из ненависти к Кальдерону, которого я предпочла ему».

— Вас обманули, ваше величество! Я не люблю ни того, ни другого... я только дружу с Кальдероном, который добр, и совершенно равнодушна к Морето, который завистлив и зол.

— Может, ты права, — сказал Филипп. — Оливарес!

Граф-герцог подошел.

— Завтра я буду говорить с тобой о том, что может пожелать эта милая крошка. И желай много, слышишь, Мария? Что бы ни делали голландцы, у меня в ящиках есть еще золото для любимой женщины.

— Я буду обращаться с вами, ваше величество, по достоинству, — ответила Кальдероне, — как с королем.

— Да, да! — насмешливо сказал король. — Я также знаю, что ты способна раздражать меня как короля!

«Это опять Морето сказал ему, — снова подумала Кальдероне. — Морето сказал ему, что я жадна и честолюбива».

— А теперь, — продолжал Филипп, — мы оставим тебя отдохнуть после ужина. Ведь ты уже ужинала, как мне кажется?

Он, улыбаясь, взглянул на стол.

— Я получаю только двадцать дублонов в месяц, государь! — сказала Кальдероне, которая прочитала эту улыбку.

— Потому-то ты мне и нравишься! — быстро возразил Филипп. — Если б ты получала тысячу, ты не была бы тем, что ты теперь, — таким лакомым кусочком. До свидания, моя жемчужина!.. До скорого!

Через несколько секунд, уверенная, что царственный посетитель и его спутник уже далеко, Кальдероне отправилась в залу к герцогу.

Он все слышал из своего убежища.

— Ах! — вздохнул он, снова увидя молодую актрису. — Это досадно!

— На что вы досадуете, сеньор? — спросила она самым наивным тоном.

— На то, что вы нравитесь королю. Мне вы столько же нравитесь. Но, чего бы мне ни стоило, на этот раз я склонюсь перед его могуществом!

Она с изумлением посмотрела на него.

— На этот раз? — повторила она. — Разве вы не всегда склонялись перед ним?

— Милое дитя, в том положении, в каком мы находимся, я не могу иметь от вас секретов. Недавно я совершил проступок, полюбив одну с королем женщину... И он меня застал на месте преступления.

— А! Что же сказал его величество?

— Ничего. Или почти ничего.

— Значит, его величество уже не любит эту даму.

— Очень возможно. Но вот что дурно: чтоб доказать королю, что я чувствую его великодушие, я немедленно разошелся с нашей любовницей... и ищу новую, за которую он не мог бы упрекнуть меня, что я ее у него похищаю. И надобно же было, чтоб та, которую я нашел, самая прелестная девушка в Испании, — вы! — была та же самая, с которой и его величество хочет забыть неверную. Не правда ли, ведь я имею право роптать на судьбу!

Кальдероне кивнула головой.

— Справедливо, — ответила она. — Я понимаю вашу печаль. Ибо, как вы сказали сейчас, на этот раз вы должны преклониться перед всемогуществом. Если король меня любит, — а если не любит, то полюбит, — он не простит вам, что вы тоже полюбили меня. Прощайте же, сеньор. Благоразумие — хороший советчик. Мы никогда не виделись и никогда не увидимся снова! О, не беспокойтесь! В первый же раз, как я вас встречу, я и виду не покажу, что знаю вас. Я вас не скомпрометирую.

Говоря таким образом, Кальдероне устремила на герцога шаловливый взгляд. Нужно было быть слепым и не иметь от роду двадцати трех лет, как Медина, чтобы противиться этому зову. Он наклонился к ней и голосом, задрожавшим от страсти, проговорил:

— А если, несмотря на все... я скажу тебе, что все-таки люблю, что из этого выйдет?

Она пожала плечами.

— Очень обыкновенное, — ответила она. — Король явился вторым, он вторым и останется!

— Милая Мария!..

Но, оттолкнув его, она сказала:

— Нет! Будем благоразумны. Завтра я жду герцога Оливареса, завтра вечером, мой друг, вы получите обо мне известие.

— Ты клянешься мне?

— Клянусь! Если я прелестна — вы красивы! Если вы меня любите — я люблю вас. Сначала любовь... потом всемогущество... Это в порядке вещей. Прощайте!..

Эту ночь, столь насыщенную событиями, Кальдерон провел прогуливаясь по берегу Мансанареса; только утром он пришел домой, разбитый и физически и нравственно.

Он спал, когда Инесса, камеристка Кальдероне, разбудила его, чтобы передать ему письмо.

«Мне необходимо сегодня вечером поговорить с вами, мой друг, необходимо. Я не шучу. От девяти до десяти я вас жду у себя. И без глупостей! Вы жестоко в них раскаетесь! Мария».

Кальдерон был точен. В девять часов он явился к ней.

Она приняла его в спальне. В лице, в движении молодой девушки было нечто поразившее Кальдерона. Это была смесь радости и страдания, стыда и гордости, но над всем царило какое-то приятное выражение.

— Педро, — быстро сказала она ему, — король меня видел вчера в театре. После спектакля король явился сюда, ко мне... Он меня любит... я буду его любовницей.

Кальдерон, сидевший рядом с актрисой, поднялся со своего стула, как будто тот превратился в колючки.

— Так вы меня для этого звали? — вскричал он.

— Разве бы вы предпочли, чтоб я не говорила вам до тех пор, пока уже не буду принадлежать себе?

— Прежде или после — все равно!

— А, вы находите!.. Я думала, что вы будете благодарны мне, когда я, готовясь отдаться другому, — и кому же? Королю! — вспомнила, что обещала быть прежде этого другого вашей. Но вы презираете мои слова!.. Вы презираете то счастье, которое я берегла для вас... Пускай! Не будем говорить об этом!..

Он слушал молодую девушку, одурелый, остолбеневший.

— Любовница короля!.. Вы будете любовницей короля! — повторял он.

Она бросилась к нему и, опалая его своим дыханием, сжигая взглядом, сказала ему:

— Да. Я буду любовницей короля! Да, я хочу быть богатой, могущественной, ласкаемой... Но ты все не понимаешь? Ты не слушаешь? Хотя я счастлива выше всех моих надежд, мое счастье, однако, не сделало меня ни неблагодарной, ни лживой. Я клялась быть твоей в тот день, когда мне нечего будет желать... Мне желать нечего... и я говорю, что я люблю тебя! Люблю всем сердцем за твой гений!.. И мы одни, совсем одни... А ты остаешься немым, неподвижным... Это ты не любишь меня!

Кальдерону, казалось, что это сон. Никогда воображение поэта не рисовало подобного положения. Какое-то облако затмило его глаза, его мозг.

— Ах, если б я мог умереть в эту ночь! — прошептал он.

Но он не умер.

Уверяют даже, что эта ночь, украденная совестью Марией Кальдероне у будущего любовника, имела продолжение. Кальдерон часто, тайком, виделся с актрисой, сделавшейся любовницей Филиппа IV. После того, что она для него сделала, было бы слишком щекотливо со стороны поэта перестать любить только потому, что не его одного любили.

А герцог Медина? О! Кальдероне тоже сдержала слово. Он был первым после Кальдерона, потому что ему было только обещано, что он будет первым до короля.

Повинуясь королевским приказаниям, Оливарес за одни сутки купил и великолепно убрал небольшой домик в окрестностях города. Устроившись у себя, однажды в четверг Кальдероне попросила, чтоб король ужинал у нее в следующую субботу.

В глубине сада в переулок, упиравшийся в берег Мансанареса, вела маленькая дверь, наполовину закрытая бенгальскими розами и жасминами Азорских островов. Настоящая дверь влюбленных. В эту-то дверь в пятницу, в полночь, и входил Медина. И через нее же на другое утро; на рассвете, убегал от милой.

Филипп IV полагал, что чувствует к Кальдероне мимолетную прихоть, а она была три года его любовницей. И обожаемой любовницей. В эти годы не проходило и двух дней кряду, чтоб он не провел несколько часов с нею в том маленьком домике в окрестностях. Королева не могла не знать о связи своего супруга с актрисой, ибо Кальдероне осталась на сцене; одной причиной может быть больше, почему она так долго сохраняла свою власть над Филиппом IV: она играла свои роли — и играла великолепно.

Кальдероне имела честь подарить Филиппу IV сына, дона Жуана Австрийского, родившегося в 1629 году и не имевшего ничего общего со своим знаменитым тезкой, сыном Карла V, кроме того, что оба они были побочными. Тем не менее он проложил себе дорогу. Очень любимый королем, который несколько раз поручал ему командование армией, в следующее царствование он наконец достиг звания первого министра.

В 1665 году на дона Жуана Австрийского сочинили стишки, в которых, между прочим, Кальдероне была названа всесветной женщиной, то есть женщиной, принадлежавшей всем и каждому.

Это может служить доказательством, что в то время, когда она была любовницей короля, она не довольствовалась только Кальдероном и герцогом Мединой, ибо два любовника — не весь же свет. Но, несмотря на все наши исследования, мы не можем этого полностью утверждать.

Известно только то, что Филипп бросил ее столь же неожиданно быстро, как и взял, — через семь или восемь месяцев после того, как она родила. Ей еще не было двадцати лет. Не достигь и двадцати лет, быть прелестной, полной жизни и страсти и быть обреченной оставить навсегда свет!.. Кальдероне плакала. Она рассчитывала на более продолжительное существование!

Но закон, роковой закон, был неумолим! Тому, кто получил ее первый поцелуй, поэту Кальдерону, экс-фаворитка хотела сказать свое первое к последнее прости! Он тоже плакал.

— Да, — сказала она, выражая убеждение, которое было далеко от ее сердца, — быть может, для меня лучше бы было остаться актрисой... и только актрисой, со всеми лишениями, но и со всеми радостями моего ремесла.

Она удалилась в женский монастырь Сан Плачидо — монастырь не очень суровых правил, столь мало суровых, что через несколько лет инквизиция должна была установить там свой порядок. Монахинь Сан Плачидо обвинили в том, что они принимали в ночное время в монастыре монахов из соседнего монастыря Сан Филиппо и предавались в их обществе оргиям. Когда разбирательство завершилось, то в назидание другим шестерых сестер бросили в темницу, называвшуюся «Упокойся с миром», а настоятеля монастыря Сан Филиппо и троих монахов сожгли на костре.

Кальдероне, хоть и скомпрометированная более других, была спасена королевским заступничеством и отделалась только страхом. Но страх этот был так силен, что, страдая с того самого дня, когда она предстала перед жестоким трибуналом, она угасала и умерла 22 ноября 1632 года.

Рассказывают, что последним словом, которое она произнесла, готовясь испустить последний вздох, было имя: «Педро!..»

Тело забывает, а душа помнит.

ЛОЛА МОНТЕЦ

Если чье-либо существование и было бурно, так именно этой женщины. Ее история — роман, переполненный всякого рода безумствами. Единственное, что смущает и оскорбляет в ее истории, так именно то обстоятельство, что во всей жизни Лолы тщетно было искать намека на сердце.

Когда-то, тому назад целые века, если рождался принц или принцесса, то все дружелюбные феи, стекаясь к колыбели, одаривали ребенка физическими и нравственными совершенствами. Однако это не мешало этому ребенку, когда он вырастет, проходить по жизненной дороге, усеянной колючками и терниями, разбросанными какой-нибудь старой и уродливой колдуньей, которую, к несчастью, позабыли пригласить на крестины.

И вот, подобно принцам и принцессам доброго старого времени, Лола Монтец, столь одаренная всеми совершенствами, вследствие какой-то противоречивой силы была лишена главного, чтобы быть счастливой...

Казалось, при ее рождении какой-то злой гений сказал ей:

«Иди! Ты будешь жить любовью и для любви, но — жрица без веры и поэтому презираемая сыном Венеры — всю свою жизнь ты не будешь любить и не будешь любима никем. Как вечного жидна наслаждения я приговариваю тебя странствовать из страны в страну, от человека к человеку. И когда ты умрешь, ни один из тех, которые дарили тебе самые жаркие ласки, не прольет о тебе ни одной слезы. Ни один вздох сожаления не ответит, подобно эху, на твой последний вздох».

Вечный жид наслаждений! Пусть так! В этом отношении предсказание сбылось. Лола Монтец посетила все пять частей света, и от нее зависело открыть шестую, чтоб посеять там поцелуи.

Но что касается этого единственного вздоха сожаления, этой единственной слезы, которой ее лишили, — пророк несчастья ошибся. Более чем вероятно — кто-то сожалел и плакал о Лоле...

Испанка Лола Монтец, испанка по имени, по языку, по поведению, по цвету кожи, по глазам, по волосам, испанка по всему, вовсе была не испанка, а швейцарка, ибо родилась 22 апреля 1819 года не в Севилье, как утверждают некоторые биографы, а в Монтрозе, в Швейцарии.

Правда, в жилах у нее текла иберийская кровь по матери, Розите Монтец из Гаванны.

Но отец ее, лейтенант Жильберт, был ирландец.

По причинам, которые нам неизвестны, лейтенант Жильберт, связанный с Розитой только узами нежного согласия, нашел удобным в одно прекрасное утро быстро разорвать эти узы, и покинутая мать и ребенок переселились из Швейцарии в Англию. Они поселились в Бате в графстве Соммерсет. Розита Монтец нашла в этом городе мужа, настоящего мужа, уже зрелого, пятидесяти пяти лет, когда ей едва было тридцать...

И при этом, не очень заботясь о прошлом своей жены, этот человек предлагал такую улыбающуюся для нее будущность! Не будучи богатым, владелец бумажной фабрики Обадия Крежи жил в полном довольстве. И Розита Монтец поспешила превратиться в миссис Крежи. И с согласия своего мужа ее первой заботой было поместить их дочь, маленькую Лолу, в превосходный пансион, находившийся на Королевской площади и управляемый достойной уважения леди Олдридж, чтобы ее научили там всему, чему она хотела

научиться...

А Лола хотела знать все. Она училась по-английски, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-немецки, танцам, музыке, рисованию. Она даже выучилась — о чудо! — тому, что ей и не преподавали: любви...

Но у нее ведь было столько талантов!..

Рядом с пансионом миссис Олдридж процветало заведение для молодых людей, под управлением Конбурна.

Только стена отделяла сады двух заведений.

Волки около овец! Положим, что у волков были только молочные зубы, но все-таки это было неблагоприятно.

В ту же самую церковь, куда каждое воскресенье миссис Олдридж водила своих воспитанниц, Конбурн также постоянно водил своих. И из этого еженедельного сближения доселе не вытекало ничего такого, чем бы могла оскорбиться нравственность. Напротив, по выходе из церкви мальчишки дерзко смеялись над девочками, которые платили им тем же.

Среди учеников мистера Конбурна находился некто Вильям Бакер, блондин пятнадцати лет, который, вместо того чтобы насмеяться над девочками, вздумал бросать на них томные взгляды, инстинктивно веря, что какая-нибудь из них также инстинктивно ответит на них.

Наш юный ловкач рассчитал верно: одна из учениц миссис Олдридж приняла на свой счет эти взгляды.

Это была Лола Монтец. Ей было тринадцать лет. В одно воскресенье Вильям осмелился передать записку Лоле. Эту записку, впервые говорившую ей о любви, Лола слово в слово помнила и спустя двадцать лет. Вот она:

«О мисс, как вы прекрасны и как будет гордиться тот, кому будет принадлежать ваше сердце и рука!.. С тех пор как я вас увидел, я только и думаю, что о вас! У меня одно только желание: сказать вам, что я чувствую. И если вы хотите, это очень легко. В нашем заведении обедают в одно время с вашим; во время обеда, в назначенный день, мы оба уйдем из-за стола и достигнем глубины сада, где я сумею перелезть через стену, чтоб увидеть вас. Угодно вам? Отвечайте мне в будущее воскресенье одним словом или даже знаком, если вы боитесь писать. О мисс, как вы прекрасны, и как я люблю вас!..

На жизнь и на смерть ваш Вильям Бакер.

P.S. Не забудьте, если будете писать, сказать ваше имя. Не знать кого любишь, очень неприятно».

Лола не только приняла это предложение, но выразила это даже письмом.

«Я верю вам, Завтра, во время обеда, я буду в саду у большой стены. Остерегайтесь сделать себе что-либо неприятное, когда будете влезать. Меня зовут Лола Монтец».

Ясно, что свидания нашей юной четы были очень невинны. С помощью каштана, осенявшего площадку пансиона, Вильям вскакивал на стену и оттуда к своей возлюбленной, в сад миссис Олдридж. С той же легкостью он возвращался назад, причем ему был помощником платан. Таким образом, они оставались от двадцати до двадцати пяти минут вместе, повторяя друг другу, что они вечно будут любить.

Лола обожала своего доброго Вильяма, а Вильям также обожал Лолу, но, чтоб обмениваться раза три в неделю своими любовными признаниями, они были вынуждены каждый раз отказываться от обеда. Это была жертва для тринадцати- и пятнадцатилетнего желудков.

Лола первая придумала, как удовлетворить и любовь, и требования аппетита. На пятое

свидание она явилась с огромным куском хлеба, который, как преданная любовница, разделила со своим возлюбленным. Полный благодарности, на следующее свидание любовник явился, сгибаясь под тяжестью варенья и пирожных, приобретенных на свои деньги.

К несчастью, и Конбурн и миссис Олдридж начали удивляться этому повторяющемуся отсутствию из-за хронического недомогания во время обеда Вильяма Бакера и Лолы Монтец. За ними стали наблюдать, и наши влюбленные были схвачены — с поличным — сидящими на траве и готовыми уничтожить... лепешку!..

Какой скандал! В тот же вечер Лола была возвращена своим родителям; мистер Вильям отправлен в свое семейство.

Что сказала семейство блондина, узнав, что из среды его вышел недостойный обольститель, мы не знаем. Но что касается миссис Крежи, то если для проформы она довольно строго отнеслась к своей слишком уж нетерпеливой девочке, то втихомолку она не могла не посмеяться над тем, что стыдливая миссис Олдридж, подымая к небу свои длинные руки, называла преступлением.

— Все равно, — заключила Розита, советуясь с мужем, — я думаю, что чем раньше мы отдадим ее замуж, тем лучше.

— Я согласен с вами, моя милая, — ответил Обадия Крежи, — как только будет возможно, малютку следует выдать замуж, иначе она, пожалуй, доставит нам много неприятностей. Что вы думаете как о зяте о сэре Александре Люнлее, нашем соседе?

— Гм! Он очень стар! Ему по крайней мере шестьдесят лет.

— Это так, но зато у него по крайней мере четыре тысячи фунтов стерлингов дохода.

Розита иронически улыбнулась. Быть может, она по опыту знала, что это не заменяет в старике муже известных качеств.

Как бы то ни было, но она не противоречила своему мужу относительно предложенного им союза, и когда через два года Лола достигла пятнадцатилетнего возраста, сэра Александр Люнлей, согласившись с видами мистера и миссис Крежи, имел глупость подумать, что пятнадцатое лето может жить в согласии с шестьдесят восьмой зимой, — и вот однажды Лоле объявили, чтоб через месяц она готовилась сделаться миссис Люнлей. Лола задрожала, побледнела, но не возражала ничего.

И так как она молчала, то мать и отчим подумали, что она согласна.

Но часто страшная буря таится под невозмутимой тишиной. В том же доме, где жил сэра Люнлей, уже восемнадцать месяцев жила одна вдова, приехавшая в Бат, чтобы пить воды против подагры и ревматизма. Больная, миссис Маргестон, была очень любезна. Между сэром Александром Люнлеем и вдовой образовались добрососедские отношения.

У миссис Маргестон был племянник, кавалерийский офицер Индийской компании, красивый юноша двадцати пяти лет.

Именно за несколько недель до приведения в исполнение проекта Крежи соединить Лолу с сэром Александром Люнлеем Томас Джемс, племянник миссис Маргестон, пользуясь отпуском, остановился у своей милой и доброй тетушки на три месяца. И увидел Лолу. Полюбить ее для Джемса было делом одной минуты. Лоле тоже понравился Джемс. Однако, за исключением нескольких быстрых взглядов, пожатий руки, они не сказали друг другу ни одного нежного слова до той самой минуты, когда супруги Крежи торжественно объявили Лоле, что она будет богата.

Мы уже сказали, что Лола безмолвно выслушала этот ультиматум.

Он был произнесен в большой парадной зале. Объявив его Лоле, миссис Крежи сказала ей:

— Ступай, малютка, ты теперь можешь отправиться в свою комнату.

И когда дочь удалилась, мать, следя за ней глазами, прошептала: «Этот милый ребенок так доволен, что совершенно изумлен».

— То есть, — воскликнул отчим, — она восхищена! По виду этого нет, но я буду держать пари, что в глубине души она в восторге!

О слепцы!.. Пусть бы старый англичанин ублажал себя насчет чувств своей падчерицы — куда ни шло!.. Но Розита, которая прежде чем малыми каплями пить супружеский напиток, пила полными глотками шампанское любви, — Розита (креолка) не подозревала, что ее дочь, зачатая и рожденная во время сладостных пиршеств, не согласится быть женой человека, которого она не любила и не могла полюбить, — это непростительно!..

Лола, как ей предложили, удалилась в свою комнату, где первым ее движением было разбить вдребезги великолепную чашку китайского фарфора, которую сэр Александр Люнлей подарил ей накануне.

И, продолжая топтать остатки подарка, как будто то был сам подаривший, молодая девушка повторяла:

— А! Ты хочешь на мне жениться!.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

Вдруг она прервала свою бесплодную месть и прислушалась. Не голос ли это Томаса Джемса? Да, это был тот именно час, когда он имел обыкновение прогуливаться в саду миссис Маргестон, чтобы поймать улыбку Лолы, смотрящей из своего окошка.

А так как улыбка Лолы запоздала, молодой офицер сам вызвал ее пением. Лола из своего окошка стала выплачивать свой долг.

Потом знаком повелев Томасу Джемсу молчать, она подбежала к столу и быстро написала карандашом следующие слова:

«Мне приказывают выйти замуж за сэра Александра Люнлея, вся надежда на вас, чтобы избавиться от такого гнусного брака. Как? Это касается вас, если вы меня любите. Я жду. Лола».

Томас Джемс прочел эту записку, упавшую к его ногам в виде комка. Лола увидела, как он поднес ее к своему сердцу, что всегда и везде выражало: «Это сердце ваше, рассчитывайте на него».

Затем он быстро удалился.

Что он придумает? Остальная часть дня и вечер показались для Лолы веком. Она предполагала, что ее возлюбленный придет к ее матери, чтобы сказать хоть слово в ее защиту. Он не приходил.

Он не приходил, а между тем сэр Александр Люнлей, благодаривший ее с энтузиазмом за то счастье, которое она ему подарила, принес ей как свадебный подарок превосходное жемчужное ожерелье, которое она сначала хотела так же растоптать, как и чашку. Но жемчуг был так прекрасен! Бриллианщик дал бы за него сто фунтов стерлингов.

— Благодарю вас! — сказала Лола. — Это ожерелье всегда будет со мной.

Вечер у супругов Крежи продолжался до десяти часов. Выпив последнюю чашку чаю, торжествующий Александр Люнлей отправился спать. Половина одиннадцатого. Одиннадцать. Все спало вокруг нее. Лола из благоразумия потушила свечу и склонилась из окна, разглядывая тени сада миссис Маргестон и ожидая каждую минуту появления своего возлюбленного.

Половина двенадцатого. Никого. Томас Джемс оставил ее своей участи?..

«Невозможно!» — говорил ей тайный голос. Полночь... Она отчаивалась.

А! Он под окном. Но как он мог явиться сюда?..

— Лола?..

Спящая птица-ольшанка не проснулась бы от звука этого призыва, но Лола тотчас же его услышала.

— Друг мой!

— Берите и привязывайте!

Взвилась на балкон веревочная лестница, была схвачена и привязана.

— Теперь спускайтесь, не бойтесь, она прочна.

Бояться?.. Да чтоб бежать от сэра Александра Люнлея, она доверилась бы даже облаку. Она спустилась... Он не позволил ей коснуться земли, взял ее на руки и унес.

— О, когда тебя похищают, — бормотала она, — то с непривычки это так потрясает...

— Тсс! — сказал он так близко от ее губ, что она не смогла продолжать.

Джемс не терял напрасно времени с тех пор, как получил записку от Лолы. Прежде всего он нанял карету, которая должна была его дожидаться на одной отдаленной улице, затем купил лестницу.

Лола покоилась на подушках кареты, еще не придя в себя от смущения, произведенного тем способом, каким, при их общем интересе, ее возлюбленный заставил ее замолчать.

Между тем, крикнув вознице: «Пошел!» — он сел рядом с молодой девушкой.

— Но, — сказала она, трепеща от чего-то, — вы не воспользуетесь моим положением, не правда ли, мой друг? Если вы не можете быть моим мужем, будьте братом.

Но он стал ее мужем. Через месяц письмо со штемпелем Дублина официально извещало Крежи о бракосочетании Лолы и капитана Томаса Джемса, которое было совершено Ионафаном Джемсом, братом новобрачного, в присутствии маркиза Норманби, лорда и лейтенанта Ирландии.

Что оставалось родителям, дочь которых без их согласия и против их воли вышла замуж, кроме того, как сказать: «Что сделано, то сделано!» Тем не менее вполне вероятно, что мать и отчим Лолы сохранили к ней неприязнь за ее шалость, ибо во время всей ее карьеры, даже в те минуты, когда она всего более должна была желать их присутствия, они не особенно спешили на свидание с ней.

А как принял побег Лолы сэр Александр Люнлей? Уверяют, что он начал процесс против Крежи, требуя возвращения жемчуга, так как они не смогли отдать ему дочь.

Старый дурак! Что ему было делать с ними обоими? Он был главным виновником побега, и если урок стоил ему дорого, то, между нами, она ведь не обокрала его.

Итак, Лола и ее капитан жили в Дублине, упиваясь сладостью медового месяца. Но, по словам хроники, сладость эта была непродолжительна: Лола была кокетлива, Томас — ревнив. Не прошло шести недель с их свадьбы, а они уже спорили, как супруги, прожившие пятьдесят лет.

Сначала это были споры без последствий: споры, заканчивавшиеся нежным примирением. Но однажды вечером Лола рассердилась до того, что бросила мужу в голову графин. Томас, хотя и был довольно ловок для того, чтоб увернуться от удара, тем не менее начал думать, что сделал ошибку, похитив этого ангела из ее семейства, и еще большую — женившись на ней.

На другой день после этой сцены, которая поселила холодность между ним и Лолой,

капитан получил приказание отправиться со своим полком в Бомбей.

— Хорошо! С моим полком! — сказал он самому себе. — Но не с моей женой — нет! Эта нежная малютка никогда не согласится последовать за мной в Индию... К сожалению, я буду вынужден оставить ее в Европе!

Томас Джемс ошибался: нежная малютка не только не выразила ни малейшего неудовольствия по поводу своего отъезда с мужем, но даже обрадовалась возможности путешествовать по незнакомым странам и жить под другим небом.

И, таким образом, надежды Томаса Джемса не исполнились...

На самом деле, это путешествие было истинным наслаждением для Лолы, и удовольствие, испытываемое ею, отразилось на ее характере: во время путешествия расположение ее духа было самое ровное, — она ни в чем не противоречила мужу. Томас Джемс благословлял небо.

Существуют два Бомбея: один, называемый фортом, — собственно город, состоящий из дворцов и каменных громад, в котором живут во время дождей; другой — временный, начинающий жить с того времени, когда стихают грозы и ветры, окружающий первый город и состоящий из деревянных домиков, палаток, окруженных деревьями и цветами.

Жившие в первые две недели по приезде в первом Бомбее, у господина и госпожи Ломер, державших меблированные комнаты, Лола и ее муж, с началом хорошей погоды, следуя за своими хозяевами, переселились в летний Бомбей.

Итак, в течение еще двух недель, пленяемая любопытным зрелищем, непрерывно возобновляющимся перед ее глазами, толпой пришельцев, прибывавших из всех окружных провинций в главный порт Британской Индии, Лола постоянно всем улыбалась, в том числе и мужу.

Но когда, лежа в паланкине, несомом четырьмя сильными индийцами, она увидела все, что могла только видеть в окрестностях: мечети, храмы, пагоды, когда она перебивала на кораблях и судах всех стран и всяческих форм, когда по приглашению городских леди, после обеда, в течение двух или трех часов она уже прогуливалась верхом или в коляске по эспланаде в то время, когда на ней играла военная музыка, — тогда Лола начала скучать.

— Долго ли еще мы останемся здесь? — однажды вечером строго спросила она своего мужа.

— Я сам не знаю, моя милая.

— Как, вы не знаете?!

— Без сомнения. Солдат не хозяин себе. Губернатор, лорд Эльфинстон, предполагает волнения кнодсов.

— Что это за кнодсы?..

— Индийцы. Одна из главных рас в стране, большая часть которой подчинилась, но часть еще остается непокорной.

— В таком случае, до тех пор пока лорд Эльфинстон будет сомневаться в кнодсах, мы не выедем из Бомбея?..

— Я боюсь этого.

— Но это может продолжаться месяцы, годы?..

— Я не говорю «нет».

— И вы предполагаете, что я соглашусь жить целые годы не в Европе?..

— Я соглашусь.

— Какая разница! Как солдат, вы обязаны жить там, где находятся ваши начальники, но

Я...

— Вы, как жена солдата, также обязаны жить там, где живет ваш муж. И притом, на что вы жалуетесь? Когда я должен был ехать в Индию, вы, казалось, были рады отправиться со мной. Если вы отказываетесь в настоящее время следовать за мной, мне будет весьма прискорбно, но я ничего не могу сделать.

— А! Вы ничего не можете сделать!.. Ну, а я могу сделать кое-что и докажу вам...

В таких вот выражениях Лола объявила войну мужу, — войну жестокую и беспощадную. В ожидании войны с кнодсами бедняжке капитану приходилось воевать с ангелом, превратившимся в демона. И день и ночь дом мистера Ломера, в котором наши супруги снимали квартиру, оглашался их ссорами.

— Но, — часто говаривал Томас Джемс, — если вам так неприятно жить здесь, почему вы не вернетесь в Англию?

— С вами. Я ничего лучше не желаю.

— Нет, одна.

— Я не для того вышла замуж, чтоб одной бегать по свету.

— В таком случае, так как служба надолго удерживает меня здесь, подражайте мне: будьте терпеливы.

— А я уверена, что если б вы захотели, то получили бы отпуск.

— Вы ошибаетесь, во время кампании отпуска не дают.

— Так выходите в отставку.

— Я люблю военную службу и не оставлю ее.

— Как угодно. Я тоже не оставлю вас, и мы посмотрим, кто скорей устанет — вы или я.

Первым, как можно было предвидеть, был Томас Джемс. Женщины всегда первенствуют в этой мелочной борьбе.

В то же время свидетельница этих ежедневных ссор, миссис Ломер, почувствовала жалость к тому, кто, по ее мнению, больше страдал. И если жалость не есть еще любовь, как поется в одной старой песне, то она, во всяком случае ближайшая к ней дорога. Кларисса Ломер была хороша собой, блондинка, а Томас Джемс, с тех пор как женился на Лоле, разлюбил брюнеток. Сначала только поверенная в печали капитана, она вскоре его успокоила.

В оправдание белокурой Ломер надо сказать, что ее муж был уродлив и глуп в равной мере, а Томас Джемс сделал для ласковой любовницы то, в чем отказывал крикливой жене.

Проснувшись однажды утром, Лола нашла у своей кровати письмо, подписанное двумя буквами Т и Д, следующего содержания:

«Вы хотели, чтобы я вышел в отставку. Я вышел, я свободен, свободен вдвойне, потому что для меня возможно в одно и то же время, как только я оставлю полк, бежать от вас. Я сожалею, что не в состоянии оставить вам денег на переезд в Европу, потому что то положение, в которое я поставлен вами, лишает меня нужных для этого средств. Прощайте! Желаю вам быть счастливой. Что касается меня, я должен признаться, что, расставшись с вами, я как будто попал в рай».

Лола заканчивала чтение этой записки, когда в комнату ворвался мужчина.

Это был господин Ломер.

Он, так же как и Лола, получил поутру письмо.

— Ушла! Убежала! — рычал он. — Презренная!.. Женщина, которую я взял без приданого, без пенни приданого — да-с!.. У нее платьишка не было!.. А что я такое сделал,

спрашиваю я вас, что она бросила меня, как старые штаны? Был ли я зол с ней или суров?.. Требователен?.. Нет, так не делают! Безнаказанно не увозят жену у честного человека. Я отправлюсь к губернатору, Клариссу возвратят мне!.. О! О! Хозяйство наше шло так отлично!.. Через пять лет я вернулся бы в Англию с хорошим доходцем. А теперь, что я буду делать один? Разве я могу один за всем присмотреть?

Наивные жалобы Ломера, его слезы, от которых он стал еще дурнее, заставили Лолу расхохотаться.

Он смотрел на нее с каким-то остолбенением.

— Как, вы смеетесь? — спросил он.

— А почему бы нет? — заметила она. — Муж мой уехал, ну я и смеюсь: я не люблю его.

— Но я-то все еще люблю свою жену.

— Так бегите за ней, желаю успеха. Но прежде одно слово, господин Ломер. Капитан Джемс, уезжая, поступил неприлично, оставив меня без единого пенни. Вы, без сомнения, снабдите меня сотней гиней? Я их вышлю вам из Англии, будьте уверены.

Изумление Ломера перешло в чистый столбняк.

— Чтоб я дал вам сто гиней?! — вскричал он. — А, а! Это уж слишком. Ваш негодяй муж увозит мою жену, а вы хотите похитить мой кошелек — очень мило!

Лола нахмурила брови.

— Хорошо, — сказала она, — я согласна, что жена ваша, как вы говорите, отпустила вас на все четыре стороны, потому что вы не только скверное животное, но, кроме того, вы скряга, деревенщина!..

Ломер готовился возразить.

— Довольно! — закончила Лола, хватая кружку. — Я вас не звала, по какой причине вы позволили себе войти сюда? Ступайте вон!.. Вон, как можно скорее!

Обманутый, только что не избитый, Ломер удалился.

Лола села и задумалась.

Что предпринять? Где достать денег на поездку в Англию? Да и возвращаться ли ей в Англию к матери и отчиму, которые, наверное, очень дурно ее примут? Нет. Она отправится куда угодно, только не в Бат. А деньги? Где достать денег?.. Она никого не знала в Бомбее. Прошло около часа в этих размышлениях. Вдруг она воскликнула:

— Я совсем глупа! А это кольцо, подарок сэра Александра Люнлея — его же можно продать. — Она открыла ящичек, взяла кольцо и вздохнула. — Какая жалость! — проговорила она, но вслед за тем подняла голову: — Ба! Мне подарят другие!.. Букелини! Букелини!

Так звали молодую индианку, горничную Лолы. Лола звала ее одевать себя, но зов был напрасен: присутствуя при разговоре своей госпожи с господином Ломером, она ушла вслед за ним. Куда могла она пойти?

Лола уже хотела сама одеваться, когда индианка вернулась в комнату.

— Госпожа, — сказала она, — в передней вас дожидается человек, который желает немедленно поговорить с вами.

— Кто же?

В ответ дверь отворилась, и Лола почти в ужасе отскочила назад при виде посетителя.

То был индус высокого роста, одетый в длинную тунику из темной шелковой материи, в головном уборе, похожем на тиару. Ему могло быть лет тридцать, походка его была величественна, черты его типичного лица были благородны и правильны, очертания тонки. Он был красив, восхитительно красив!..

Он медленно приблизился к Лоле и, приветствуя ее, сказал по-английски:

— Я узнал, миссис, от Букелини, что вы находитесь в затруднении с возвратом в Европу вследствие того, что капитан Джемс, оставляя вас, позабыл оставить вам необходимую на переезд сумму. Позвольте мне предложить вам ее. Вы можете безбоязненно принять. Я сам постоянно езжу в Европу — и когда-нибудь попрошу вас расквитаться с долгом, который вы в настоящее время возьмете у меня... Букелини, дитя мое, положите этот бумажник на стол. До свидания, миледи. Весьма счастлив сегодня и всегда почту себя счастливым отдать все, что имею, в ваше распоряжение.

Индиец уже скрылся, а Лола еще не могла прийти в себя. Наконец, обратившись к служанке, спросила у нее:

— Кто этот человек?

— Рунна-Синг.

— Кто это Рунна-Синг?

Индианка не отвечала.

Между тем Лола уже развернула бумажник, в нем находилась тысяча фунтов стерлингов банковыми билетами.

— Ну же, Букелини, — снова начала она, — кто такой Рунна-Синг? Почему ты сказала ему, что я нуждаюсь в деньгах? А сказала именно ты, он сам объявил это. Почему он так великодушно обязывает меня?

Букелини продолжала молчать.

— Да говори же, говори! — вскричала Лола.

Индианка наклонила голову.

— Он запретил мне говорить, — ответила она.

— Как запретил говорить! Кто запретил? Рунна-Синг? Так я же приказываю тебе отвечать! Видишь этот перстень? Если ты скажешь — он твой. Кто такой Рунна-Синг и почему, когда ты рассказала ему о моем затруднительном положении, он так поспешно явился меня от него избавить? Он меня знает? Однако я не помню, чтобы видела его. Он богат? Он знатное лицо в твоей стране, начальник, принц?..

И задавая эти вопросы, Лола сжимала, как будто намереваясь раздавить, руки индианки. Но та поклялась молчать и молчала.

— Ты несносна! — воскликнула Лола. — Убирайся!..

Букелини, не дожидаясь повторения приказа, выскочила из комнаты, а потом и из дома.

В надежде получить какие бы то ни было сведения, Лола спустилась к Ломеру, но тот ничего не знал о Рунна-Синге и даже не видел, как тот вошел. И что значил для него этот индус? Он оплакивал жену, и весь свет не существовал для него.

Однако многие намекали ему о том, чтобы он представил счет и получил деньги за квартиру и стол, за которые капитан Джемс еще не успел заплатить.

Лола предположила, что нашла разгадку этого приключения. Рунна-Синг влюбился в нее. А объяснение в любви, которое из деликатности он не хотел сделать, полагая, что она оплакивает мужа, она услышит от него в Европе.

Ведь он же сам сказал, что скоро будет в Европе и там увидится с ней!

Кто знает? На палубе корабля «Голден-Флич», на который она взяла место, быть может, к встретит она своего таинственного благодетеля?

Лола ехала под именем девицы Монтец, под фамилией своей матери. Муж оставил ее — она бросила его фамилию, и к тому же она ехала в Кадикс и ей удобно было назваться

сеньоритой, возвращающейся на родину. Она достаточно знала по-испански, чтобы сыграть свою роль. Отныне она испанка! Ее роскошные черные волосы, большие темно-голубые глаза с длинными ресницами, тонкий нос с раздувающимися ноздрями, матовый цвет кожи, гибкая стройная талия — все это не открыло бы обмана...

А вдруг на корабле с ней встретится Рунна-Синг? Он удивится живой перемене имени. Нет, он поймет желание молодой женщины не иметь более ничего общего с недостойным мужем.

Но Рунна-Синга не было на корабле, тщетно Лола разыскивала его, по-видимому, не это судно должно было перевезти в Европу красавца князя.

Лоле было досадно; ей было бы приятно продолжать роман, герой которого так великолепно знакомится с героиней. Но от этого следовало отказаться, и за отсутствием индийца Лола обратила свое внимание на молодого англичанина, адъютанта лорда Эльфинстона, отправлявшегося по совету медиков в Кадикс к одному своему дяде лечиться от грудной болезни.

Природа не особенно одарила Джеффри Леннокса физической красотой, но он так страдал!.. У него была чахотка, как уверял медик, и притом, по словам капитана, он был богат, миллионер. По доброте души Лола позволила ему любить себя. Разве не великодушно усладить последние дни умирающего?

А Джеффри Леннокс страстно полюбил Лолу. В Кадиксе, вместо того чтобы отправиться к дяде, он нанял дом, в котором поселился с любовницей. И вообразите себе, вместо того чтобы приближаться к смерти, как предсказывали медики, Джеффри Леннокс, напротив, с каждым днем укреплялся.

Лола вылечила его! Но как бы вы думали, какой благодарности она требовала от своего любовника? Она требовала, чтобы он взял ее замуж, хотя муж ее был жив. Но кто знает, где он!.. Его как будто и не было!..

Не так смотрел дядя Джеффри Леннокса, сэра Гидж. Пусть у племянника есть любовница — сэру Гиджу было все равно, но когда он узнал, что племянник, не довольствуясь тем, что разоряется на нее, задумал сделать из нее жену, сэра Гидж обеспокоился. По его настоянию Лола была вызвана в суд, где ее прежде всего спросили, в каком городе Испании она родилась? Отвечать на этот вопрос ложно было опасно. Лола это чувствовала, и так как она сказала правду, то сеньориту Монтец, превратившуюся в миссис Джемс, вежливо попросили вернуться если не к мужу, поскольку она не знала, где он, то, по крайней мере, в свое отечество.

В противном случае ей угрожали тюрьмой, пока ее любовник не облагоразумится. Лола повиновалась. Прямо от судьи она села в карету, которая привезла ее к пристани, где уже ждало судно, отправляющееся в Лондон.

Сэр Гидж, как истинный джентльмен, чтобы как-то усладить это изгнание, прислал на корабль довольно значительную сумму.

Сэр Гидж действовал в интересах своего племянника, но самые лучшие намерения дают иногда не те результаты, которых ожидаешь. Едва только Джеффри Леннокс был разлучен с любовницей, он начал страдать сильнее и вскоре умер.

— Стоило же труда разлучать нас! — сказала Лола, когда ей передали в Лондоне это известие. — Если б Леннокс женился на мне, он жил бы да жил еще!

— Но ведь он не мог на вас жениться.

— Не мог! Почему не мог? Как только мы согласились на это, кто нам мог домешать?

— Закон. Он запрещает подобные браки.

— Тогда он должен разрешать развод! А то он дает мне мужа, который меня бросает, и запрещает брать другого!.. Он велит мне или не любить всю жизнь, или иметь только любовников!.. Хорошо же! Меня принуждают, у меня будут любовники. У меня их будет сто!.. А чья вина? Тех, которые по глупой скупости помешали мне быть честной женщиной...

И она сдержала слово. В течение пяти или шести лет, которые последовали за принятием этого решения, она имела, как остроумно выразился кто-то, «слишком чересчур».

Из Лондона, где она в одно мгновение растратила данные сэром Гиджем деньги, она в 1839 году возвратилась в Испанию и там сделалась танцовщицей. Проезжая одну за другой все провинции королевства, начиная с Галисии и кончая Эстремадурой, она у каждой похищала национальный танец.

Итак, она сделалась испанской танцовщицей и впервые на подмостках Брюссельского театра пустила в ход свое хореографическое искусство, затем отправилась в Париж, но ее час в Париже еще не пробил, она уезжает в Берлин, где публика ее освистывает, но где зато она проглатывает живьем трех или четырех жирных баронов, потом — в Варшаву, откуда ее выгоняют, а там — в Петербург, где она была принята с распростертыми объятиями.

Между тем, получая груды золота, больше как куртизанка, чем балерина, Лола из-за своих разорительных наклонностей часто бывала без денег.

Мы уже сказали, что Лола дебютировала в Брюсселе, но в то же время мы должны сказать, что принята она была там холодно. В ее танцах был огонь, была страстность, но им не доставало грации. Лола удивляла как танцовщица, но она не пленяла.

Решившись после двенадцати представлений оставить город, в котором были так скупы на аплодисменты, она приказала горничной укладывать чемоданы. Но несчастье никогда не приходит одно: в тот день, когда она решила покончить с театром, ее любовник — толстый фламандский банкир — разошелся с ней, быть может, по той же причине, по какой она оставляла Брюссель, то есть потому, что ей мало аплодировали.

Подобные связи заключаются из суетности.

Лола рассердилась, и рассердилась тем сильнее, что, рассчитывая на кошелек своего Мондора, она только что, накануне, купила на шесть тысяч франков кружев, предназначенных для украшения ее костюмов. Но Мондор улетучился, и платить оказалось нечем. К тому же, каким образом с двадцатью луидорами отправиться в Париж?

Это было вечером, через несколько часов после того, как господин Вандерборн уведомил ее, что, к великому огорчению, он вынужден покончить с нежными отношениями. Лола легла спать, когда Мариетта, ее горничная, постучалась к ней в дверь.

— Что такое?

— Заказное письмо вам, сударыня.

Это был тщательно запечатанный пакет, переданный Мариеттой своей госпоже. Он заключал в себе лист надушенной бумаги, на которой были написаны по-английски следующие слова: «От друга из Бомбея». И переводное письмо на тысячу фунтов стерлингов, на Вандерборна, банкира в Брюсселе. Одна мысль удвоила радость Лолы. Друг из Бомбея не только снабжал ее съестными припасами, но и давал ей возможность утереть нос этому дерзкому Вандерборну, из кассы которого ей приходилось получать деньги.

— Кто тебе отдал это письмо, Мариетта?

— Лакей.

— А где он?

— Он тотчас же ушел, как только выполнил свою миссию.

И этот друг был не кто иной как Рунна-Синг. И так, он в Европе, даже в Брюсселе. Но как он мог так скоро узнать о затруднительном ее положении? Букелини не было, чтобы уведомить его. Этот человек должен был быть волшебником. Во всяком случае, образ его действий был очень странен. Слишком много тайн и скромности!.. Пятьдесят тысяч франков стоят все-таки хоть благодарности!..

* * *

В Петербурге в 1844 году произошло почти повторение этого эпизода. Любовница последовательно восьми или десяти вельмож, Лола, наскучившись городом Петра Великого, решила его оставить. Но сначала следовало оплатить кое-какие счета. Загребая деньги полными пригоршнями, Лола все-таки ухитрилась задолжать безделицу — тысяч двенадцать франков! Но пока эта безделица оставалась неуплаченной, ей нельзя было выехать.

— Оставайтесь еще на месяц, — говорил ей один генерал, — и я возьму на себя уплату вашего долга, не считая издержек на ваше путешествие.

— Нет, нет и нет! — возразила Лола, которой не нравилась не сама ликвидация, а ликвидирующий. — Ни недели! Я хочу ехать сейчас.

— Так заплатите ваш долг.

— У меня нет этих денег.

— Оставайтесь.

Дилемма, из которой Лола без помощи Рунна-Синга не вывернулась бы.

Она была готова в пятый или шестой раз выгнать генерала с его предложениями из своего будуара, когда ее горничная подала ей пакет, только что принесенный нарочным. При виде почерка Лола вскрикнула от радости — то был почерк друга из Бомбея, а внутри конверта опять-таки перевод на тысячу фунтов стерлингов и только одна строчка:

«Извините, что заставил вас ждать! R.S.»

О милый Рунна-Синг, он еще извиняется! Почему его самого нет?.. Но, увы, и в Петербурге, как и в Брюсселе, Рунна-Синг остался невидимкой. Лола уехала одна во Францию.

Ко времени пребывания Лолы Монтец в Париже относится одно кровавое приключение. В ее честь был убит человек...

По приезде в Париж первой заботой Лолы Монтец, испанской танцовщицы, было отправиться к королям газетной хроники, чтобы заручиться их благосклонностью.

Лола была хороша собой. Газетные знаменитости и рецензенты в один голос обещали ей свою поддержку. С помощью своих друзей Лола была ангажирована в Оперу.

Первые два представления прошли довольно удачно. Но вместо восторга было удивление, поскольку, вероятно, в Королевской музыкальной академии никогда не танцевали подобным образом. Лола была не танцовщицей, а беснующейся менадой, чем-то вроде исступленной вакханки. Тирс пошел бы ей лучше, чем кастаньеты.

Но третье представление было совсем иным. Во всяком искусстве эксцентричность должна основываться на таланте. Иронические рукоплескания, сдавленный смех должны были доказать Лоле, что все эти «хоты» и «качучи» были не во вкусе парижан и что она

сделает ошибку, если будет публично продолжать их. Она не поняла... не хотела понять и танцевала в четвертый раз.

И в этот раз весь зал, как один человек, принялся освистывать ее, шикать и так далее. В порыве гнева, во время исполнения танца не под звуки музыки, а под свист зрителей Лола сняла с себя подвязку, разорвала на куски и бросила в публику, крича: «Все вы подлецы!» Тогда гроза превратилась в ураган! Если бы она не поспешила убежать, ей пришлось бы дорого поплатиться.

Но Лола не унывала. Ее выгнали из Оперы, она поступила в другой театр. Но и здесь блистала не более, чем в Опере. Зато она утешила себя как артистку своими победами как куртизанка. Она была в моде, потому что в Париже можно войти в моду даже глупостями. О ее благосклонности спорили...

В 1845 году ее признательным любовником был Дюжарье, молодой человек лет тридцати двух, вышедший из самого скромного состояния, но благодаря ловким спекуляциям приобретший значительное богатство. Дюжарье содержал Лолу, как герцогиню; он нанял для нее на улице Сент-Оноре великолепную квартиру, напротив Валентино, где давались балы.

Ясно, что она бывала на всех публичных празднествах Парижа: любовницу знаменитостей нельзя запирать в ящик. 20 марта 1845 года Дюжарье повез ее на артистический бал в Пале-Рояле, в зале Братьев Провансальцев. После вальса Лола, заметив своего возлюбленного, сидевшего за карточным столом, подошла к нему и, наклонившись, не заботясь ни об игре, ни об играющих, смеясь, что-то долго шептала ему на ухо.

Играли вчетвером. Из трех противников Дюжарье двое терпеливо ждали, чтобы Лола окончила свое повествование. Но третий — Розимонд де Баваллон, крез, политический враг Дюжарье, — оказался не столь терпеливым.

— А! — воскликнул он, смерив ее взглядом с головы до ног. — Скоро ли вы перестанете перекупать этого господина, милая дама? Оставьте нас в покое!..

Баваллон не окончил еще этой грубой фразы, как Дюжарье бросил ему карты в лицо. На другое утро вместо ежедневного визита любовника Лола получила от него такого рода записку:

«Мой добрый друг! Я дерусь, и это объяснит вам мое отсутствие. Мне потребно все спокойствие. В два часа все будет кончено. Тысячу поцелуев, моя Лола, моя дорогая возлюбленная».

В два часа на самом деле все кончилось. Дюжарье был смертельно поражен пулей. Лола была вызвана свидетельницей на процесс.

— Я очень сожалею, — сказала она судьям, — что господин де Баваллон дрался не со мной. Дюжарье недурно стрелял из пистолета, но я стреляю лучше и уверяю вас, что Баваллона не было бы теперь в живых.

В своих мемуарах Лола Монтец говорит, что Дюжарье дал обещание на ней жениться. Лола во что бы то ни стало хотела испробовать двоемужество.

За несколько месяцев она растратила свои тридцать тысяч франков, потом продала свою богатую мебель. Истратив деньги, вырученные этой продажей, она намеревалась вскоре отправиться в Мюнхен, в Баварию, где граф Штейгервальд, один из ее друзей, обещал ей громадное богатство.

Это было в январе 1846 года, за два дня до ее отъезда из Парижа. Лола завтракала в своем отеле на улице Сент-Оноре с графом Штейгервальдом, который в самых пышных

выражениях говорил о волшебной будущности, зависящей единственно лишь от нее самой.

Раздавшийся звонок вдруг прервал графа.

— Кто это мешает нам? — сердито воскликнула Лола и прибавила, обращаясь к ожидавшей ее приказаний служанке: — Откажите, я не принимаю.

Горничная поклонилась.

— Продолжайте, граф! — проговорила Лола.

Штейгервальд раскрыл было рот, но дверь снова отворилась, и Зоя снова появилась, неся на серебряном подносе чью-то визитную карточку.

Лола сделала гневное движение.

— Но!.. — Она хотела сказать: «Я никого не приму», — но вместо этой фразы восклицание удивления и радости сорвалось с ее губ.

На карточке она прочла имя Рунна-Синга, о котором она не слышала два года.

— Проси, Зоя, в будуар, — сказала она. — А вы, Штейгервальд, не правда ли, извините меня? Это визит такого рода, которые не откладываются. Пейте кофе без меня. Через несколько минут я, вероятно, вернусь, но, во всяком случае, если визит затянется, вас известят.

— Хорошо, хорошо! Не церемоньтесь со мной, моя милая.

— Наконец-то! Наконец-то! — повторяла она, вбегая в спальню, взглянуть, годится ли ее туалет для подобного случая. Зоя последовала за госпожой.

— Этот господин ожидает вас в будуаре.

— Хорошо! А ты не удивлена? Однако он не похож на других, а? Как он одет?

— Как все.

— А!

— Только... должна вам сказать, что у этого господина цвет лица медный!

— Да ведь он индеец!

— А! Это индеец? Ну, я не полюбила бы человека такого цвета! О, подобная голова рядом с моей на подушках испугала бы меня!..

— Ах, молчи, ты глупа!.. А теперь, если кто-нибудь меня спросит... понимаешь?

— Вас нет дома... Слушаюсь.

На самом же деле вот о чем она думала. Ясно, что Рунна-Синг, индийский принц, путешествуя по Европе, не мог сохранить национальный костюм. Костюм этот уместен в Бомбее и был бы странен во Франции или в Англии. Тем не менее Лола облегченно вздохнула, увидев, что ее посетитель в нормальном черном костюме, лакированных ботинках и палевых перчатках.

Он поклонился ей, она поспешила подать ему руку.

— Прежде всего благодарю, тысячу раз благодарю вас, принц, — сказала она, — за все, что вы сообразовали для меня сделать.

— Я исполнил свой долг, — ответил Рунна-Синг, почтительно целуя руку танцовщицы.

Сели. Она начала с улыбкой:

— Ваш долг?.. Какой?.. Вы мне объясните, принц. Объясните, чему я обязана вашим покровительством, особенно объясните, почему вы так долго откладывали для меня возможность лично поблагодарить вас. Если я верно считаю, я должна вам семьдесят пять тысяч франков.

— Прошу вас, не говорите об этом.

— Не будем говорить. Но в первый раз явившись мне на помощь в Бомбее, вы, если я не

ошибаюсь, сказали, что как-нибудь, в Европе, где я вас снова увижу, доставите мне случай по квитаться с вами долгом. Почему я раньше не видела вас? Вы следили или заставляли следить за мной всюду, потому что всюду, где мне снова была необходима ваша дружба, она находила меня. Почему эта непрестанно доказываемая вами дружба ко мне, столь быстрая и великодушная, так упорно укрывалась от моей?.. Ради Бога, принц, объясните мне!..

Рунна-Синг слушал Лолу, не перебивая. Она кончила.

— Я не отказываюсь, — важным голосом сказал он, — дать вам объяснения, которые, я согласен, вам интересно узнать, но с одним условием.

— С условием? — постаралась не покраснеть Лола. — Это условие трудное?

— Я боюсь, что да.

— Право, какое же?

— Вы должны утвердительно ответить на одно мое предложение.

— Какое?

— Я возвращаюсь в Индию. Согласны ли вы поехать со мной?

Лола широко раскрыла глаза: она ждала не того.

— Мне возвратиться с вами в Индию? — вскричала она. — С какой целью?

— Я вам скажу, если вы ответите «да».

— Но сначала я должна узнать, на что я должна ответить...

— Вам нечего узнавать, если вы согласны последовать за мной.

— Боже мой! Мне это вовсе не неприятно, но вы меня смущаете, принц!.. Когда увозят куда-нибудь женщину, то говорят, по крайней мере, для чего!.. Наконец, если я соглашусь за вами следовать, то на сколько времени?.. Когда я вернусь в Европу?..

— Я не хочу и не могу вас обманывать. Вы никогда не вернетесь.

— Никогда? — повторила она. — Нет, принц, я не согласна возвратиться с вами в Индию.

Рунна-Синг встал.

— Я предвидел этот ответ, — сказал он, — и он лишь подтверждает мое убеждение, которое я заранее составил, еще не входя с вами в объяснения, которые только укрепили бы вас в вашей решимости, Вы молоды и прекрасны, вы любите удовольствия; десяти лет, употребленных вами на то, чтобы наслаждаться по своему вкусу жизнью, было недостаточно, чтобы насытить ваше тело и душу...

— Десять лет, — заметила Лола. — Действительно, это было в 1836 году...

— Когда я в первый раз имел счастье вас видеть... точно так. Теперь вы снова меня встретите не ранее как через десять лет, в 1856 году, и, быть может, тогда я буду более счастлив, чем теперь, быть может, тогда вы устанете от жизни, все прелести которой исчерпаете. Но удаляясь от вас, я вас не оставляю, ибо верю, что рано или поздно надежды мои исполнятся — верю в ваш характер и в вашу энергию... Если мой взор не сможет следить за вами, как эти десять лет, то рука моя для вас открыта.

Рунна-Синг вынул бумажник, совершенно похожий на тот, который десять лет назад он отдал Лоле.

— Вот, — продолжал он, — десять переводных писем, обозначенных из года в год вплоть до 1856-го, выплачиваемые по предъявлении у разных банкиров Англии и Франции, и сто тысяч франков в банковых билетах: ровно двести тысяч, которые я счел долгом передать в ваше распоряжение в первый период наших сношений. Я сожалею, что не могу дать больше, но позже вы узнаете, что даже это малое еще слишком для меня много.

Лола попеременно смотрела то на принца, то на бумажник. Как в Бомбее десять лет назад, и даже сильнее, она чувствовала какой-то страх.

— Но к чему вы мне даете эти деньги? — воскликнула она. — Вы говорите о надеждах... о каких? О вашей вере в мой характер, в мою энергию. Чего же вы ждете, чего вы желаете от меня? Скажите, и кто знает, вы, быть может, получите, но только скажите, скажите!

Рунна-Синг наклонил голову.

— Нет, — сказал он. — Вы не созрели для дела. Я подожду. До свидания.

И, положив портмоне на колени Лолы, странный покровитель удалился.

Как в Бомбее, оставшись одна, Лола удостоверилась, что портмоне содержит именно назначенную сумму: сто тысяч франков.

— Но этот индеец сумасшедший! — воскликнула Лола. — Это положительно сумасшедший! Я не созрела для дела! Для какого? Почему не созрела? Без сомнения, я не так еще стара! Чтобы понравиться, мне нужно постареть?.. Смешная идея! А между тем, если б я согласилась последовать за ним в Индию, я бы уже созрела?.. Что это значит?.. Есть от чего потерять голову! Но сумасшедший он или нет, я благодаря ему теперь при деньгах, независимо от десяти тысяч ливров ежегодного дохода. Безумец ты, Рунна-Синг, или нет, но я благодарю тебя!.. Мой великодушный друг! И ношу тебя в моем сердце!..

И через два дня Лола отправилась в Мюнхен в сопровождении своего друга, графа Штейгервальда.

В то время в Баварии царствовал король Людовик I (Карл Август), родившийся 20 августа 1786 года и наследовавший престол после отца, Максимилиана Иосифа, в 1825 году. Он начал царствование многими серьезными административными реформами и сооружением многих прекрасных и полезных зданий, благодаря его инициативе в Италии было куплено множество картин — истинных сокровищ искусства, которыми обогатились мюнхенские музеи.

Повторяем, сравнительно с другими Людовик I был достоин титула доброго государя.

И этот почти хороший король, достигнув лет, когда проходят любовные иллюзии, был, однако, в течение нескольких месяцев игрушкой в руках женщины, доставленной ему интриганом, и превратился не только в смешного, но даже в отвратительного селадона. Женщина эта — Лола Монтец, интриган — граф Штейгервальд, заклятый враг ультрамонтанов, который говорил:

— Людовик I не хочет слушаться разума, он будет внимать дурачеству.

Это было опасное средство, как доказали события. Заставить потерять голову нетрудно, но снова вернуть ее — почти невозможно, особенно когда она седая.

Наконец Штейгервальд захотел, чтобы Лола Монтец стала Дюбарри Людовика I. Она стала ею. Она даже сделалась графиней, как ее образец. Королевским указом 14 августа 1847 года, данным в Ятафенбурге и контрассигнованным двумя министрами, фаворитке было дано право натурализации в Баварии; потом она была пожалована сразу баронессой Розенталь и графиней Ландефельд, ей был дан пансион в 70 000 флоринов и как официальная резиденция назначен великолепный дворец в Мюнхене.

Но баварский король не удовольствовался этим. Если Лола Монтец играла роль Дюбарри, Людовик I, со своей стороны, подражал Людовику XV. Эту танцовщицу, которую он взял прямо с театральных подмостков своего театра, он представил ко двору и ввел в свое семейство; он приказал королеве украсить ее большой лентой канонисы ордена св. Терезы.

Это Лола-то — канониса!.. Дьявол должен был бы жутко расхохотаться!

Что Лола была орудием партии, успехи которой могли быть полезны для Баварии, — это возможно, но есть выгоды, которые отвращают, проистекая из известного посредничества. Мюнхенские студенты первые образовали ассоциацию, направленную на свержение фаворитки. Она ответила им тем, что собрала вокруг себя, под названием «Алеманния», толпу молодых людей, преимущественно из дворянства, которые поклялись ей на своих красных шапках защищать ее и умереть за нее. Студенты повсюду колотили красные шапки, где только их ни встречали, и освистывали Лолу, — точно так же, как это было в Опере. Графиня Ландефельд рассердилась; чтобы успокоить ее, король закрыл на год Мюнхенский университет.

В свою очередь, народ начал смеяться над этой авантюристкой, которая управляла старым королем, и над этим королем, повиновавшимся авантюристке. И тогда в один прекрасный день король, который поклялся потерять скорее корону, чем любовницу, был вынужден подписать приказ о ее изгнании.

Сидя в карете, сопровождаемой отрядом всадников, Лола выехала из Мюнхена. Это произошло в феврале 1848 года.

А 20 марта королю пришлось отречься от престола.

До тех пор пока он еще держал скипетр, Лола Монтец не теряла надежды взойти на трон и сесть рядом со своим любовником. С этой мыслью, в крестьянской одежде, она явилась в Мюнхен и выжидала около королевской резиденции появления короля, вероятно, для того, чтобы крикнуть ему: «Я все еще люблю тебя!»

Но развенчанный Людовик был уже совсем не тот. Что делать со стариком, который теперь даже и не король. Лола удалилась на свою дачу на берегу Констанцкого озера. Тщетно бывший король в двадцати посланиях повторял ей нежный куплет, который она сама когда-то ему напевала, — неблагодарная графиня Ландефельд оставалась глухой и немой.

Деньги у нее были, она принялась за прежние похождения, повсюду прославляя свое имя. Сначала она направилась в Англию через Пруссию. В Бонне, когда она однажды ужинала как простая смертная, студенты устроили ей кошачий концерт. С бокалом шампанского в руках она вышла на балкон и закричала:

— Прекрасно, мои друзья! За ваше здоровье!

В Лондоне она вступила в брачный союз с сэром Чильдом, офицером королевской гвардии. Да будут благословенны боги, ее самый дорогой сон исполнился: она двоемужница! Но вдруг она узнала, что ею занимаются в Париже, где ее изображают на сцене Пале-Рояльского театра в одной пьесе, написанной Рожером де Бовуаром.

— Я скоро возвращусь, — сказала она сэру Чильду и помчалась в Париж, где из ложи слушала написанные на нее куплеты, которым сама аплодировала.

К концу второго года супружества сэр Чильд открывает, что у его жены есть где-то другой муж. Правда, этот муж вовсе не оказывает желаний заявлять о своих правах, но подобное положение все-таки возмутило сэра Чильда. И притом, быть может, он уже успел убедиться, что Лола вовсе не то, что обыкновенно называют овечкой. И вот из-за ничтожной царапины, которую в дурном расположении духа Лола нанесла ему кинжалом, сэр Чильд — что вовсе не похвально — бросает свою дорогую половину в Барселоне вместе с двумя детьми, отправляется в Англию и добивается того, что брак объявлен недействительным.

Лола пришла в ярость.

— Вот как? — воскликнула Лола. — Второй муж был у меня ее дольше первого, так я

отыграюсь на третьем!

И вот она отправляется в дорогу, через горы и доли. Ну, а дети? Дети, быть может, и теперь еще живут у кормилицы в какой-нибудь деревушке в Испании.

Из Барселоны графиня Ландефельд отправилась в Америку, в Новый Орлеан, где снова надела юбку и трико испанской танцовщицы. Затем она посещает Калифорнию и в Сан-Франциско выходит замуж за журналиста по имени Гулл, которого покидает на шестой неделе после свадьбы.

В 1855 году ее встречают в Париже. В 1856-м она играет комедий в Австралии, в провинциальном театре в Виктории, в Мельбурне.

1856 год, если вы помните, был тем годом, который Рунна-Синг назначил временем третьего свидания. Когда он, найдя ее созревшей для дела, откроет ей тайну своего поведения, столь для нее странного.

Да, в 1856 году Лола уже созрела: ей было тридцать семь лет.

Это было вечером после театрального представления, ибо Лола, как мы уже сказали, отказавшись от танцев, играла в комедиях. Она вошла к себе печальная и одинокая. В эти последние годы ей часто приходилось бывать одинокой. Когда она переступила через порог своей комнаты, она внезапно остановилась и задрожала.

В нескольких шагах от нее произнесли ее имя, этот голос она сразу узнала, хотя слышала его всего два раза в жизни. Она обернулась.

— Это вы?..

— Разве я не назначил нынешним годом свидания? — возразил Рунна-Синг. — Я здесь!

Через минуту он уже сидел в маленькой, чрезвычайно скромно убранной комнате. Это была квартира Лолы, ее столовая, зала, уборная и спальня — все вместе. Эта комната вовсе не походила на тот изящный будуар, в котором десять лет тому назад она принимала принца.

Несколько минут продолжалось молчание. Рунна-Синг, казалось, размышлял; Лола его рассматривала исподлобья. Он не постарел, он по — прежнему был прекрасен. Лола вздохнула... Он не захочет ее теперь... Он не захочет иметь ее любовницей.

— Согласны ли вы теперь следовать в Индию за мной? — сразу спросил Рунна-Синг.

— Да, да! — быстро ответила Лола. — И никогда не возвращаться в Европу! Я согласна. Мне довольно Европы!.. Нет ни любовников, ни успехов, ни денег!.. Боже мой, я знаю, что я сама виновата в моей бедности. Но это было выше моих сил, я никогда не умела рассчитывать. Миллионы растаяли бы в моих руках!.. Слушайте, сто тысяч франков, оставленные вами, были проедены через два года после нашего свидания. Принц, повторяю вам, что я готова ехать с вами, когда вы только пожелаете... ехать закрывши глаза, и навсегда!.. Даже не нужно говорить, зачем вы берете меня с собой!.. Где бы я ни была, я не буду несчастнее, чем здесь, по крайней мере с вами я не буду принуждена зарабатывать мой хлеб. Зарабатывать хлеб, и это мне!.. Когда мы едем?..

Ледяная улыбка сжала губы Рунна-Синга.

— Итак, — сказал он, — вы ни о чем не жалеете, говоря вечное прощание своей родине?

— Моя родина? Где она? Там, где я родилась? Уже давно у меня нет с ней ничего общего.

— И вы последуете за мной без боязни?

— Чего мне бояться? По совести, я не могу ничего объяснить себе: каковы ваши планы, какое чувство движет вами, когда вы меня увозите с собой, и почему вы ждали двадцать лет и истратили двести тысяч франков.

— Двести пятьдесят тысяч. Вы забываете, что я должен был платить агентам, которые наблюдали за вами и доносили мне о ваших действиях.

Лола выразила на лице сострадание.

— Агентов? — сказала она. — Правда, вы платили, чтобы... Лучше бы вы мне самой дали эти деньги, я сообщала бы вам о себе новости... Наконец!..

— Наконец, — перебил Рунна-Синг, — вы решились довериться мне?

— Без размышлений... И без объяснений, повторяю вам.

— Извините, но я обязан вам дать эти объяснения.

— Даже если я освобождаю вас от них?

— Даже если вы освобождаете!.. Эти объяснения могут повлиять на вашу решимость и к тому же мне запрещено брать вас, не объяснив вам предварительно, какая участь ожидает вас в Индии, куда я обязан сопроводить вас.

— Какая участь? Вы же не намереваетесь, полагаю, съесть меня?.. Ха — ха-ха!..

Но Рунна-Синг не смеялся.

— Ну, если это так необходимо, — продолжала куртизанка, — скажите, что вы сделаете из меня? Я вас слушаю.

— Слушайте! — важно повторил индус. — Завоевав Индию, ваши соотечественники, англичане, не удовольствовались тем, что отняли у нас власть и имущество, у нас, законных хозяев страны, они еще хотели навязать нам свои законы и обычаи. В нагорных областях Кондистана, с незапамятных времен, у нас существовало два культа: культ Тодо-Пенор — бога земли и культ Манук-Соро — бога войны. Манук-Соро и Тодо-Пенор за свое покровительство требовали от нас человеческих жертв. Каждый год мы приносили им эти жертвы. Но, обвинив эти культы в варварстве, англичане принудили нас от них отказаться.

— И с моей стороны, — воскликнула Лола, — я не обвиняю их за это. Человеческие жертвы... это ужасно!

Глаза Рунна-Синга засверкали.

— А по какому праву, — возразил он, — люди обвиняют религию других? По какому праву англичане сказали кнодсам: «Есть только наш Бог, ваших не существует!» Жертвы, приносимые нами Манук-Соро и Тодо-Пенор, умирали по собственной воле. С детства девушек мэри — так называли их — приготавливали к жертве, а некоторые прославлялись, орошая своею кровью алтарь богов, призывая тем нацию на победы в битвах и плодородие в жатве. По какому праву англичане сказали им: «Вы не будете умирать!» Потому что они хотели сделать из нас рабов... Они даже слишком преуспели... Недостойные, презренные, мы оставили наших богов, боги оставили нас. Каждый раз с того времени, как мы отказались от культа Тодо-Пенор и Манук-Соро, как только мы поднимали голову — нас побеждали. Даже мой отец, один из могущественных горских властителей, был вынужден бежать от англичан и умер в горести. И эта религия, когда-то бывшая нашей охранительницей, эта наследственная религия, от которой мои братья против воли должны были отказаться, эта религия не умерла. Вот повеление одного старого жреца, данное мне: ступай в их страну и отыщи одну их крови и плоти!.. Одной достаточно, которая за твои благодеяния добровольно бы пожертвовала жизнью, и тогда все владения Кондистана будут освобождены от тяжкого осуждения... Манук-Соро и Тодо-Пенор простят снова одарят нас своим могущественным покровительством. И я последовал совету старого жреца. Я отправился к женщине — плоть от плоти врагов наших; чтобы привязать к себе эту женщину благодарностью, я в течение двадцати лет давал ей золото. Все, что я имел. Быть может, мало?.. Опять вина англичан,

которые — сделали меня бедняком, как до того сделали сиротой. В течение двадцати лет я терпеливо ждал, чтобы эта женщина, рожденная для любви, пресытилась ею, чтоб сказать ей, чего я от нее хочу... Сегодня я сказал ей. Отвечайте, вы все еще согласны последовать за мной?..

Мы тщетно старались бы воспроизвести впечатление, произведенное на Лолу Монтец этой речью. В своей жизни она прочла много романов, у нее были даже свои собственные, но ничего подобного тому, что она теперь слышала, с ней не случалось. Как? Индийский фанатик для того двадцать лет был ее банкиром, чтобы в один прекрасный день удушить ее?

Добровольная жертва! Приносимая в жертву идолам, — вот роль, которую требовали от нее в благодарность за благодеяния... Роль весьма удобная в какой-нибудь волшебной пьесе, перед публикой, среди прекрасных декораций, освещаемых бенгальским огнем. Но на самом деле, при полном свете дня... в Индии, для удовольствия толпы диких... Очень благодарна!..

— Вы, мой милый, сумасшедший! — таков был первый ответ, который вслух произнесла Лола, придя в себя от ужаса.

Но при этом она взглянула на Рунна-Синга и, пораженная выражением его лица, продолжила:

— Это просто убийство, дорогой принц! — спокойным голосом сказала она. — Вы думаете, что я достаточно пожила и что не только пресытилась любовью, но и самим существованием?

Прекрасный индиец, которого она находила теперь дурным, утвердительно кивнул.

— И вы правы, — продолжала куртизанка. — Я достаточно пожила. Это такая же правда, как и то, что ваши объяснения ничего не переменили в моих намерениях. Не все ли равно — умереть в Индии от руки вашего жреца или умереть с голоду в Париже или Лондоне? Я поеду с вами...

Рунна-Синг сделал радостное движение.

— Но позвольте! — возразила Лола. — Я откровенна: прежде чем сойти в могилу, мне хочется вкусить еще наслаждений. Последняя моя прихоть. Пять лет в виде отсрочки, прежде чем принадлежать вам, и пятьдесят тысяч франков, чтобы жить в довольстве все эти пять лет. Разве это много, чтобы сделаться самой покорной и преданной жертвой?

Рунна-Синг сдвинул брови.

— Пять лет слишком долго, — сказал он.

— Нет, — возразила Лола. — Мне будет за сорок, это возраст, когда разумная женщина обычно покидает свет.

Рунна-Синг встал, сделал несколько шагов по комнате и возвратился к Лоле.

— Хорошо, — сказал он. — Я посвятил свою жизнь святому делу... Сколько-то еще лет подождать завершения этого дела меня не затруднит. Я даю вам отсрочку и требуемую сумму. С завтрашнего дня вы будете получать по десять тысяч в год. Но... Помните, Лола Монтец, сегодня 10 сентября 1856 года, и если 10 сентября 1861 года вы не явитесь туда, куда я вас позову за три месяца до срока, — горе вам!..

Лола Монтец открыла только одному лицу этот таинственный и невероятный эпизод своей истории и уверяла, что вся похолодела, когда Рунна-Синг, встав прямо перед ней и положив ей на плечо руку, глухим голосом произнес эти замогильные слова: «Горе вам!»

Как и обещал этот ужасный благодетель, со следующего дня Лола стала получать свое жалованье. Обладательница десяти тысяч франков, Лола немедленно отправилась странствовать по свету. Была в Австралии, в Ливане, в Соединенных Штатах.

В январе 1861 года во время одного из литературных вечеров она заболела и вскоре умерла.

Умерла так, что искупила свои грехи, из глубины души прося Господа о прощении.

Что же касается Рунна-Синга, то мы ничего не знаем больше о нем.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.